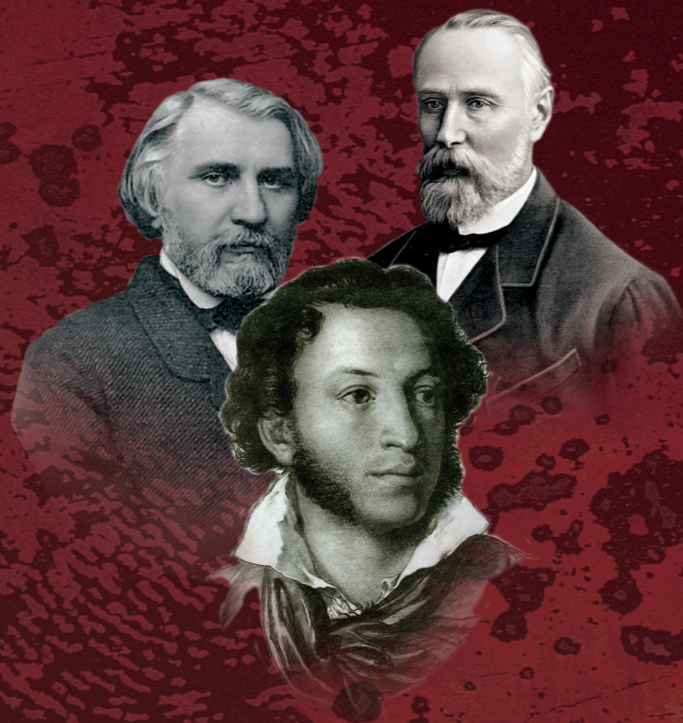


В

Российские
ропилеи

Демифологизация
русской культуры



Владимир КАНТОР

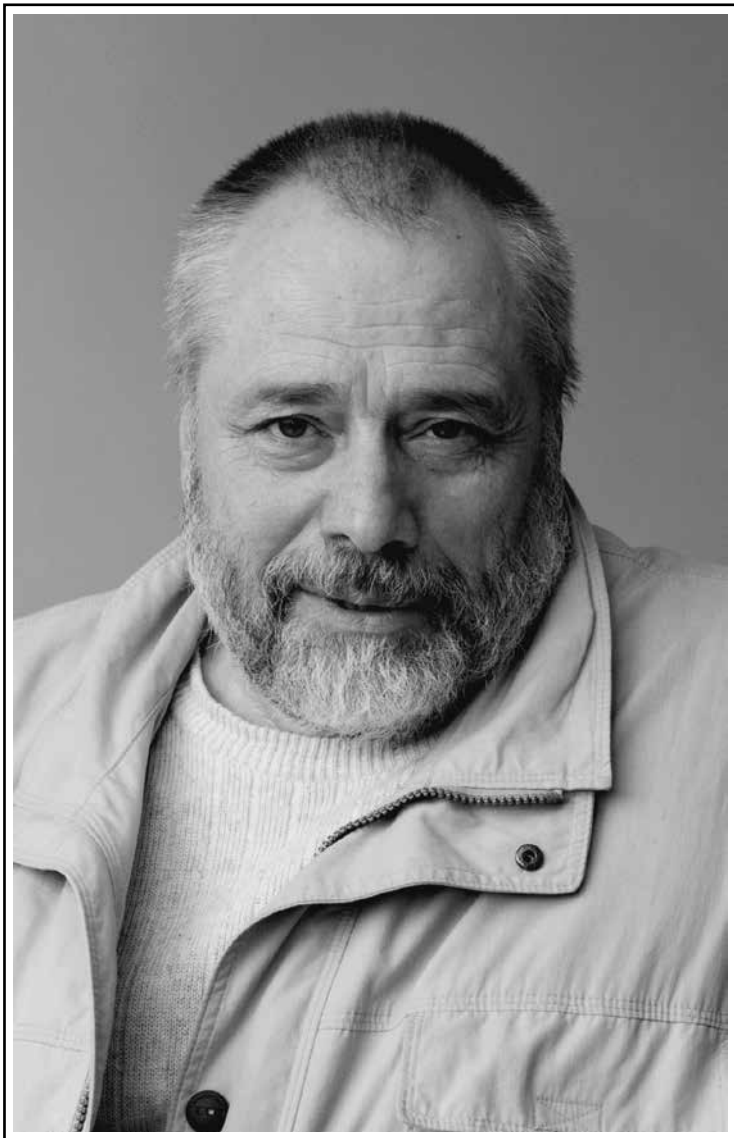
Владимир
КАНТОР

Демифологизация
русской культуры

Философические эссе



Российские
ропилеи



Серия основана в 1998 г.

В подготовке серии принимали участие
ведущие специалисты

Центра гуманитарных научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института философии Российской академии наук

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт научной информации по общественным наукам

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ)

Международная лаборатория русско-европейского
интеллектуального диалога

Владимир Кантор

**Демифологизация
русской культуры**

Философические эссе



Центр гуманитарных инициатив
Москва-Санкт-Петербург
2019

УДК 130.2
ББК 83.3
К 19

Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.В. Бычков, Г.Э. Великовская,
В.Д. Губин, А.Л. Доброхотов, В.К. Кантор, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская,
И.А. Осиновская, Ю.С. Пивоваров, Б.И. Пружинин, М.М. Скибицкий,
А.К. Сорокин, П.В. Соснов, Т.Г. Щедрина

Ответственный редактор М.П. Крыжановская
Серийное оформление: П.П. Ефремов

К 19 **Кантор В.К.**
Демифологизация русской культуры. Философические эссе. —
М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. — 400 с. (Серия
«Российские Пропилеи»)

В своей новой книге Владимир Кантор, писатель, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий Международной лабораторией русско-европейский интеллектуальный диалог, рассматривает одну из важнейших философских проблем. Вся история культуры человечества, в том числе Европы и России как законной части Европы, пронизана мифами как структурообразующими скрепами сознания. Миф играет роль неоднозначную; важный как орудие в руках философа, к примеру Платона, он становится губительным, овладев сознанием толпы. Как писал М. Мамардашвили, в мифе нет проблем и все понятно, а потому он так востребован невежеством. Задача философа сделать мир заново непонятным, что возможно, лишь задавая вопросы себе и миру, не доверяя мифу как знанию. Мы привыкли к неким мифическим трактовкам, скажем, Пушкина, Чернышевского, так что человек массовой культуры даже и не хочет искать иного смысла, миф как бы дан навсегда и не требует проверки. И только философ, ученый открывает мир, «расколдовывает» его, избавляя от мифов. В книге автор пытается расколдовать несколько мифов: Пушкина, Горького, Тургенева, Керенского, и отвергнутых массовым литературоведением — Каткова и Чернышевского, а также явление революции, обросшей десятками прославляющих и проклиняющих текстов, песен и картин. Без мифов жить сложнее, но это человеческая жизнь.

УДК 130.2
ББК 83.3

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Бориса Кустодиева «Большевик»

ISBN 978-5-98712-887-9

© С.Я. Левит, автор проекта «Российские Пропилеи», составитель серии, 2019
© Кантор В.К., автор, 2019
© Центр гуманитарных инициатив, 2019

МИФ

*И летит, и клубится холодный туман,
Проскользая меж сосен и скал;
И встревоженный лес, как великий орган,
На скрипящих корнях заиграл...
Отвечает гора голосам облаков,
Каждый камень становится жив...
Неподвижен один только — старец веков —
В той горе схоронившийся Миф.
Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту гору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаос
На земле, как бывало, настал...*

Константин Случевский

Воспоминание

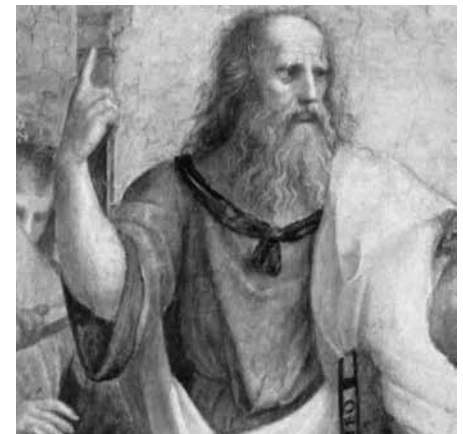
*Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалеюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Александр Пушкин, май 1828

*Миф печальные строки смывает, в мифе все
ладно и складно, но Пушкин, певец разума,
понимал, что строк этих смывать нельзя,
если хочешь жить в реальности. Необходима
демифологизация, прежде всего собственной
жизни.*

Русская Атлантида

Как мы знаем, тему Атлантиды, ушедшую на дно в каком-то смысле вымышленного водного пространства, поднял и ввел в метафизическое пространство великий Платон.



Рафаэль. Платон
(Афинская школа)

Разумеется, Платон понимал, и не скрывал того, что он предлагает в «Тимее» своим собеседникам некий миф. Попробую осветить в нашей памяти некоторые положения. Платон говорил, что (13 а) боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море; сохраняющиеся у нас предания древнее всех, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране

или у вас самих. Взять хотя бы родословные, ведь они почти ничем не отличаются от детских сказок. Так, вы храните память только об одном потоке, а ведь их было много до этого; более того, вы даже не знаете, что прекраснейший и благороднейший род людей жил некогда в вашей стране (b). Склонность великого философа к построению мифов достаточно известна. Но вместе с тем миф всегда дает материал к размышлению: есть ли это реальность или метафора. Причем расширительный смысл этого мифа очевиден. Если говорить о России, то поначалу Атлантидой называли Московскую Русь, загубленную Петром. Но истинной Атлантидой стал в восприятии публики Петербург, проклятый еще царицей Авдотьей. Город, интеллектуальный уровень которого не очень уступал, можно сказать, догонял высшие ходы европейской мысли. Русские философы переписывались с лидерами западной мысли – Шеллингом, Шпенглером, Тиллихом, Хайдеггером, Бинсвангером и т.д. Причем это не были письма учеников, а контакт равноправных, говоря словами Бабёфа, «заговор равных». Напомню, что Риккерт публично назвал Федора Степуна надеждой европейской философии. Жизнь в Европе и России в те годы пахла серой. Но жизнь на вулкане, как ни странно обостряла мысль. Скажем, гибель Петербурга и его высокой культуры в результате октябрьской катастрофы описал в 1925 году Бунин.



Иван Алексеевич Бунин,
после вручения
Нобелевской премии

Это очень было похоже на гибель русской Атлантиды.

Хлябь, хаос – царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад –
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

Это была очевидная реальность, ушедшая от нас реальность, стало быть, мы можем попробовать вообразить, что же было до нас. Какова коннотация, ведущая нас от прошлого к сегодняшнему дню? Когда-то я написал про Петербург статью «Непотонувшая Атлантида». Сокрушив великий город, переименовав его именем разрушителя в Ленинград¹, большевики также отвергли и «архискверного Достоевского», как определил его Ленин. Им было понятно, что писатель, разоблачивший смысл бесовских деяний, не может существовать в стране бесов. Десятитомник писателя был издан только в 50-е годы, годы хрущёвской «оттепели».

В «Поэме без героя» Ахматова лаконично и просто передает исчезновение Достоевского вместе с воспетым им городом. Достоевский запрещен, Петербурга, создавшего русскую культуру, тоже не стало. Вместо него на географической карте появился сначала Петроград, а затем и Ленинград. Все поглотил туман, в котором роились бесы:

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

И тем не менее видевший из-за рубежа нечто более важное Г.П. Федотов предсказывал: «Чем же может быть теперь Петербург для России? <...> Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени насыщенный испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. <...> Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли

¹ Бунин в ужасе писал, «что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга», но еще страшнее то, «что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград», а потому «охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу» (Бунин И.А. Миссия русской эмиграции // Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 354–355).

родятся в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли»¹.

В гениальной пророческой новелле Александра Грина 1914 года «Земля и вода» описывается распад и погружение на дно моря города Санкт-Петербурга. Страшная фантазия, символически осуществившаяся через три-четыре года: «Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, — вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, — богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: “Ваня, я здесь!” Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпирь исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Мно-

¹Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 53.

жество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой — от мебели до женских манекенов. Отряды конных городских, крестясь, без шапок двигались среди повального смятения неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям».

Как это и случилось после Октябрьской революции и в Гражданскую войну, люди носились как угорелые не видя выхода и ждали только спасительной шлюпки или корабля, который мог бы вывезти их из этого хаоса разрушения. Этим спасительны кораблем, маленькой надеждой, Грин и заканчивает свою новеллу: «Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых, о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бессильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода. Нас окликнули и взяли на борт».

Образованные, дамы и офицеры бежали. Маяковский изобразил это бегство издевательски.

На рейде
транспорты
и транспортчики,
драки,
крики,
ругня,
мотня, —
бегут
добровольцы,
задрив порточки, —
чистая публика
и солдатня.
У кого —
канарейка,
у кого —
роялина,
кто со шкафом,
кто
с уютгом.
Кадеты —
на что уж

люди лояльные —
толкались локтями,
крыли матюгом.
Забыли приличия,
бросили моду,
кто — без юбки,
а кто — без носков.
Бьет
мужчина даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.

Некоторым и правда везло. А потом, когда война и большая вода ушла, уцелевшие начали восстанавливать поднимающуюся со дна моря территорию. И что-то все-таки удалось. Город как остров стал подниматься из водной пропасти. И о катастрофе осталось воспоминание, хоть и жгуче-живое. Поэтому и хотели катастрофу преодолеть.



А. Белобородов.
Великий остров

Вот так оно и произошло. Поэтому смело можно сказать, что возрождение, переосмысление петербургской культуры есть расширение и углубление культуры европейской.

Собственно, последние десятилетия российская мысль пытается восстановить взорванную и утонувшую русскую Атлантиду, заново прочитает ее смыслы, и, быть может, самое важное — сызнова ввести ее в контекст европейской культуры, откуда она была выброшена стихией Октября. Одна из самых важных задач, которая стоит перед русской мыслью, — это восстановление ставшего сегодня чрезвычайно актуальным утерянного русско-европейского диалога, России как равноправного партнера Запада. Именно эти темы в разных коннотациях звучат в предлагаемой вниманию читателя подборке моих текстов.

Августин и Чернышевский: падение Рима как культурфилософская проблема Европы

Я бы хотел посвятить свой текст знаменитой статье Чернышевского «О причинах падения Рима (Подражание Монтеस्कье)» и начать его с констатации русскими мыслителями точки зрения о гибели Европы в середине XIX века. Наиболее лаконично эту мысль выразил Тютчев: «Застигнут ночью Рима был». Рим — это, как известно на протяжении столетий, символ Западной Европы. Римская империя пала от внутреннего истощения сил. Тема гибели Древнего Рима со времен Августина была своего рода оселком, на котором проверялась глубина историософского понимания больших мыслителей. Так писали многие, включая главного оппонента Чернышевского тех лет — Герцена. Чернышевский развертывает иную панораму, спрашивая, в чем его оппоненты видят признаки истощения сил, в чем — зародыши смерти от внутреннего изнурения? И отвечает:

«Варварскими нашествиями почти все существовавшее хорошее было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад, к тем временам, когда владычествовали над Галлией дикие верцингеториксы, бродили по Европе кимвры и тевтоны, или к временам еще более далеким, когда Македония была населена дикарями, когда опустошаема была Малая Азия скифами, или еще раньше, когда ходили греки на Трою. Не раньше XVII века, быть может только в половине XVIII века, успела континентальная Европа снова подняться до того положения, до какого достигала в конце III, в начале IV века. Прогресс был слишком на 1000 лет задержан падением Западной Римской империи перед варварами.

Но, говорят, самая победа варваров над Римской империей доказывала несостоятельность Римской империи. Если бы внутрен-

ние силы римского мира не истощились, он легко отразил бы натиск этих слабых дикарей.

Николай Гаврилович
Чернышевский.
Фотография
В.Я. Лауфферга.
1859 год



То есть как же это “легко” и каких же это “слабых”? Внутренние силы Римской республики, конечно, были в самом энергичном процветании (если уже употреблять вашу метафору) около времени Мария⁴. Что же мы видим? Кимвры и тевтоны истребляют несколько римских армий, чрезвычайно многочисленных, и Рим снова на один волосок от опасности быть взятым варварами, как был взят три столетия перед тем, как был взят через пять столетий после того⁵. Или легко было римлянам побеждать племена Западной Германии при Августе? А с кем же тут боролись римляне? Лишь с небольшой частицей, лишь с отдельными племенами дикарей одной только западной окраины безмерного пространства от Рейна до Амура, которое все занято было такими же воинственными дикарями. Вообразим же себе, что все эти народы устремились на запад: не одни прирейнские номады, как прежде, двигались на римлян, — эти племена составляют теперь лишь ничтожный авангард несметных алчных полчищ, которые волна за волною лютуют на цивилизованный мир из глубины центральной и восточной Германии, из Европейской России, из Туркестана, из Монгольской степи. Бьет первая волна, — она отбита, но покрыла развалинами широкую полосу цивилизованного побережья; за нею катится другая волна, за

другую третья, и каждая все выше, стремительней, и проникает все дальше. Так продолжается в течение нескольких поколений, пока, наконец, не осталось в цивилизованном мире уголка, который по нескольку раз не был бы потоплен наплывом этих свирепых полчищ. Какие-нибудь кимвры и тевтоны, составлявшие всего, может быть, сотую долю этого варварского населения, поколебали Рим; свидетельствует ли об ослаблении сил Римской империи тот факт, что она была подавлена всею грудю этого кочевнического населения?

Надобен яснее представить себе отношение сил между кочующими дикарями и цивилизованным народом. Когда цивилизованный народ посылает регулярное войско для покорения дикой страны, кочевники которой не думают идти всею массою на цивилизованную землю, варварская страна завоевывается регулярным войском. Таковы были походы Александра Македонского и римлян. Но если в оборонительной войне кочевники слабы, потому что разделены обширностью своих пустынь на племена довольно мелкие, то совершенно иное дело, когда из глубины степей поднимаются эти кочевные племена и двигаются через земли подобных себе дикарей на цивилизованную страну: тут с каждым шагом стремящаяся масса их растет, захватывая в себя или гоня перед собою племена, встречающиеся на пути. Сила дикарей страшно вырастает и от того, что они соединяются в сплошную массу, и от того, что они одушевлены расчетом на грабеж. В наступлении они гораздо грознее, чем в обороне. <...> Ведь когда Антей был брошен задушенный Геркулесом, пигмеи могли безнаказанно потешаться над его громадным телом. Что же, по-вашему, Антей был хилого здоровья человек или охилел от дряхлой старости?

Чем же был убит древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое овладело всеми кочевными племенами от Рейна до Амура. Тут было ни больше, ни меньше, как погибель страны от наводнения. Никакой внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют теперь волны Зейдерзе. Подобные случаи гибели предмета, гибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при гибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благодетельности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою

по виску, и он умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением, — виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в Сахарской степи, — не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния»¹.

В сущности Чернышевский повторил в новой огласовке мысль Монтескье о причинах гибели Римской империи: «После смерти Аттилы все варварские народы вновь разделились, но римляне были так слабы, что им мог вредить даже самый маленький народ. <...> Империю погубило не какое-либо определенное нашествие, но все нашествия вместе»².

Повторю, подчеркнув: **тема гибели Древнего Рима со времен Августина была своего рода оселком, на котором проверялась глубина историософского понимания больших мыслителей.** Моя задача — показать, как мнение толпы обретало господство в обществе и как истина, которой владеет личность, противостоит общепринятому безумию, выявляя реальные причины катастрофы. В каждом случае докса бывает разная, в зависимости от общепринятого господствующего идеологической установки общества. В эпоху Августина, как мы знаем, победу одержало христианство. Несмотря на недавнее господство язычества, уже утвердилось мнение толпы, что отныне с христианством общество получило защиту от варварства и его зла раз и навсегда. А Рим — центр христианства, а потому злу варварского язычества неподвластен. Падение Рима в мироощущении античных христиан означало, что открыты отныне врата Ада, что христианство не является защитой. Августин отвечал, ссылаясь, как и Чернышевский, на случай как причину катастрофы, на стихию. Русский мыслитель как бы дает свою парафразу идеям Августина и Монтескье о закате Рима.

В эпоху Чернышевского в сознании образованной толпы место христианства заняла цивилизация. Рим пал, поскольку цивилизация оказалась бессильной перед варварами. Правда, Монтескье, а за ним Гегель, говорили о новых началах, — личностных, которые принесли варвары. Но у Монтескье была ссылка и на читанного Чернышевским еще в отцовской библиотеке Аврелия Августина:

¹ Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима (Подражание Монтескье) // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 655-657.

² Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения римлян // Монтескье Ш.Л. Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2002. С. 361.



Симон Мартини.
Аврелий Августин.
Триптих. Фрагмент.
XIII–XIV

«Святой Августин, — писал французский философ, — показал, что град Божий отличается от града земного, где древние римляне за некоторые человеческие добродетели получили столь же суетные воздаяния, как сами эти добродетели»¹. Так протянулась интеллектуальная ниточка от Августина к Монтескье, отсюда в Саратов.

Рим — это первая попытка собрать человечество не только на основе насилия. Империя — это некая мутация восточной деспотии, которая, оставляя базовую основу власти одного, привносит некое добавление — закон, защищающий в лучшие годы империи права и собственность граждан. Именно проблемой Рима и Римской империи заканчивается античная цивилизация, этот первый акт европейской драмы. Как писал С. Аверинцев: «Историческим итогом античности, ее концом, ее пределом оказалась Римская империя. <...> В пространстве рубежи империи совпадали с границами обширного культурного региона, но по идее они совпадали с границами человечества, чуть ли не с границами мироздания — того самого

¹ Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения римлян. С. 360.

“Зевсова полиса”, о котором говорил Марк Аврелий, глава империи и философ империи в одном лице»¹.

Империя впервые вводит в единое целое государства три лучших принципа правления, указанных Аристотелем, соединяет их — монархию, аристократию и полицию. Макиавелли, обращаясь к опыту Рима, именно это тройное разделение властей видел в основе римского правления. Хотя цари в Риме, писал он, утратили власть, «их преемники устранили из города скорее звание царя, а не образ правления, назначив вместо него двух консулов; республикой управляли консулы и Сенат, то есть налицо были два вида власти из трех вышеназванных, а именно принципат и оптиматы. Оставалось только уделить место народной власти, и когда заносчивость римской знати превысила всякую меру, о чем будет сказано ниже, народ восстал против нее, и знать, чтобы не утратить всё, была вынуждена уступить народу его долю. В то же время Сенат и консулы оставались в такой силе, что сохраняли свое значение в республиканских органах власти. Так после введения должности народных трибунов римское государство упрочилось, соединяя в себе все три рода правления»². Впоследствии консулов сменил император, но тем самым лишь ближе подойдя к формуле Аристотеля.

Но идея империи никогда не умирала в западноевропейском сознании. Пожалуй, именно она противостояла разнузданности варваров. Карл Великий строил империю, чтоб европеизировать германских варваров, убедить их, что они римляне. «...на Западе Римская империя, — писал Аверинцев, — перестала существовать “всего лишь” в действительности, в эмпирии — но не в идее. Окончив реальное существование, она получила взамен “семиотическое” существование. <...> Знаком из знаков становится для Запада многократно разоренный варварами город Рим. Когда в 800 г. Запад впервые после падения Ромула Августула получает “вселенского” государя в лице Карла Великого, этот король франков коронуется в Риме римским императором и от руки римского папы. “Священная Римская империя германского народа” — эта позднейшая формула отлично передает сакральную знаковость имени города Рима. Это имя — драгоценная инсигния императоров и пап»³.

¹ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 114.

² Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 18–19.

³ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 115–116.

Европейскость этой идеи доказывают парадоксальным образом размышления Канта, мыслителя, жившего в раздробленной Германии, когда сошла на нет Священная Римская империя германской нации. Парадоксальным, ибо Кант нигде не произносит слово «империя», хотя думает о правовой защищенности разных народов внутри единого государственного образования. Необходимое человечеству государственное устройство, полагал он, может быть реализовано лишь во всемирно-гражданском состоянии, чего можно ожидать только от «союза народов». Вступить в него и «выйти из не знающего законов состояния дикости», а тем самым преодолеть антагонизм не только между отдельными людьми, но и между отдельными государствами, антагонизм, порождающий непрекращающиеся войны, — это задача человечества.

Тема Рима бесконечно преследовала русских мыслителей. Падение Рима было исторически закономерным и неизбежным, столь же неизбежным русские Герцен и славянофилы считали «закат Европы». В связи с ранними, еще российскими, рассуждениями о «закате Европы» и уподоблением этого процесса гибели «Древнего Рима» (у славянофилов и Герцена) Чернышевский предлагает свою схему исторического процесса, весьма независимую и отличную от гегелевской. Не вдаваясь в анализ общих положений этой концепции, отметим только, что Чернышевский весьма резко делит историю человечества на период цивилизованный и варварский. **Иными словами, стихия против цивилизации.** Варвары и цивилизованные люди, разумеется, могут сосуществовать во времени и пространстве, более того, варвары, которые отождествляются Чернышевским со стихийной природной силой (наподобие наводнения, потопа, урагана или землетрясения), вполне могут разгромить народ цивилизованный (как германцы Древний Рим), точно так же, как молния может убить человека. Но Чернышевский сомневался, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное начало в историю. Так, повторяя Гегеля, даже славянофилы говорили о германцах, что с ними пришло в историю понятие свободной личности. Чернышевский в образе жизни германцев не видит разницы с аналогичными военными обычаями других варварских племен: «Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Атилы; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустеры и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах

понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом»¹. **Отождествляя варварство с состоянием хаоса, разбоя, брожения, Чернышевский, безусловно, отрицал, чтобы это состояние общественной жизни могло выработать хотя бы самые отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного человека.** Скорее, это заслуга народов цивилизованных, и вне цивилизации право личности утвердить не удастся². Не случайно только спустя тысячу лет после падения Древнего мира в Европе, в эпоху Возрождения, пробуждается личность, и связан этот процесс не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Отсюда мыслитель заключал, что не стоит хвалиться варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ.

Римская империя была чем-то большим, чем просто государственным образованием, но символом того, как надо жить неварвару. Это было пространство, необходимое для существования цивилизованного человека, поэтому так ласкало имя «Рим» слух русских европейских поэтов, или, по слову Мандельштама:

Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Как замечал С. Аверинцев, «уже Тертуллиан, ненавидевший языческую Римскую империю, все же верил, что конец Рима будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил. Тем охотнее усматривали в существовании Римской империи заградительную стену против Антихриста и некое эсхатологическое “знамение”, когда империя эта стала христианской»³. Соответственно, вся доимперская русская жизнь

¹ Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. VII. 1950. С. 659.

² «Средняя история», то есть история становления европейских государств, писал Чернышевский, «кончается заменением феодализма централизованной бюрократией или чем-нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке; а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке; значит, целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами. Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после невероятных 14-вековых усилий» (там же. С. 661).

³ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 124.

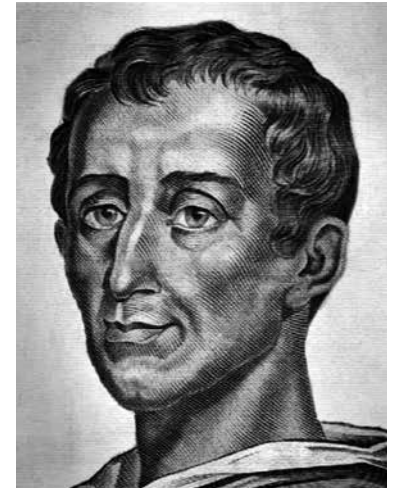
воспринималась просвещенной Россией как жизнь варварская. Да, в борьбе за «старые обычаи» Петра Великого именовали «антихристом», но это прозвище осталось лишь в сознании противников петровского дела. Великая русская литература, как подлинная носительница христианских смыслов, литература от Ломоносова и Пушкина до Бунина и Ахматовой, полагала Петра борцом с адскими силами России. Более того, в сознании русской культуры именно Пушкин, «наше всё», оказался наиболее тесно связанным с Петром.

Идея о России как центре и хранителе всего христианского мира зазвучала не только в Москве (в знаменитой идеологеме старца Филофея «Москва – Третий Рим»), но и в городе, который резонно полагал себя отцом русских городов, городе с иной, немосковской политической структурой, в республиканском Великом Новгороде, своего рода пра-Петербурге. Здесь не Москва, а вся русская земля называется Третьим Римом. Это говорит о серьезных сдвигах в восприятии русскими людьми геополитической картины мира того времени, которая не вызвала радужных настроений. Новгород поэтому говорит о том же самом, что и Москва: «Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своевольству, в новом же Риме – в Константинополе, притеснением мусульманским христианская вера погибнет также. И только в третьем Риме, то есть на Русской земле, благодать святого духа воссияет. Так знай же, Филофей (константинопольский патриарх. – *В. К.*; совпадение с именем старца Елиазарьевского монастыря кричащее и вряд ли случайное. – *В. К.*), что все христианские царства придут к своему концу и сойдутся в едином царстве русском на благо всего православия»¹. Любопытно, что весть эту приносят патриарху Филофею первый римский «папа Селивестр» (еще хороший, признаваемый православием), ибо крестил императора Константина и сам «благоверный царь Константин Римский»², что говорит не только о религиозной благодати «Русской земли», но и о ее грядущем имперском значении. Поэтому Петр выразил своим деянием – построением Санкт-Петербурга с ориентацией на Рим, город Святого Петра – как бы умонастроение не собственно московское, а всей русской земли, которая жила этим чувством и помимо Москвы.

¹ Повесть о новгородском белом клобуке // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М.: Художественная литература, 1985. С. 225.

² Там же.

Шарль Луи Монтескье



Монтескье писал: «Христианская религия в Греческой империи пришла в такое же состояние упадка, в каком она находилась в наше время у московитов до того, как царь Петр I возродил этот народ и ввел в управляемом государстве больше перемен, чем это делают завоеватели в покоренных ими страна»¹.

В «Апологии сумасшедшего» Чернышевский в сущности подтвердил эту мысль Монтескье. Чтобы стать Римом, надо было стать сильной военной державой, чтобы не бояться удара варварской стихии. И Петр этого добился: «Дело только в том, что пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом риторических упражнений. Пока не разработали источников, – а это было уже после молодости Чаадаева, – не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных фраз. Ломоносов взял панегирик Плиния Траяну и при переводе его на русский язык поставил вместо имен “Траян” и “Рим” “Петр” и “Россия”. Такие понятия оставались до последних лет. Петру приписывались все те качества и стремления, которые в каком бы то ни было панегирике приписывались какому бы то ни было знаменитому правителю. От Тита мы взяли милосердие, от Брута – неумолимое правосудие, от

¹ Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения римлян. С. 378.

Людовика XIV — великолепие, от Цинцинната — простоту, от Аристида — правдолюбие, от Ришелье — дипломатическое искусство и, когда соединили все это, провозгласили: “вот Петр Великий!” Чаадаев был так умен, что не верил этой нескладице; но все же он был человек своей эпохи, и следы ее остались на нем. Он мог отвергнуть панегиризм, но приходил в энтузиазм от имени Петра Великого. Он принял из книг своей молодости и понятие, что задушевною целью Петра было превращение России в европейскую страну, понимая под европейскою странюю землю, где владычествует высокая европейская цивилизация. Теперь думают, что придавать Петру Великому такое намерение — значит представлять его слабодушным мечтателем, непрактичным идеалистом, — недостатки, которых не было в его характере; думают, что цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную часть, как ведут ее немцы, если мы останемся по военной части в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, неважным, а главное дело составляли военные учреждения»¹.

¹ Чернышевский Н.Г. Апология сумасшедшего // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. VII. 1950. С. 610–611.

Становление петровско-пушкинской России: философский аспект

Начну, пожалуй, свое рассуждение с фразы Николая Бердяева: «Многие наивные и непоследовательные люди думают, что можно отвергнуть Петра и сохранить Пушкина, что можно совершить разрыв в единой и целостной судьбе народа и его культуры. Но Пушкин неразрывно связан с Петром, и он сознавал эту органическую связь»¹. И далее, продолжая это соображение, необходимо напомнить читателю, что петровско-пушкинский период в истории России занимает не более двухсот лет. В 1925 году Иван Бунин написал гениальное стихотворение «День памяти Петра», в котором обозначил эту эпоху как эпоху величия России и назвал ее петровско-пушкинской. Он назвал символом этой России Санкт-Петербург, «великий и священный Град, Петром и Пушкиным созданный». Петр построил город, Пушкин вдохнул в него душу.

В. Жуковский, учитель Пушкина, говоривший, что ученик победил учителя, 1826 г. высказал вполне философскую мысль: «Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновенного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более всех твоих предшественников!”»². Иными словами, продолжить цивилизацию России — дать, как Господь, именование окружающему миру и тем культивировать его. Ибо имя — первый шаг к самопознанию и самосознанию.

¹ Бердяев Н.А. Россия и Великороссия // Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. Опыт 1917–1918 гг. СПб.: РХГИ, 1999. С. 237.

² Жуковский В.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1983. С. 368.



И. Линеv.
Последний
прижизненный
портрет Пушкина

По наблюдению весьма умных русских людей, для европейцев, *ищущих почвенности и экзотики*, Пушкин *недостаточно русский*. Да и сам о себе поэт говорил: «Бывало, что ни напишу, // Все для иных не Русью пахнет» («Дельвигу», 1821). Так что людей с Запада можно понять. Сошлюсь на наблюдение прожившего в Германии большую часть жизни выдающегося отечественного мыслителя: «Разговаривая с иностранцами, прежде всего с немцами, знающими русский язык и читавшими Пушкина, я часто встречался с мнением, что он, конечно, величайший поэт, но что в нем мало типично русского. Это глубоко неверное и русскому человеку непостижимое суждение объясняется тем, что в Германии за подлинную Россию считают прежде всего Россию Толстого и Достоевского»¹.

Почему так? Впрочем, понятно. От России ждут тайны, загадки, всех пленяют тютчевские строки, что «умом Россию не понять», что «нет в творении творца и смысла нет в мольбе». Так и должны рассуждать дикари, *неевропейцы*. И сколько наших самобытников подыгрывали такому представлению о России — от Тютчева вплоть до Белова и Распутина! И вперекор этим представлениям — страстная,

¹ *Степун Ф.* Духовный облик Пушкина // *Степун Ф.* Встречи. М.: Аграф, 1998. С. 11.

очень личная, почти декартовская фраза Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Таким не умилишься — он равноправен, он чувствует и думает, как Шекспир, Данте, Гёте!

Как же он оказался центром и истоком великой русской литературы — этот «нерусский поэт»? Уже в эмиграции было замечено, что «в наши дни родилось стремление соединить и сблизить Пушкина с православием. Операция проходит почти безболезненно, поскольку над Пушкиным, по уклончивости его, удаются вообще всякие упражнения»¹. Но для этого необходим был откат от Пушкина, *превращение поэта в кумира*, что означало отречение от сути им содеянного, ибо вело к идолопоклонству, отринутому еще Библией. И закономерно приводило к отказу от реального Пушкина, продолжателя духовного роста России, начатого Петровым деянием. До Октябрьской революции заметил это, пожалуй, один Мережковский: «В сущности, Пушкин есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в мировой культуре, который задан был Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Возвращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, особенно в своих крайних и односторонних проявлениях — в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к “гнилому Западу” у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое было завещано двумя одинокими и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным»².

Пушкин называл Петра *«революционной головой»*. Стоит задуматься: то ли деяние мы по привычке называем революцией, какое имел в виду поэт. Для него революционер — это творец. Родину можно любить и без мысли, без головы, — тупо-патриотически, казенно. Умный человек, видя грязь и грубость, может Россию отрицать и ненавидеть, но любить ее умный человек может, лишь будучи творцом, ибо желает не уничтожить, а сотворить Россию. В этом контексте петровские преобразования можно назвать революцией, зато контрреформы Николая Первого контрреволюцией; великие реформы Александра Второго — революцией, а опрокинувший и смывший результаты реформ с лица России октябрьский переворот — контрреволюцией и т.п.

Не только политические деятели вроде Струве и др., но и незаангажированные русские историки и филологи почувствовали

¹ *Адамович Г.* Верность России // *Современные записки*. Париж. 1934. Кн. 55. С. 332.

² *Мережковский Д.С.* Пушкин // *Мережковский Д.С.* Вечные спутники. СПб.; М.: Издание т-ва М.О. Вольф, 1911. С. 338–339.

сущностную, принципиальную связь пушкинского творчества с петровским строительством России. Сошлюсь на П.М. Бицилли: «Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гениями религии, искусства, философии, есть мир менее “реальный”, нежели мир плотских осязаемых вещей, могут не оценить всей огромности заслуги Пушкина в деле создания русской национальной государственности. Вслед за Ломоносовым и Державиным и в бесконечно большей степени, нежели они, Пушкин продолжает дело Петра и Екатерины»¹.

В Европу нельзя было проситься, в Европу нужно было входить смело и решительно, что Петр и сделал. Как писал Пушкин: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы»².

Петр пытался создать российскую твердыню — из хляби и «калужского теста» (так К.Д. Кавелин определял русский народ). В деяниях Петра было много неожиданных, непридуманных символов. Выросший в селе Преображенском, создав Преображенский полк, свою гвардию, он и в самом деле стал *преобразователем* России. Пушкин с гордостью писал о своем негритянском прадеде, что Петр назначил того капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, где сам царь был капитаном. Ахматова называла Петра *Преображенцем*. Дворянская гвардия, одевшаяся в мундиры преображенцев (см. «Записки» Е.Р. Дашковой), возвела на трон Екатерину Великую, продолжательницу петровского дела. Но если поискать основной зримый символ петровского переустройства, то это — воздвигнутый императором *город из камня*, каменный город, противостоящий *деревянной* России (*Петр*, если вспомнить о латинско-римском происхождении этого имени, переводится как *камень*). Не случайно *петербургские строфы* Мандельштама объединены в книге под названием «Камень». Продолжатель петровско-пушкинского дела, загубленный большевистской Москвой.

Созданная Петром Великим русская империя была открыта всем народам («все флаги будут в гости к нам», — писал Пушкин), но, прежде всего, открыта она была Европе, с которой Россия

вновь, как во времена Новгородско-Киевской Руси, ощутила внутреннее единство. Основанный и построенный Петром столичный град Санкт-Петербург создал духовное напряжение в России. Если Иван III приглашал из Италии архитекторов, то политика Петра была иная. Он посылал своих русских подданных учиться в Европу. Первым строителем Петербурга не случайно называют П.М. Еропкина, учившегося «архитектурному делу» по приказу Петра в Риме¹. И Петербург стал городом, структурировавшим новую Россию, превратившим ее в империю.

Новую столицу Петр строил, опираясь на идею Рима. Стоит напомнить очень верное и глубокое наблюдение российских исследователей о том, что семиотическая соотнесенность с идеей «Москва — Третий Рим» неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. Рим создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. «Мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве, — писал, рассуждая об идее империи в начале XX в., Бердяев, — вековая мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с Римом, как понятием духовным, а не географическим»².

Уход от Московского царства, заявление Петра, когда ему поднесли титул императора, что Россия не будет очередной Византией, павшей от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о некоем сознательном историософском выборе Преобразователем новой ориентации в историческом и геополитическом пространстве: «Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; *надлежит стараться о пользе общей*, являемой Богом нам очевидно внутри и вне, *от чего народ получит облегчение*»³ (курсив мой. — В. К.). До националистического переворота Николая I все идейно-политические установки Петра сохраняли свою жизненность.

Важно отметить, что принимая титул императора, Петр не только указывал на свою европейскую ориентацию, но и демон-

¹ См.: Карпов Г.М. Архитектор Петербурга Петр Михайлович Еропкин // Вопросы истории. 2011. № 2. С. 131–143.

² Бердяев Н.А. Конеч Европы // Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 117.

³ Петр Великий в его изречениях. М.: Художественная литература, 1991. С. 88.

стрировал отход как от византийского, так и татарского наследия. Империя означала наднациональную парадигму, где европеизм играл роль сверхидеи, на которую ориентировались все народы государства. Завоевав Древнюю Грецию, Рим оказался наследником древнегреческой религии и культуры, на этой почве преодолел национальную узость и сделал шаг к мировому величию. Но и Европа XVIII века воспринимала себя прямым воспроизведением, восстановлением Древней Греции: «Европа в настоящее время представляет собой увеличенную копию того, образцом чего раньше в миниатюре была Греция»¹. Стало быть, и новый Рим – Россия – мог смело следовать примеру Первого Рима, заимствуя культуру, технику и науку у Европы, не унижая, но возвеличивая себя, вбирая Европу в себя, как некогда Рим вобрал Элладу.

Похороны Петра Великого в Санкт-Петербурге стали религиозным и исторически знаковым событием. Рассматривая восприятие современниками Петра Великого как нового императора Константина Великого, современная исследовательница напоминает об ориентации Петра на Первый Рим, город *святого Петра, похороненного в вечном городе*. Но также о том, что Москва приобрела статус хранительницы православия, когда в нее переехал при Иване Калите и впоследствии был *там похоронен русский митрополит Петр*. «Новая столица Российской империи, – пишет автор, – была вписана в христианский контекст, традиция была соблюдена. <...> Три священные могилы трех Петров: св. апостола Петра – хранителя христианского Рима и всего “земного града” в соборе Св. Петра в Риме; св. Петра, митрополита Всея Руси – в Успенском соборе в Москве, <...> связавшим Второй Рим и Третий. Наконец, могилы Петра Великого в Петропавловском соборе и первого христианского императора Константина <...> в храме Святых Апостолов создают для верующей Руси надежную опору соединения светской имперской, вселенской христианской и отечественной истории»².

* * *

После катастрофы Октябрьской революции близость Петербурга великому Риму становится для русских эмигрантов несо-

¹ Юм Д. О возникновении и развитии искусств и наук // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1966. С. 637.

² Киселева М.С. Петербург в контексте христианской сакральности (Священные могилы священных столиц) // Петербург на философской карте мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 72.

мненной, и эта мысль звучит страстно, тоскливо, преувеличенно, но звучит. В 1926 г. Георгий Федотов написал: «Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим – Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа»¹.

Именно Петербург стал «камнем преткновения» (прошу прощения за случайный каламбур) в рассуждениях и спорах о возможной судьбе России. Интересно, что тот город, который после Октябрьской катастрофы стал символом европейской России, воспринимался тогда как символ азиатской деспотии. Еще до славянофилов, видевших явное внедрение посредством города европеизма в Россию, до Герцена, Бакунина, Достоевского и большевиков, ненавидевших этот *город*, по поводу судьбы Петербурга столкнулись два великих поэта – Мицкевич и Пушкин. Мицкевич отказывал Петербургу в праве называться европейским городом и твореньем человеческих рук, цивилизующих окружающую природу, писал, что Петербург построил сатана.

Пушкин объясняется в любви к городу: «Люблю тебя, Петра творенье!» Город – «Петра творенье», как и вся новая русская культура, как и сам Пушкин. Для Пушкина давно решено, что Петр – *выражение Божьих помыслов о России*.

Вслушаемся:

Он весь как Божия гроза.

Город сохранил облик ваятеля, но люди забыли о Божьем замысле Преображенца, о том, что стихии надо укрощать, на то Бог дал человеку разум и силы. («Он весь как Божия гроза» означает не стихию, а то, что Петр грозен как Бог, а не как человек, потерявший свет разума, а потому подвластный безличной стихии зла, не как Иван Грозный). Лик Божий может быть отражен только в человеке-личности, ибо сотворен он по Его образу и подобию, но не в безличной толпе, массе, не в стихии.

¹ Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 1. СПб.: София. С. 51.



Портрет Петра Великого.
Гравюра с картины Беннера

Петр преобразует природу там, где, казалось, это немислимо, где современный ему европеец махнул бы рукой, забыв, какую дикость, беды, болезни, злодеяния верховной власти преодолевали его собственные предки. Мицкевич писал про Петра, что он «заложил империи оплот, // Себе столицу, но не город людям». Пушкин принял следом за Данте империю, как высшее создание государственного гения, ибо империя была надконфессиональна и создавала правовое пространство. А где торжествует право, там возникает феномен свободы. Римская империя была чем-то большим, чем просто государственным образованием, но символом того, как надо жить *не-варвару*. Идея цивилизации пространства, как я покажу дальше, вододушевляла Петра Великого при построении Российской империи. Не забудем и самого важного, что именно из Рима в Европу пришла идея Христа. А по словам Достоевского, христианство требует от человека **свободы и ответственности**.

Не случайно великий русский эмигрант Георгий Федотов назвал Пушкина «певцом империи и свободы».

Забыв Мицкевичем, *воображающим себя подлинным европейцем*, чумные бунты (а Пушкин помнит — «Пир во время чумы»), Столетняя и Тридцатилетняя война, унижения вилланов («Сцены из рыцарских времен»), слякоть и доводящая до самоубийства нищета английских бедняков, ужасы Французской революции (и это Пушкин помнит: «Убийцу с палачами // Избрали мы в цари» — «Андрей Шень»: о гуманных французах, устроивших массовые убийства именем народа). Кто думал о людях? Пушкин — реалист,

человек ясного и трезвого взгляда. Он не идеализирует запад Европы, поэтому понимает, что *российская дикость не непреодолимая по-меха европеизации*.

А. Бем написал о чуде Пушкина: «Здесь-то мы и подходим к подлинному чуду, которое не поддается никакому объяснению. Как Пушкину удалось сочетать свою “европейскость”, далеко опередившую русскую действительность, с “русскостью”, с верностью основам и русской культуры и русскому национальному духу? Нужна была огромная вера в творческий гений своего народа и в возможности родной культуры, чтобы при таком взлете над действительностью не кончить полным отрывом от нее. Только поразительное чувство реализма, которое было Пушкину присуще, дало ему возможность взнестись на такую высоту, не оторвавшись от родной почвы. <...> Чудо Пушкина именно в том, что скачок в будущее он сделал, не оторвавшись от родной почвы, что сумел он гениально сочетать русскую традицию с достижениями мировой культуры. Без чувства равноправия, которое ему давала его исключительная умственная одаренность и напряженный труд, это чудо не могло бы случиться»¹.

Что же самое важное для нас в *истории Пушкина*? То, что он поэт, и то, как он стал поэтом. Таким поэтом. Национальной гордостью. Начнем с того, что вдохновительницей поэта, да просто его музой была славянофилами (от И. Аксакова до В. Непомнящего) *назначена* его няня. Это мнение и в школьных учебниках закрепилось. Приведем первоисточник, то есть Аксакова: «...от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, “наш Байрон” притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедывать свою нежную привязанность — не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к “мамушке”, к “няне”, и с глубокой искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это — няня, это простая русская деревенская ба а ба!..»²

Задумаемся, однако, что подобные же деревенские бабы, сидевшие у тысяч барчат в допетровской, да и послепетровской Руси, хоть та же нянюшка фонвизинского Недоросля, обожавшая свое

¹ Бем А. Чудо Пушкина // «В краю чужом..» Зарубежная Россия и Пушкин. Статьи. Очерки. Речи. М.; Рыбинск: Русский Мир; Рыбинское подворье, 1998. С. 193.

² Аксаков И.С. Речь о А.С. Пушкине // Аксаков И.С. И слово правды... Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1986. С. 208.

«дитятко», не вложили им в душу и миллионной доли — не таланта, нет, на это никто не способен, кроме Бога, но пушкинской глубины, широты, всеотзывчивости, не научили их даже толком говорить и писать по-русски. Сами были неграмотны. Фальшивым образом Аксаков относит стихи «Наперсница волшебной старины...» (1822) об учившей поэта старушке-музе к Арине Родионовне, которую поэт и впрямь любил, но музой не называл никогда. И названные стихи обращены к его бабушке — Марии Алексеевне Ганнибал, которая, по словам биографа (П.В. Анненкова), «была женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лице приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи»¹.

Вглядимся в судьбу пушкинского прадеда, как понимал ее сам Пушкин, оценивая в ряду проводимых Преобразователем реформ как выражение того же духа и принципа. Пушкин прекрасно понимал, что Петр *вкоренял* своего, получившего образование во Франции крестника-негра, *пришлого* и *чужого* в этой стране, в русские боярские роды, прививал его к русскому стволу, как европейскую культуру, европейскую науку, европейский тип жизнеповедения — России. Результат этой прививки — величайший русский поэт, не тайна, а *разгадка России*.

Цветаева назвала это сообщничество европейски образованного негра, обжившегося в Париже, и великого царя — «заговором равных», переосмысливая бабёфовский заговор социалистов. Не каждому, увы, дано понять *петровский заговор*, направленный на духовное возвышение и преображение страны. А говоря о судьбе Петровского наследия, нельзя забывать самое главное, что оставил Преображенец идущей, грядущей России, — это новый взгляд на положение России в мире, *как страны, способной к самотворчеству европейской культуры*. В этом смысле Пушкин — прямой наследник дела Петра, довершивший в духе то, что Петр мастерил государственным строительством. Опять же Цветаева:

Заговор равных.
И вот, не спросясь повитух,
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух,

¹ Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М.: Современник, 1984. С. 41.

И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд — коим поныне светла...
Последний — посмертный — бессмертный
Подарок России — Петра.

2 июля 1931 (Петр и Пушкин)

Польский поэт Мицкевич написал о страшном наводнении 7 ноября 1824 г. Для него — это законное воздаяние России и тирану за попытку стать Европой. У Мицкевича в ноябре, когда в Европе в крайнем случае осенняя слякоть, Нева покрыта льдом. Пушкин в примечании к «Медному всаднику» замечает: «Снегу не было — Нева не была покрыта льдом». Для Мицкевича Россия — снежный монстр, который никогда не европеизируется. Но для Пушкина в Петербурге совсем европейская слякоть, что, увы, не мешает разливу народной стихии. *Россия — это Европа, подверженная и ныне еще ударам стихийных сил, как раньше был им подвержен Запад — вот его формула русской истории*.

В результате, по позднейшим словам Ключевского, «перед старой романо-германской Европой <...> предстала новая русская Европа»¹.

В эмиграции русские интеллектуалы, изгнанные или бежавшие из Советской России, вдруг осознали, что за рубежами державы оказалась прежде всего Петербургская Россия. Русские пореволюционные эмигранты, увидев Россию свергнутой в «поток нового разрушительного варварства», которое Струве называл хуже первобытного, искали имя, способное воодушевить Россию на новый цивилизационный прорыв. И нашли его: «Эпоха русского Возрождения, духовного, социального и государственного, должна начаться под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением Пушкина»².

Должно было «русскому европейцу» пропустить сквозь свою душу простонародную Россию — и не сломаться, *остаться самим собой*. Только «духовный богатырь» был способен совершить подобный подвиг. Что ж, Пушкин таким богатырем и оказался. А для этого прежде всего необходим был реализм в подходе к жизни, не критический и не социалистический, а христианский, гуманистический. То есть умение видеть то, что есть, понимать сложность мира, не идеализировать, не строить прожектов, не говорить, как должно быть, а исходя из насущного и наличного найти возможность реального преображения действительности — в деянии реального чело-

¹ Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. IV. Курс русской истории. М., 1989. С. 206.

² Струве П.Б. Именем Пушкина // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин: Статьи. Очерки. Речи. Рыбинское подворье. Русский мир, 1998. С. 61, 62.

века Петра, а также найти и меру частной жизни: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...». Рая на земле никому не обещано. Вот устойчивая позиция Пушкина. Но есть выработанные цивилизованным человечеством ценности, которые надлежит отстаивать, — честь, достоинство, независимость, право на свободный труд, свою «обитель трудов и чистых нег», творческую свободу, короче, строй и лад. Этот строй и лад и хотели дать России Петр и Пушкин.

Для Пушкина это доказательство Божественной силы, через человека преображающей природу. Повторим: Пушкин был реалист, он не идеализировал Западную Европу, поэтому не смущался жестокостями Петра. Была для него важна точка отсчета — Просвещение, за которое Запад тоже боролся и не всегда побеждал, да и дорого заплатил — страшной Французской революцией. Если в презираемом племени родился Сын Божий (как писал он Чаадаеву), то все возможно на этой Земле. Русь потому вернется в Европу, что она исконная часть Европы («Руслан и Людмила», «Песнь о вешем Олеге», «Борис Годунов», «Медный всадник» — это прочтение нашего прошлого как европейского) — и в плохом, и в хорошем. Жену Пушкин назвал Мадонной, это была роковая ошибка гения. Мало какой женщине возможно оценить гений и дух, как правило — их приоритеты — сила, власть, богатство. Кого послал ей Бог, Наталья Николаевна оказалась не в состоянии понять.



Наталья Николаевна
Гончарова.
Акварель
А.П. Брюллова

Николай Первый.
Неизвестный
художник первой
пол. XIX в.
Государственный
Русский музей,
С.-Петербург



И имевший в Лицее прозвище «француз», Пушкин был убит французом. Этот странный миф требует расшифровки. Скорее всего, как пишут исследователи (Я. Гордин, Н. Петраков и др.), Дантес был ширмой любовного похождения императора, которому скромная дворяночка Наталья Николаевна не смела отказать. По словам академика Николая Петракова, поэт, вызывая на дуэль Дантеса, иносказательно приглашал к барьеру императора Николая I. Дантес был лишь пешкой, прикрытием романа царя и Натальи Николаевны. То есть вопреки утверждениям пушкинистов о том, что Натали была верной супругой и человеком чистой души, измена с её стороны всё-таки имела место. Император не мог ее сделать фрейлиной, все же замужняя жена, а фрейлины — негласный гарем императора. Нынешние барышни называют сексуальный контакт с начальником promotion. На чужом языке (это практически одинаково и на французском и на английском) это как-то звучит мягче. Но от этого контакта из них мало кто ускользал. Тем более от очень большого начальника, от президента или тем более от императора. Пушкин мечтал о женщине, которая могла бы произнести как Татьяна: «Но я другому отдана / я буду век ему верна». Но такие женщины — редкость.

Это не моя тема, хотя доказательств много. Но характерно, что ширмой был избран зависимый от императора француз. Ни у одного русского человека не поднялась бы рука стрелять в Пушкина. Гений убит ширмой! Какая насмешка судьбы! Замечу еще, что 24-летний пустой мальчишка убил 37-летнего зрелого мудрого мужа. Разница в возрасте кричащая! Император выгнал француза за пределы России. Тайна должна была быть сохранена. Дантес неплохо провел свои дни, стал сенатором Франции.



Жорж Шарль Дантес.
Фрагмент литографии
с портрета работы
неизвестного художника.
Около 1830 года

Необычность этой смерти почувствовал и выразил великий Лермонтов:

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно.
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Зброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

Бунин писал о Пушкине: Он, Его, о Нем, т.е. с большой буквы, как о Богочеловеке. А Иван Шмелёв сформулировал так: «Есть у народов письма-откровения. В години поражений и падений через них находят себя народы: в них – воскрешающая сила. Пушкин – вот наше откровение, вот *тайна*, которую мы как будто разгадали»¹. Разгадали потому, что Пушкин сам и есть разгадка судьбы России, как Христос – судьбы человечества. Не случайно с такой страстной любовью (как ни у одного писателя!) изучен каждый его шаг, каждое его слово, каждая записка или обмолвка. И в итоге про него, про единственного, можно сказать, что он есть «путь и истина» России.

¹ Шмелёв И. Пушкин. 1837–1937 // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. С. 177.

Тургенев: немецкое влияние, или Схождение мирового духа на Россию

Одна из важнейших проблем философии культуры — это проблема взаимосвязи мировых культур. Гегель построил свою философию истории на идее мирового разума, который, переходя из одной области земли в другую, двигает человеческую цивилизацию. Сначала была Азия, потом Древняя Греция и Рим, а потом, полагал Гегель, мировой дух снизошел на германские племена. Дальнейшее же его движение, полагал Гегель, гипотетично. Но в XIX веке русские мыслители и писатели усиленно проходили школу немецкой философии, слушая лекции Гегеля, Шеллинга, читая Штрауса и Фейербаха. Немецкая философия обдумывала, приводила в логический порядок немецкие дела в связи с делами всей Европы.

Для России, много дальше Германии отстоявшей от Европы, оторванной от нее исторически и конфессионально, но вместе с тем искавшей путей возвращения в европейскую семью народов, немецкий опыт приобретал особый смысл и значение. Германия и в географическом, и в практическом, и в духовном отношении была тем соседом, который способствовал проникновению в Россию европейской системы ценностей. И в немецкой философии, ухватив ее общеевропейский смысл, русские интеллектуалы искали своего рода отмычку, открывающую для России дверь в Европу. Как некогда греко-римская цивилизация передала германским варварам духовное начало, считал писатель, так сейчас через немцев мировой дух переходит в Россию.

И вот интересное наблюдение: учившиеся у немецких мыслителей и писателей в конце XVIII — начале XIX века к концу XIX и началу XX века русские писатели и философы стали оказывать невероятно мощное влияние на Западную Европу, в том числе и на Германию. Вспомним имена Достоевского, Толстого, Чехова, Вл. Соловьёва, Л. Шестова и т.д. Не говорю уж о влиянии русской

музыки и живописи начала XX века. И это несмотря на катастрофу Октябрьской революции.

А теперь еще факт: не Пушкин, не Гоголь, не Лермонтов, признанные родоначальники российской словесности, а только лишь Тургенев был первым открытым Европою великим русским писателем. С этого момента (не без помощи Тургенева) русская литература становится событием и явлением европейской и мировой культуры. К удивлению Запада, Россия — место, представлявшееся духовной пустыней, — вдруг произвела нечто, что стало оказывать несомненное влияние на духовную жизнь цивилизованного мира. Тургенев еще при жизни был признан классиком всеми выдающимися деятелями Европы: от Жорж Санд до Т. Карлейля. Его называли единственным представителем эпического творчества в Европе (по сути, он подготовил зарубежных читателей к восприятию Толстого, Достоевского и Чехова), влияние Тургенева к концу жизни было так велико, что, скажем, аугсбургская «Альгемайне Цайтунг», по свидетельству П.В. Анненкова, «ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев “московской” эстетике»¹.

Констатировав эти факты, обратимся к тем явлениям, которые определили такое движение мирового духа. Забегая вперед, могу сказать, что это был процесс, похожий на усвоение Западной Европой римского наследия. Русские оказались тоже хорошими учениками, как раньше западноевропейцы.

* * *

Художественных пересечений с европейскими творцами в русской литературе было немало: можно назвать испанские, французские, английские имена. Но с Германией отношения были много теснее, чем с другими странами. И пересечения эти были не только литературно-философские, они во многом определяли русскую жизнь. Нельзя забывать о раннем периоде германо-норманнского влияния, о том, что в голодные годы (мор, землетрясения) в XII столетии ганзейские купцы посылали в Великий Новгород корабли с зерном. Как показал известный русский историк Н.П. Павлов-Сильванский, «по части уголовного права мы находим в Русской Правде (Ярослава Мудрого. — В. К.) <...> всю систему наказаний известную германским варварским “правдам”»². Далее — перерыв в несколько столетий — монгольское иго. Но уже в России послепетровской немцы, начиная с правящей династии, немцы-

¹ Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 354.

² Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. С.43.

чиновники, немцы-ученые, немцы-управляющие, немцы-сапожники и булочники — определяли многое.

Ответы на духовные вопросы русские люди в постпетровский период ищут в Германии. Немецкая философия объясняла русским их проблемы, учила их даже идее самобытности. Не случайно генезис славянофилов многие ученые ведут от немецких романтиков, ибо немецкий романтизм, по словам Т. Манна, — «это тоска по былому и в то же время реалистическое признание права на своеобразие за всем, что когда-либо действительно существовало со своим местным колоритом и своей атмосферой»¹. Здесь стоит отметить, что первая славянская мифология была написана русским дворянином Андреем Кайсаровым на немецком языке после двухлетнего обучения в Гёттингене (вспомним пушкинскую характеристику романтика Ленского: «С душою прямо гёттингенской...») и издана поначалу в Германии («*Versuch eine slavischen Mythologie*». Göttingen, 1804). И лишь спустя три года, переведенная на русский язык немцем Андреем Аллером, была опубликована в России под слегка измененным заглавием («Славянская и российская мифология». М., 1807).

Россия не прошла школы Античности. Но не пройдя этой школы, не просто европейской, подлинно христианской страной невозможно было стать, ибо христианство выросло на скрещении Ветхого Завета и античной мысли. Саксонец Иоганн Иоахим Винкельман (1717—1768) из города Стендаль написал «Историю античного искусства» (1764), заново открыв Европе Античность. Жуковский перевел «Одиссею» с немецкого, после чего, по словам Гоголя, «вся Россия приняла <...> Гомера, как родного»². Не говорю уж о том, что Жуковский, по соображению Белинского, перевел на русский язык европейский романтизм. Но тоже с немецкого.

Но до Жуковского был Карамзин, первый русский европеец, инициировавший зарождение этого типа людей в России. Становление Карамзина началось с «Писем русского путешественника». Едва ли не впервые не западный путешественник поехал в африканскую Россию, а русский, причем весьма образованный дворянин, поехал в Европу — не учиться, как при Петре или Екатерине, а смотреть, наблюдать, делать выводы. То есть поехал как равный. Не по слухам, не по байкам, даже не по легендам, а самому все увидеть. Что за создание такое — Европа и так ли уж Россия существует вне этого пространства. Его первая встреча — с двумя немецкими обы-

вателями, высокомерными в своем невежестве. «Между тем вышли на берег два немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кёнигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русскую народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? “Нет”, — отвечали они. “А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о Русских; побывав только в пограничном городе”. Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня Русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. <...> “Хорош гусь!” — думал я — и пожелал им доброго вечера»¹.

Хорошо, что Карамзин был начитанный русский и знал, к кому и зачем он ехал. Что была другая Германия, были Гердер, Виланд, Кант, которых он посетил. Первым — Канта. Удивительно трогательно описана эта встреча. Приведу его визит к величайшему мыслителю XVIII века, мыслителя, к идеям которого вернулись неокантианцы в начале XX века, одного из самых сложных европейских мыслителей, давшего код европейской культуры. Начну с визита. «Вчера же (июня 19, 1789 г.) после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного и тонкого Метафизика, который опровергает и Малбранша и Лейбница, и Юма и Боннета — Канта, которого Иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, т.е. *все разрушающий Кант*. Я не имел к нему писем; но смелость города берет — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленькой, худенькой старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: “Я Русской Дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту”. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: “Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости”. С полчаса говорили мы о разных вещах. <...> Кант говорит скоро, весьма тихо и не вразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха»². Замечу, что мы видим разговор равных, никакого подобострастия перед западным гением. Дело не в количестве знаний, а в самоуважении. Не говорю уж о том, что с великим философом говорил великий историк, хоть еще и не написавший ни одного тома своей Истории.

В своей работе «Что такое Просвещение?» Кант связывал совершеннолетие человека и его способность пользоваться собственным разумом с развитием свободы. Карамзин умел и смел пользоваться собственным разумом. Поэтому пытаюсь усвоить западноевропейские идеи, он никогда не был рабом великого имени. Приняв

¹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 12.

² Там же. С. 20—21.

¹ Манн Т. Германия и немцы // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1961. С. 322.

² Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. Духовная проза. М.: Патриот, 1993. С. 45.

от Руссо принцип сентиментализма, введя его в русскую литературу, Карамзин написал знаменитую «Бедную Лизу», создавшую так называемый «лизин текст» в русской литературе. Но якобинцы увидели своего предшественника в великом Руссо, отвергшем науку и культуру, и Карамзин сумел разделить Руссо-художника и Руссо-мыслителя: «Добрый Руссо! Ты, который всегда хвалишь мудрость природы, называешь себя другом ее и сыном и хочешь обратить людей к ее простым, спасительным законам! Скажи, не сама ли природа вложила в нас сию живую склонность ко знаниям? Не она ли приводит ее в движение своими великолепными чудесами, столь изобильно вокруг нас рассеянными? Не она ли призывает нас к наукам?»¹. Трагедия Франции убеждала его, что перевороты чаще всего оказываются катастрофой для страны.

Мы помним, что Пушкин посвятил Карамзину своего «Бориса», не всегда, правда, отдавая себе отчет, что нужна была особая точка отсчета в описаниях российской дикости, чтобы она могла стать и точкой отсчета для написания первой русской исторической трагедии (по шекспировским канонам, но нужен был материал для этих канонов). Недаром Пушкин посвятил ее Карамзину, без которого этого размаха в понимании русской судьбы не было бы. «Драгоценной для россиян памяти НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА сей труд, гением его вдохновенный, с благодарностию посвящает Александр Пушкин». Он осознал, что Карамзин заложил основы русского миропонимания. Миропонимания, где Россия выглядела как часть Европы, причем важная часть. Еще до Тютчева, сказавшего, что навстречу Европе Карла Великого встала Европа Петра Великого, Карамзин, не употребляя подобной высокой формулы, показал Россию как часть европейского материка, способную к самопознанию, а стало быть, и к тому, чтобы выразить европейскую ментальность.

Говорят, что Гёте послал Пушкину свое перо, услышав его стихи во французском переводе. Но у Пушкина — немец эпизодический гость, о немце в «Евгении Онегине»:

И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас

Напомню, что генерал в «Капитанской дочке», к которому приехал юный Петр Гринёв, тоже немец. Все они люди без полета. За

¹ Карамзин Н.М. Нечто о науках, искусствах и просвещении // Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М.: Современник, 1982. С. 41.

исключением разве что Германна из «Пиковой дамы», первого русского наполеоноподобного героя, человека цели, противостоящего российской расхлябанности. Хотя русские персонажи этого не видят. «Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский». Но в пушкинском немце была угадка будущих трагических русских героев типа Раскольникова. Германн — первый в русской литературе человек воли, одержимый страстью.

Гоголь, как мы знаем, начал свое творчество с немецкой поэмы — идиллии «Ганц Кюхельгартен», это была его школа. С Гоголя приходит осознание, что германская культура строительная, это ощущение ясно даже из его шуток: «Немец хитер, обезьяну выдумал», или в «Записках сумасшедшего»: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. <...> Делает её хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне». Но немцы вносят в русскую жизнь понятия, малоизвестные еще в русском обществе, в сущности, структурируя цивилизационные основы культуры.

С другой стороны, надо сказать о любви немцев к России. Создателем «Толкового словаря живого великорусского языка» стал, как говорят в России, немец Владимир Даль. И, в сущности, эта общая точка зрения недалеко от истины. Но датчанин по отцу, немец и француз по матери, Владимир Иванович Даль и в душе, и по духу, и в сознании чувствовал себя исконно русским человеком. Без этого словаря нельзя сегодня представить себе русскую культуру. Трудно, почти невозможно вообразить сейчас, что было бы, не пригласи Екатерина II гражданина далекой Дании Иоганна Христиана Даля (Johan Christian von Dahl), гамбургского библиотекаря, на должность библиотекаря императорской библиотеки. В России часто говорят, что немец взял себе как псевдоним русское слово. Но дело в том, что фамилия von Dahl в русской огласовке совпала с красивым русским словом «даль». Но продолжу. Немец Август фон Гакстгаузен открыл русскую общину, Александр Христофорович Востоков (Остенек) заложил основы сравнительного славянского языкознания в России, Александр Федорович Гильфердинг — собиратель и исследователь русских былин. Это структурирование русской культуры можно проследить вплоть до XX века, до немецкого еврея Дитмара Розенталя, автора многих советских учебников по грамматике и стилистике русского языка, кодифицировавшего русский язык. Вообще русофильство было очень характерно для немцев, живших в России.

Это замечательно изображено в романе Достоевского «Подросток», где немец Крафт, влюбленный в Россию, трагически переживающий ее тогдашний разлад, кончает с собой: «Все точно на

постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут, только б с них достало...». Крафт кончает с собой, отдав всего себя идее русскости и вдруг почувствовав вторичность России. Вообще тема немецкой русофилии, тема немцев, желающих видеть в России идеальную и высшую общественную структуру, любопытна. Передача Достоевским этой (скорее всего своей) любви немцу говорит об интеллектуальной и художественной зоркости писателя. Характерно, что образ немца-руссофила Крафта появляется в романе как контраст с идеей русского европеизма, выраженной в Версилове. Но было и немецкое русофильство дурного пошиба как на бытовом уровне (я имею в виду повесть Тургенева «Несчастливая», показывающую начало русско-немецкого антисемитизма), так и на уровне царского дома, приблизившего к себе Григория Распутина, как истинного выразителя русского народа. Герцен писал: «Славянизм — мода, которая скоро надоеет; перенесенный из Европы и переложенный на наши нравы, он не имеет в себе ничего национального; это явление отвлеченное, книжное, литературное — оно так же иссякнет, как отвлеченные школы националистов в Германии, разбудившие славянизм»¹. Сегодня, опираясь на исторический опыт, можно оспорить герценовское пророчество о быстром падении национализма, но, очевидно, сам факт влияния немецкой философии на русскую мысль указан точно. Надо было пережить сакрализацию русскими европейско-немецкого пространства. Тут прежде всего нужно назвать Тургенева, сумевшего не обоготворить, но *понять* немецкие уроки.

И Германия, и Россия считались пограничными странами по отношению к Западу, Германия училась у Запада (у Франции и Италии, прежде всего), Россия суммировала немецкий интеллектуальный опыт. Шеллинг и Гегель, Фейербах, Маркс, Ницше — все это этапы русского усвоения европейской культуры. Но и в литературе шел аналогичный процесс. Влияние Гёте, Шиллера, Гофмана на русскую литературу трудно переоценить.

Тургенев полагал, что отъезд на Запад укрепил и выстроил его душу. Короткоумную мысль изумляло, почему именно западник Тургенев оказался наиболее тонким и точным угадчиком русской жизни и ее типов. Он «был “западник”... — писал удивленно Николай Михайловский, — но это не мешало ему быть гордостью русской литературы»². Сам Тургенев, напротив, считал, что он сумел нечто

создать не вопреки, а благодаря тому, что он усвоил европейские уроки. Этот интерес к Западной Европе он видел и у русского народа. Потому что из Европы пришла идея свободы, без которой не стоялось бы и русское искусство. В конце 60-х годов Тургенев писал об этом так: «Отсутствием подобной свободы объясняется, между прочим, и то, почему ни один из славянофилов, несмотря на их несомненные дарования, не создал никогда ничего живого... Нет! без правдивости, без образования, без свободы в обширнейшем смысле — в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, — немыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя»¹.

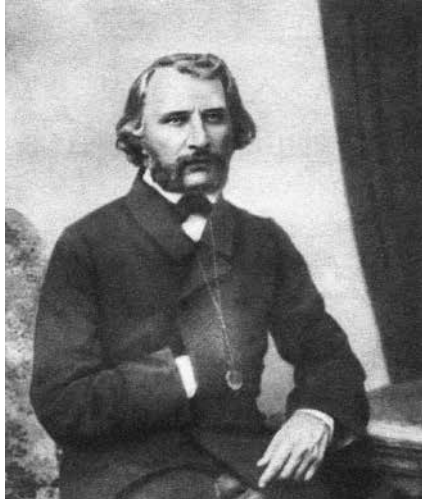
В рассказе «Хорь и Калиныч» (своего рода увертюре тургеневского творчества) он пишет, что из своих бесед с русским мужиком вынес одно убеждение — «убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов». **Именно этой способностью к усвоению чужих смыслов русский народ относится к европейской культуре, выросшей на усвоении греко-римского наследия.** Но для художника этот культурный билингвизм, состояние, я бы сказал, находимости-внезаходимости в своей культуре, то есть способность чувствовать себя представителем своей культуры и одновременно способность взглянуть на нее со стороны, с высшей или по крайней мере равной точки зрения, и создает художественное, бинокулярное зрение, позволяющее увидеть и понять свое родное. Не могу здесь не согласиться с весьма точным наблюдением Николая Вильмонта: «Вторжение инородного начала (расового или культурно-сословного) обычно только и делает большого человека полновластным хозяином национальной культуры. Тому первый пример — Пушкин, потомок “арапа Петра Великого” и правнук Христины фон Шеберх»². Но именно Пушкина Гоголь называл единственным явлением русского духа. Все вышесказанное объясняет и поразительную русскость «европейца» Тургенева.

¹ Герцен А.И. «Москвитянин» и вселенная // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. II. М.: АН СССР, 1958. С. 138.

² Михайловский Н. Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX — начала XX века. Л.: Художественная литература, 1989. С. 239.

¹ Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Сочинения: В 12 т. Т. 11. М.: Наука, 1983. С. 95.

² Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М.: Советский писатель, 1989. С. 49.



Иван Сергеевич Тургенев.
П. Борель.
Литография

Однако почему писатель окунулся именно в «немецкое море»? Более того, почему Тургенев, уже пожилым человеком, написал: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее как мое второе отечество»¹? Действие многих его повестей и рассказов, как мы знаем, происходит в Германии. У Тургенева практически нет художественного текста, где в том или ином контексте не возникла бы немецкая тема: в виде ли персонажа-немца, разговора о немецкой философии, чтения немецких стихов, сообщения героев о поездке в какой-либо германский город (даже простонародный персонаж из «Постоялого двора» ходил в «Липецк», то есть в Лейпциг), впервые в русской литературе употребленного того или иного немецкого слова, которое впоследствии становилось фактом русского языка...

Два года в Берлине, изучение философии Гегеля в те годы дорогого стоили. Именно в Берлине Тургенев заводит дружеские связи с российскими интеллектуалами, которые в дальнейшем приобретут мировую и историческую известность, а многие станут персонажами его романов, — с Михаилом Бакуниним, Тимофеем Грановским, Николаем Станкевичем. Затем он входит в круг Белинского, Герцена, Аксаковых, пропуском в эти слои духовной элиты России служит молодому человеку немецкая философия. Тургенев был принят за своего в этих философских кружках «Молодой России» несмотря на свою молодость. Вообще Германия и прежде всего Берлин были

Меккой молодых русских дворян, пытавшихся расширить кругозор и понять мир. Таким образом, благодаря Германии Тургенев очутился в эпицентре духовно-идейной борьбы своего времени. Факт биографический, но много дающий для понимания духовной атмосферы в России второй четверти XIX века. Пушкин первым нарисовал такого, непохожего на своих соотечественников, русского дворянина, который из Германии «туманной привез учености плоды», при этом был «поклонник Канта и поэт». Если мы заменим Канта Гегелем, то перед нами вместо Владимира Ленского возникнет реальный молодой человек — Иван Тургенев: один из многих. Приехавшие из Германии, эти молодые люди меняли духовную атмосферу России, из их среды вышли славянофилы и западники, «зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов»¹.

Как видим, частная жизнь писателя напрямую связана, как бы перетекает в его творчество, которое уже неотъемлемая часть культуры. А дальше были у Тургенева годы жизни в Баден-Бадене, письма любимой женщине Полине Виардо, писанные по-французски, но все самые интимные и ласковые слова — по-немецки; видимо, для него именно на этом языке звучал непосредственный голос страсти. Он обмолвился при этом в «Дворянском гнезде», что на французском говорят все светские люди, но по-немецки только люди образованные. Впрочем, чем выше духовность, тем глубже может быть падение в низменность и пошлость. От общеевропейского духа Гёте к дикому национализму лавочников и военных. Об этом облике любимой страны он тоже написал.

Когда-то Немецкая слобода была изолированным островком в море русской жизни. Начиная с Петра I, немецкая культура, немецкая технология, немецкое военное искусство, немецкая наука, немецкий стиль правления, да и просто сами немцы, оказавшиеся на всех ступенях общественной пирамиды, — от царской семьи и царского двора до пекарей, булочников, сапожников, управляющих именьями, — стали постоянным элементом русской жизни. К середине XIX века «немецкая тема» поляризовала позиции русских мыслителей. Так, друзья Тургенева Герцен и Бакунин видели в этом обстоятельстве бедствие для России, искажение ее внутренней сущности; тургеневский друг и соперник писатель Гончаров, напротив, полагал наличие немцев благом для воспитания русского характера, введения его в цивилизованное русло. Именно немцы, а не, скажем, французы стали проблемой русской культуры, хотя галломания рос-

¹ Тургенев И.С. Соч. Т. 10. С. 351.

¹ Зайцев Б. Жизнь Тургенева // Зайцев Б. Далекое. М.: Советский писатель, 1991. С. 157.

сийских дворян хорошо известна. Однако, по справедливому наблюдению Герцена, и галломанией русское образованное общество было обязано немцам, немецкой галломании, а именно Екатерине Второй: эта «немка... была офранцузена, выдавала себя за русскую и стремилась заменить немецкое иго — общеевропейским»¹. Но вслушаемся в это словечко — «общеевропейским». Немцы искали именно *общеевропейского* смысла, будучи сами окраиной Европы и европейскими маргиналами, чтобы ухватить ведущую тенденцию западной цивилизации. Немецкая философия, писал Н. Берковский, «обдумывала, приводила в логический порядок немецкие дела в связи с делами всей Европы»².

Для России, много дальше Германии отстоявшей от Европы, оторванной от нее исторически (татарским нашествием) и конфессионально, уровнем цивилизации, но вместе с тем искавшей путей возвращения в европейскую семью народов — при этом в качестве самостоятельной культурной единицы, — немецкий опыт приобретал особый смысл и значение. Германия и в географическом, и в практическом, и в духовном отношении была тем соседом, который способствовал проникновению в Россию европейской системы ценностей. На этом пути возникали и германофилия и германофобия — в зависимости от принятия или неприятия европейских идеалов и образа жизни. Для Тургенева Россия законная часть Европы: «...мы, русские, принадлежим и по языку и по породе к европейской семье, „genus Europaeum“ — и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии, должны идти по той же дороге»³. И в немецкой философии, ухватив ее общеевропейский смысл, русские интеллектуалы искали своего рода отмычку, открывающую для России дверь в Европу.

* * *

Закончу эту главу рассказом об одной повести Тургенева, который первый увидел этот переход мирового духа в Россию.

Всю жизнь Тургенев преклонялся перед Гёте, но в данном случае речь идет о соперничестве не поэтическом, а, так сказать, историко-культурном. Повесть Тургенева, названная по имени великого произведения великого немца «Фауст» (1856), позволяет достаточно

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XIV. М.: АН СССР, 1958. С. 156.

² Берковский Н.Я. Эстетические позиции немецкого романтизма // Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 6.

³ Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Письма: В 18 т. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 126.

ясно представить не только тип, но и причину сопоставления немецкой и русской культуры в творчестве Тургенева.

Портрет Гёте
(акварель Йозефа
Карла Штилера, 1828,
Мюнхен,
Государственная
коллекция искусств
Баварии)



Основное действие повести происходит в срединной, далекой от столиц российской провинции, в одном из «дворянских гнезд», где герой еще молодым человеком влюбляется в прелестную девушку, хочет на ней жениться, отказавшись от своей поездки в Берлин для продолжения образования. Но мать Веры Николаевны требует его отъезда в Германию, чтобы он там возмужал, понял себя. «Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну...» — исповедуется герой приятелю. И вот, по-прежнему одинокий, он возвращается в свою деревню, замечает, что уже стареет, ему под сорок — по тем временам почтенный возраст. В своем имении находит он немецкое издание «Фауста» и вспоминает Берлин, студенческое время, актера, игравшего Мефистофеля, и — молодеет, как Фауст. «Моя молодость пришла и стала передо мною... огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания...» И вот в этом состоянии омоложденного Фауста он встречает когда-то любимую девушку, ей уже двадцать восемь лет, она замужем, у нее дети, но волнение снова просыпается в крови героя. Он начинает к ним ездить, уговаривает послушать «Фауста», спрашивает ее:

«— Ведь вы по-немецки не забыли?»

– Нет, не забыла.

– Она говорит, как немка», – поясняет ее простодушный и недалекий муж. Русская женщина в некоем идеальном смысле отождествляется с немкой. Зачем – станет понятно дальше. И вот эта внучка русского «чернокнижника» Ладанова под чтение гениальной трагедии (где сосуществуют и всевозможная каббалистика, чертовщина, магия, превращения и бессмертная любовь Гретхен и Фауста) влюбляется в нашего героя, причем, надо понимать, вся чертовщина ее уму, привыкшему к мистическим рассуждениям деда и матери, кажется вполне реальной. Но любовь чревата нарушением нравственного долга, к ней является умершая мать, грозит, и героиня – в отличие от немецкой Гретхен, – не смея преступить свой долг и честь, заболевает и умирает.

Все бы это воспринималось как российская вариация на тему Гёте, если бы в повести не присутствовал еще один персонаж: «...какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смиренным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе... все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шиммель, учитель немецкого языка...». Прибыл он на чтение трагедии по приглашению Веры Николаевны, которая к нему благоволила. Немец тоже слушает чтение трагедии, время от времени выражая восхищение («...в продолжение чтения он один нарушал тишину... “Удивительно! возвышенно! – твердил он, изредка прибавляя: – А вот это глубоко”»). Шиммель знает, что трагедией Гёте надо восхищаться, но она не затрагивает его душу, поэтому он может нарушить тишину и глубину восприятия. Как мы знаем, молчавшая во время чтения Вера Николаевна заплатила жизнью за свое знакомство с «Фаустом», он коснулся самых глубинных ее структур.

Немец, неглупый, отягощенный философской культурой, в изображении Тургенева оказывается способен только на глубокомысленные банальности. Вот еще один весьма важный эпизод:

«Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу.

– Сколько звезд! – медленно проговорил он, понюхав табак, – и это все миры, – прибавил он и понюхал в другой раз».

Шиммель произносит слова, не раз звучавшие в немецкой философии (у Канта – «звездное небо надо мною»), но нюханье табака превращает их в пошлость и плоскость. И не потому, что звезды не имеют философского смысла, – имеют, только к ним надо от-

носиться сущностно. Немец как бы изжил эту способность. Но ее получил русский, прошедший немецкую школу.

«Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел наверх. Тайное недоумение тяготило мою душу... Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас». Иными словами, русский чувствует мистическую связь со звездным миром, а немец только говорит об этом. Но отсюда следует и другое, более важное.

Немец – старик, он все только вспоминает, у него все в прошлом. Русские молоды. В них просыпается духовность, которую как эстафету передают отжившие свой век немцы, делая русских историческим народом, пробуждая в них самосознание.

Вера Николаевна читает и перечитывает «Фауста», за этим занятием застаёт ее герой. И вдруг она произносит:

«– Что вы со мной сделали! – проговорила она медленным голосом...»

– Вы хотите сказать, – начал я, – зачем я убедил вас читать такие книги?..

– Я вас люблю, – сказала она, – вот что вы со мной сделали».

Книга немецкого поэта превратила обычную степную помещицу, обреченную на заурядную жизнь матери семейства, в самосознающее и страдающее существо, в личность, способную на самостоятельные движения души. Именно утверждение индивидуализма, писал Тургенев в своей ранней статье о трагедии великого немца, выразил Гёте в своем произведении: «“Фауст” <...> является нам самым полным выражением эпохи, которая в Европе не повторится, – той эпохи, когда <...> всякий гражданин превратился в человека, когда началась <...> борьба между старым и новым временем и люди, кроме человеческого разума и природы, не признавали ничего непоколебимого». Гёте выступил в своей трагедии «за права отдельного, страстного, ограниченного человека»¹. **Как некогда греко-римская цивилизация передала германским варварам духовное начало, считал писатель, так сейчас через немцев этот дух переходит в Россию.**

На этом позволю себе закончить эту главу.

¹ Тургенев И.С. Соч. Т. 1. С. 215, 216.

Прекрасное есть жизнь, или Что такое разумный эгоизм

Новая книга «Срубленное древо жизни»
о судьбе Николая Чернышевского

Беседу с Владимиром Кантором вела Анна Маглий

Владимир Карлович Кантор — русский писатель, доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета — Высшая Школа Экономики (НИУ—ВШЭ), заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога (НИУ—ВШЭ), член Союза писателей России, член редколлегии журнала «Вопросы философии». Автор более 700 работ — научных исследований по истории русской литературы и философии: «Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба» (1978), «“Братья Карамазовы” Ф. Достоевского» (1983), «В поисках личности: опыт русской классики» (1994), «Русская классика, или Бытие России» (2005) и др., и художественной прозы: «Соседи: Арабески» (2008), «Сто долларов» (2011), «Разве это жизнь?» (2012), «Крепость» (2015), «Посреди времен, или Карта моей памяти. Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах)» (2015) и др.

Лауреат премии «Золотая Вышка» (НИУ—ВШЭ, 2009 и 2013) «За достижения в науке». Номинант премии «Русский Букер» за роман-сказку «Победитель крыс» (1992), за роман «Помрачение» (2013), премии «Ясная поляна» за сборник прозы «Смерть пенсионера» (2010), шорт-лист Бунинской премии (2011) за повесть «Сто долларов». Премия журнала «Вопросы литературы» за 2012 год присуждена Владимиру Кантору за серию публикаций по истории русской мысли XIX—XX веков.

— Владимир Карлович, что побудило Вас заняться исследованием жизни и творчества именно Н.Г. Чернышевского, а не А.И. Герцена или Н.А. Добролюбова?

— Вопрос очень естественный, но немножко для меня неожиданный. Дело в том, что я и о Герцене писал, и о Добролюбова — статьи, они отчасти вошли в мои книги. Что же до Герцена, то помимо статей я издал два тома его работ¹. Не могу не добавить, что издание текстов русских мыслителей — мое, если можно так сказать, кредо. Я издал еще тексты Кавелина, Степуна, том текстов русских славянофилов и западников, также был одним из инициаторов и издателей серии «Из истории отечественной философской мысли»² (вышло 40 томов). Уверен, что образованный человек прежде всего должен знать тексты, а исследования — это лишь приправа к собственным размышлениям читателя, ведь исследователь ориентируется прежде всего на читающих людей.

Все это я говорю к тому, чтобы показать, что мое обращение к Чернышевскому не от незнания других мыслителей, а вполне обдуманый, сознательный выбор. Для меня он едва ли не самая репрезентативная фигура русской культуры середины XIX века. В процессе интервью рассчитываю это пояснить.

— В ходе работы над книгой «Срубленное древо жизни» о Н.Г. Чернышевском удалось ли найти новые, ранее неизвестные факты биографии писателя-философа?

— Я смотрел редкие тексты и архивы, но главная задача заключалась в том, чтобы прочитать текст его жизни, избавляясь от мифологической трактовки, которая загубила великого человека. А это требует просто внимательного и подробного чтения, без вчитывания в него других смыслов. Хотя при этом нужен и контекст, то есть знание текстов его современников, мемуаров обширных и случайных заметок, которые порой находишь в местах неожиданных. Но об этом чуть позже.

Фантастично давление на наше восприятие Чернышевского ленинского понимания, а затем советских ученых, которые тоже писали о нем, как о великом человеке, но при этом умудрялись ли-

¹ Герцен А.И. Эстетика. Критика. Проблемы культуры / Составление, вступительная статья, комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987; Герцен А.И. Избранные труды / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев В.К. Кантор. М.: РОССПЭН, 2010.

² Книжная серия, выпускаемая в качестве приложения к журналу «Вопросы философии».

шить всякой духовности, превратить в атеиста великого страдальца и глубоко верующего человека, лежавшего на смертном одре с Библией в руках. Кстати, за это фото (оно вошло в книгу) я благодарен Музею-усадьбе Н.Г. Чернышевского, очень помогавшему мне в сборе архивных документов. Это фото было в советское время запрещено публиковать. Могу немного похвалиться, что я первый человек, представивший его в широкой печати.



Чернышевский на смертном одре с Библией.
Фотограф И. Егерев,
фото находится в музее Чернышевского в Саратове

О Н.Г. Чернышевском мыслитель вроде бы другой школы Василий Розанов написал: «С самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила и каждый шаг обвеян “заботой об отечестве”. Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий где найти “энергий” и “работников”, государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” — непостижимо»¹. Это отчасти и ответ на Ваш вопрос: почему выбран Чернышевский. Я был подростком, когда он заморозил меня своей невероятной энергией. Ведь название книги — это цитата из Розанова: «В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его»².

— *Есть ли и в чем принципиальные отличия биографий, пишущихся сейчас, от биографий выдающихся лиц Греции и Рима или от био-*

¹ Розанов В.В. Уединенное. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

² Там же. С. 207–208.

графий, написанных в XIX–XX веках? Зачем, на Ваш взгляд, писали биографии в древности? Отличаются ли цели современных биографов, описывающих «жизни замечательных людей»?

— Мне кажется, что Плутарх никем до сих пор не превзойден. Параллельные биографии дают подсвет каждой фигуре. Честно говоря, один раз я попытался подражать этой манере — в статье в “Вопросах литературы”, где я на параллелях рассматривал идеи и жизнь Герцена и Чернышевского.

Зачем вообще пишут биографии? Вопрос, на который ответить довольно сложно. В Средневековье, скажем, писали для поучения современников, это были своего рода агиографии. Сегодня причины разные — от тщеславного желания приобщиться к гению до простого рассказа о некоем человеческом событии. Ведь большой человек — это событие, которое мы должны осмыслить, чтобы чувствовать себя в контексте большой истории. Все-таки биография — это и исследование: исследование истории, исследование литературы (если вы пишете о литераторе), философии (если герой философ) и т.д. Проблема в том, чтобы ученое исследование не потеряло героя, живого, со своими бедами и проблемами. Как сказал когда-то Мераб Мамардашвили, что от нас зависит, кого мы числим в своих соседях — дворового пьяницу или Платона. Так вот биографический жанр помогает нам найти хороших и достойных соседей. И в этом смысле сегодняшний автор биографии должен в идее приближаться к агиографу.

— *Остались ли еще какие-то спорные, «темные места», вызывающие сомнения, или, можно сказать, что жизнь Н.Г. Чернышевского реконструирована в своей полноте?*

— Не могу сказать, что темных пятен не осталось. Ни одна книга не может охватить все детали жизни, причем жизни необычной. Скажем, не опубликована полностью его переписка с отцом. А отец — фигура важная для Чернышевского. Саратовский протоиерей, сам учивший сына, переписывавшийся с ним по-латыни (как говорят, серебряной латыни — ведь любимым автором Николая Гавриловича из древнеримских писателей был Цицерон). Человек искренне и истово верующий. Интересно, что приезжий епископ назвал Николеньку будущей надеждой русской церкви. Но были и другие высокие контакты. Когда граф Сперанский, бывший семинарист, между прочим, предложил отцу Чернышевского место в своей канцелярии, Гаврила Иванович ответил, что его призвание

церковная служба. Он рекомендовал графу своего приятеля, который дослужился до тайного советника. Но эта фигура, видимо, волновала ум Чернышевского. Совсем незадолго до ареста он написал о Сперанском статью «Русский реформатор».

Замечу еще, что из отцовского дома он вынес знание десяти языков, свободно читал на всех европейских языках, но знал еще арабский, персидский и татарский. Не надо забывать, что Саратов — это центр огромного евразийского пространства, где Волга собрала разные народности. И первая (до сих пор не опубликованная) работа Чернышевского — о татарских корнях саратовских топонимов. Не забудем еще, что первую студенческую работу он писал у профессора И.И. Срезневского, крупнейшего специалиста по древнерусской литературе. И первая опубликованная статья Чернышевского это — «Словарь к Ипатьевской летописи». Разумеется, церковнославянский язык был языком, который он впитал с детства.

— *В чем заключался метод быстрого изучения иностранных языков Н.Г. Чернышевского, сокращенно названного Вами в книге НГЧ?*

— Это совсем просто. Он советовал изучающим язык взять книгу, которая есть на русском и на языке, который ты собираешься изучать. Причем надо брать русскую книгу, которую знаешь наизусть. Скажем, герой романа Кирсанов «...по-французски выучился другим манером, по одной книге, без лексикона: Евангелие — книга очень знакомая; вот он достал Новый Завет в женеvском переводе, да и прочел его восемь раз; на девятый уже все понимал, — значит, готово». Такой способ он и в письмах знакомым советовал. Отсюда можно еще одно небольшое умозаключение вывести. Человек не будет советовать то, что сам не попробовал. То есть Евангелие он знал наизусть.

— *Каково соотношение факта и вымысла в написанной Вами биографии Н.Г. Чернышевского, если доля вымысла в ней вообще присутствует?*

— Вымысла там, как мне кажется, нет вовсе. Есть нечто обратное — опровержение вымысла и мифа. И это опровержение порой кажется интереснее любого вымысла. Скажем, везде пишут, что отставной офицер и поэт-переводчик Всеволод Костомаров донес на Чернышевского, после чего его посадили. Самое интересное, что доносить было нечего и не о чем. Ни одного противоправительственного деяния ни в поступках, ни в бумагах найти самым

тщательным сыщикам не удалось. Костомаров позиционировал себя как радикал, бредил подпольной типографией, был арестован, отправлен на Кавказ, испугался, по дороге с перепугу объявил так называемое «слово и дело», сказал, что откроет правду о Чернышевском. В сочинении этой правды ему способствовал начальник Третьего отделения Александр Львович Потапов, испытывавший к Чернышевскому личную неприязнь. Явно этот журналист думает не по циркуляру, а придаться не к чему.

И вот две линии костомаровской работы по созданию клеветы. Первая — почти детективная: он написал почти роман в духе Эжена Сю, в котором Чернышевский выступал как подпольщик, руководитель боевых групп, у которого тайные склады с преступной литературой и оружием, верные воины, которые поднимутся по первому его сигналу и т.д. Даже следователи сказали, что чересчур и невероятно, но к делу приобщили. Работала бюрократическая машина. А слухи утвердились, ибо только вариант Игнатия Лойолы мог объяснить его влияние. Интересно, что, опираясь на эти слухи, мой добрый приятель, американский славист, в своих лекциях называл Чернышевского профессором Мориарти, т.е. есть вождем и гением преступного мира из цикла Конан Дойла про Шерлока Холмса. Прочитав мою книгу, кстати, это сравнение он убрал.

Но вторая линия много интереснее и важнее для русской культуры и истории. Костомаров попросил тексты статей Чернышевского и сидел несколько месяцев, выписывая разные невинные фразы и давая им революционное истолкование. Разбор был адресован лично императору. Стоило бы провести внимательное исследование этих инсинуаций. Но в советское время парадоксальным образом принимали трактовку Костомарова. Дело в том, что практически каждый разбор сикофант заканчивал фразой: «Так, Ваше Величество, в подцензурных статьях титулярный советник Чернышевский проповедовал революционное возмущение». **Именно эту мысль Костомарова не раз повторял Ленин, отмечая «могучую проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»¹.** Как видите, вымысла тут не надо. Это просто исторический эпизод, который читается как детектив.

И все же остается под вопросом причина не только ареста, а дальнейшего безумно жестокого, я бы даже сказал злого наказания. Как писали русские эмигранты, даже декабристы не подверглись столь суровой каре (те, которых не повесили), а ведь они вышли с оружием свергать царя. Но их поведение было в традиции

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 5. М., 1967. С. 29.

дворцовых переворотов и было понятно. Поведение Чернышевского было вопреки всем нормам. Поразительное дело, но более всего любой автократический режим не приемлет независимость духа и мысли. Кажется, единственный из русских литераторов того времени в письме к русскому царю он подписался не «Ваш верноподданный», а «Ваш подданный». Разница громадная. Если вспомнить, то бунтарь Бакунин подписывался в обращении к царю «кающийся раб и грешник».

Это стоит обсудить.

— *Какие страхи были у правящих кругов Российской империи относительно прогрессивной части интеллигенции? В связи с чем Н.Г. Чернышевский считался вольнодумцем? Почему идеи Н.Г. Чернышевского были настолько радикальными в глазах правящей власти?*

Для начала, еще раз обозначу позицию Чернышевского по отношению к власти. Студенческие сходки он посещал. Но старался внушить студентам правила осторожности, не из трусости, а показывая бессмысленность лезть на рожон, когда тебе есть что сказать. Существует рассказ об одной из таких сходок. В декабре 1861 г. Серно-Соловьевич устроил вечер, на котором, между прочим, присутствовали Чернышевский и подлежавшие высылке студенты. На этом вечере кто-то из студентов высказал несколько мыслей, довольно радикального характера. По этому поводу Чернышевский с некоторой горечью заметил: «“Эх, господа, господа, — вы точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли... Ни тюрьма, ни ссылка не научают нас!”». На эти слова один из присутствующих сказал, что, может быть, и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловской крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкой ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается...»¹.

Как известно, однако, «нам не дано предугадать...». Но, как говорится, судьба его уже была записана на небесах. Надо понять (и это я подчеркиваю), **что выход государства из системы авторитаризма даже к ограниченной свободе вызывает почти параноические действия власти, которая не знает, как управлять обществом в новой структуре. Более всего она боится тех, кто вдруг сумел думать самостоятельно, а не по прописям.** И Чернышевский этого не понял, рассчитывая на

разумность власти, которая опирается на факты, которая в состоянии оценить позицию человека, внятно обозначившего свою позицию в последней статье перед арестом. Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту.* В «Письмах без адреса», написанных в марте 1862 г., он говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее <...> даже <...> — интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию». Поразительно, что среди высших чиновников были люди, понимавшие безвинность редактора «Современника». Перед арестом Н.Г. Чернышевского к нему явился адъютант петербургского генерал-губернатора А.А.Суворова; который был личным другом императора Александра II. От имени своего начальника адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу уехать за границу, иначе он в скором времени будет арестован. "Да как же я уеду?хлопот сколько!.. заграничный паспорт... Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта. — Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было. — Да почему князь так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого? — Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот князю и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно». Чернышевский отказался последовать совету князя Суворова: не поеду, будь что будет. А уже был утвержден императором список лиц, у которых предполагалось сделать одновременный строжайший обыск. И на первом месте — Чернышевский, самый независимый из литераторов, не чувствовавший за собой вину, а потому ничего не боявшийся. Но в самодержавном правлении бояться — необходимо всегда, если ты верный подданный. И вот уже Чернышевский в Алексеевском равелине. И его поведение подтверждает опасение императора. Когда-то из Петропавловской крепости знаменитый анархист Михаил Бакунин писал отцу Александра II: «Государь! я — преступник великий и не заслуживающий

¹ Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 382.

помилования!». А заканчивал письмо словами: «Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник
Михаил Бакунин»¹.

В начале бакунинской «Исповеди» Николай написал строчку для наследника — цесаревича Александра: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно»². Так что царь-освободитель прекрасно знал из урока отца, как должны заключенные в крепость писать самодержцу.

А вот как и что пишет Чернышевский: «Всемиловитейший Государь. <...> Не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, я знал это и говорил это при самом арестовании моем. <...> Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста. Вашего величества подданный Н. Чернышевский»³. Посмотрим, что неожиданного в письме к императору. Заметим, ни одного восклицательного знака. Затем **требование справедливости** («благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста»). И, конечно, верх непочтительности — это подпись. Обычная подпись — **Ваш верноподданный!** Чернышевский пишет просто — **Ваш подданный**, просто констатируя факт отношений жителя империи и его сюзерена. Всё поперек привычного холуйства. Именно это, думаю, в конечном счете стало причиной ненависти императора. А жестокость наказания показала подданным, что есть страшный преступник, идущий против власти. Был создан образ мученика. И это создавало в свою очередь врагов империи. То есть независимый человек — враг самодержавия. Смешно сказать, но ни одной идеи, которую можно было бы назвать революционной, он не высказал. Единственное, что он проповедовал, — это независимость мысли. Говоря словами Канта, утверждал выход из умственного несовершеннолетия. А при авторитарном режиме, как писал великий социолог Карл Мангейм, любой человек должен чувствовать себя ребенком, которого лидер за руку переводит через дорогу. Сам он понимал причину своей мучительной долголетней

казни, своей жизни на кресте. Когда он был уже несколько лет в «долине смерти» в Вилуйске, к нему по приказу свыше приехал генерал с предложением подать помилование. Чернышевский отказался. Ответ каторжанина поразителен: «В чем я должен просить помилования? В том, что у меня голова устроена иначе, чем у шефа жандармов? За это помилования не просят». Напомню ответ Сократа, сказавшего, что если меня освободят, я все равно буду философствовать. И Чернышевский, как и Сократ, принял казнь, чтобы не отказаться от свободы и независимости мысли.

— *Н.Г. Чернышевский — один из самых истовых библиофагов — «пожирателей книг» XIX века — метко назван Вами верующим реформатором. Его жизнь — по сути, житие человека, прошедшего школу христианства. В своих взглядах на искусство и устройство общества Н.Г. Чернышевский в большей степени опирался на христианское мировосприятие или на труды философов, прежде всего немецких?*

— Как справедливо написала американская исследовательница Ирина Паперно, идеи Фейербаха упали на почву, подготовленную учениями православного христианства. Один из главных догматов православного богословия, восходящий к патристической традиции, это обожение человека: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. На этой подкладке и Фейербах читался иначе, чем его читали материалисты. Любопытно, что не только Чернышевский, — религиозно воспитанные русские мыслители и писатели могли потом искать интеллектуального объяснения своим раздумьям. Так, например, великий русский художник Александр Иванов, уже создав свой шедевр «Явление Христа народу», над которым он работал, читая и перечитывая книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», поехал к Герцену, ему нужна была интеллектуальная подпитка его размышлений, он думал о решающем событии человечества (по мысли многих гениев XIX и XX века — не говорю о русских, но о немецких: Штраус, Витгенштейн, Ясперс). А Герцен призвал его думать о «страдании побитых» и забыть религиозную тему, только у Чернышевского художник тогда нашел понимание. Они всю ночь беседовали о Штраусе, которым Чернышевский восхищался в университете, и конечно же о Фейербахе. Просто я хочу сказать, что религиозные искания русского мыслителя были в русле поисков русских людей, думавших не о революции, а о духовном преображении мира. Вспомним Толстого, Достоевского, Лескова, Вл. Соловьёва, К. Леонтьева. А картина Ивана Крамского «Христос в пустыне»? Или Николая Ге «Что есть истина? Христос и Пилат»? Все о том же.

¹ Бакунин М.А. Исповедь. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 184.

² Там же. С. 239.

³ Дело Чернышевского: Сб. документов. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968. С. 268–269.

– Кто из философов оказал большее влияние на мировоззрение Н.Г. Чернышевского?

Сам он называл Фейербаха, но очевидно, что нельзя миновать Канта и Гегеля. Кант, запрещенный в университетах, преподавался в семинариях. Он писал об Аристотеле, часто ссылаясь на Платона. В работах Чернышевского много раскавыченных цитат из Канта, часто повторял он его знаменитую формулу, что человек сам себе цель. Замечу, что Канта русские Любомудры той эпохи не знали вообще. А экономические взгляды Чернышевского формировались под влиянием и в полемике с великим британским экономистом Джоном Стюартом Миллем. Именно на основании его комментариев к Миллю Маркс назвал Чернышевского великим русским мыслителем, который составляет славу и честь своей страны. Можно сегодня как угодно относиться к Марксу, но гениальности его не отрицал никто, но дело даже не в этом, а в том, что Чернышевский оказался единственным русским мыслителем, которого признал Запад при жизни.

– Что за тип человека «русский европеец»? Можно ли назвать Н.Г. Чернышевского этим отнюдь не оксюморонным, как может показаться, словосочетанием?

– Это выражение возникло в пушкинское время, ожил термин во второй половине того же века. В XX веке он получил большое распространение. Русскими европейцами называли себя Федотов, Степун, Вейдле, Струве, Франк и т.д. Сами они относили к этому типу русских писателей, начиная с Пушкина и Тургенева, разумеется, Чехова и Бунина. Надо понимать, что прилагательное по наполнению равно существительному. Пятнадцать лет назад я написал довольно-таки большую книгу под названием «Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)»¹. Позиция русского европейца дает ему право любить и Россию и Европу, не изменяя себе, но и критически (не враждебно) относиться как к Европе, так и к России.

Среди русских европейцев Чернышевский абсолютно на своем месте. Не забудем, что, будучи христианином по воспитанию и убеждению, Чернышевский не мог не быть европейцем. Ибо христианство это не почвенная, а пришлая религия, религия национальная, объединившая когда-то Европу в *corpus christianum*,

¹ Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001.

а потому и христианская Россия могла претендовать на свою долю европейского наследия. Но оставаясь при этом Россией, как Германия остается Германией, Англия Англией, Италия Италией и т.д. Чернышевский опирался на принципы, выработанные в Западной Европе, прежде всего на идею важности жизни одного отдельно взятого индивида, не раз повторяя великую мысль Канта о том, что человек сам себе цель, но отнюдь не средство, – какое бы благо не было обещано впереди. Он был по всему духу своему европейцем, вырос и воспитался не только на русской, но и на классической европейской литературе (Шиллер, Жорж Санд, Лессинг, Диккенс, Гёте) и философии (от Платона и Аристотеля до Канта, Гегеля, Фейербаха), писал о западноевропейских классиках, переводил с немецкого, английского, французского, вел в «Современнике» раздел зарубежной политической хроники, то есть знал Западную Европу как мало кто. Но он боялся – и не мог не бояться – тех неопитов, которые обращаются к западной мысли как к отмычке русских проблем. Ибо старался исходить из отечественных реальностей. Напомню формулу героя Достоевского: «Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и он наутро возвратит вам ее исправленной». Вот таких мальчиков Чернышевский не принимал на дух. Собственно, если сказать немного высокопарно, он дышал русскими проблемами, жил ими, пытался их решить, но своим умом, за что и был сам вычеркнут властью из круга живых.

– И.С. Тургенев назвал Н.Г. Чернышевского «простой змеей», в отличие от Добролюбова – змеи «очковой». Как складывались отношения Н.Г. Чернышевского с братьями по мысли и перу? Можно ли его все-таки назвать мизантропом?

– Вот кто был человеком закомплексованным и даже мизантропом, так это Тургенев. Чернышевский написал гениальную статью о его повести «Ася», сказав, что у героев Тургенева, которые суть проекция автора, не хватает сил на решительный поступок, поэтому они так боятся любви, которая требует внутренней отваги и решимости. Добролюбов это понимание Тургенева как человека слабо-вольного выразил впрямую: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами и перестанем говорить»¹.

Чернышевский был вежлив и толерантен, хотя именно из круга Тургенева пошло его прозвище «клоповоняющий господин». Это был намек на его семинаристское воспитание. Писатели-дворяне

¹ Скотов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 256.

не принимали разночинцев, особенно из «поповичей». Чернышевский ответил элегантно и мощно, написав книгу о родоначальнике классической немецкой литературы Лессинге, сыне пастора, учившемся на богословском факультете. За Лессингом пошли, скажем, Гёте и Шиллер, а дальше пошло развитие, возникли мыслители, которых русские Любомудры считали своими учителями, прежде всего Гегель и Шеллинг.

Но, пожалуй, самая большая близость по взглядам, по работе, по высокой оценке друг друга была у него с Некрасовым. Начну с итогового, практически предсмертного резюме Чернышевского о великом поэте, сделанного в последний год его жизни в письме к знаменитому издателю, купцу К.Т. Солдатёнкову, человеку, рискнувшему в свое время издать собрание сочинений Белинского, когда богатые друзья критика (Тургенев, Герцен, Боткин и др.) после его смерти благоразумно отошли подальше от его судьбы (ни копейкой не помогшие его вдове и дочери), и отдавшему половину дохода от издания жившей в бедности вдове критика. Солдатёнков мог понять пафос Чернышевского: «Некрасов — мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его заслуги. Сравнительно с тем, что ему я обязан честью быть предметом любви многочисленной и лучшей части образованного русского общества, маловажно то, что он делился со мною последней сотней рублей (он долго был беден, а “Современник” не имел денег); сколько я перебрал у него, неизвестно мне; мы не вели счета; я приходил, он доставал бумажник и раздумывал, сколько ему необходимо оставить у себя, остальное отдавал мне»¹.

Существенно отметить, что Некрасов, хоть и дворянин, прошел жуткую разночинскую бедность, понимал, как страшно жить без денег. Он поступил в университет вольнослушателем. А стало быть, надо было зарабатывать. Денег было настолько мало, что не каждый день мог пообедать. Со школы помню трогательный рассказ, как поэт приходил в харчевню, где всегда можно было почитать газету, и где был бесплатным хлеб и соль. И вот молодой Некрасов прикрывался газетой и ел хлеб с солью. Питание было дикое, и так длилось долго. Рак кишечника, от которого он умер, был не случаен. Не всегда было где жить. Некоторое время он снимал комнатку у солдата, но как-то от продолжительного голодания заболел, много за-

должал солдату и, несмотря на ноябрьскую ночь, остался без крова. На улице над ним сжалился проходивший нищий и отвел его в одну из трущоб на окраине города, где он провел некоторое время. Через год он нырнул в литературную жизнь, где долго не имел успеха.

Как пишут о Некрасове литературоведы и историки, он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для «кабинета восковых фигур», переводил, писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести... Кажется, нет такого журнального жанра, который бы не был испробован Некрасовым. Подводя итоги этого сизифова труда, Некрасов исчислял его в сотнях печатных листов. Он долго чувствовал себя бедным разночинцем. Разночинцем, желающим, но не смеющим претендовать на внимание красивых светских дам. Со своей будущей многолетней любовницей Авдотьей Панаевой он познакомился в 1842 году, 21 года от роду. Панаева считалась одной из красивейших женщин петербургского света. В нее влюблялись все посетители литературного салона ее мужа, даже молодой Достоевский подпал под ее чары, а позднее в романе «Идиот», описывая фото Настасьи Филипповны, он нарисовал лицо Панаевой. Стихи Некрасова Чернышевский знал наизусть, перечитывал на каторге. Для него, как и для Достоевского, Некрасов был великим поэтом, которого Достоевский поставил сразу за Пушкиным, назвав «страстный к страданию поэт».

Любопытна отповедь Чернышевского тем, кто упрекал Некрасова в нажитом богатстве. Он пишет, что в различных биографиях Некрасова «проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о “гнусности буржуазии” и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые “любовью к народу”, вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолудинов с интересами всей остальной массы простолудинов), но, в сущности, одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа»¹.

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. XV. М., 1950. С. 793.

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. I. М., 1939. С. 749.

Особо стоит остановиться на его отношениях с Достоевским. Это была почти мистическая связь. После «Полемических красот», где он напал на всю современную критику, получил массу отповедей и хулы, единственный человек, который выступил в его защиту, был Достоевский. Он написал в своем журнале: «И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде “полемических красот”... Господи! Подымается скрежет зубовой, раздается элегический вой... “Отечественные записки” после этих красот поместили в одной своей книжке чуть ли не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. Один шутник даже сказал, что в той книжке “Отечественных записок” только в “Десяти итальянках” и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!..»¹ («Время», 1861, № 10). Судьба и впрямь оказалась странной. Странной и трагической – в стилистике судьбы самого Достоевского. Любопытно, что в день, когда Чернышевский был арестован, Достоевский в Лондоне подарил Герцену «Записки из Мертвого дома». Совпадение символическое. Если добавить, что Чернышевского засунули в знаменитый Алексеевский рavelин, где в 40-х годах сидел Достоевский, то понимаешь, что русские писатели ходили теми же тропками. И уж совсем замечательно, что арестовал Чернышевского жандармский полковник Федор Спиридонович Ракеев, который в чине ротмистра сопровождал гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь. Такой вот специалист по литераторам.

– Почему и как все же основной художественный труд мыслителя – роман «Что делать?» был пропущен цензурой Третьего отделения несмотря на то что в период его написания отставной титулярный советник Чернышевский содержался в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости?

¹ Достоевский Ф.М. По поводу элегической заметки «Русского вестника» // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19. Л.: Наука, 1979. С. 177.

– Вопрос непростой, но, кажется, имеющий ответ. Третье отделение было умнее публики, которая видела в Чернышевском «дирижера радикального оркестра», а потому искала в романе призыв к революционному делу. Жандармы думали, что роман отвратит молодежь от радикализма. Николай Лесков, архимандрит Бухарев увидели в деятельности новых людей зачатки буржуазного предпринимательства. Но молодежь искала радикализм, зря, что ли, автор романа был посажен в крепость. Раз писателя казнили, то, конечно, он революционер. **Власти нарвались на мифологическое сознание общества, сами при этом создав миф о Чернышевском-революционере.** Никто не ожидал, что безвинный арест превратит мыслителя в революционера-страдальца, а каждое его слово будет читаться именно в этой программе, предложенной самим правительством. Так и было прочитано: роман был антинигилистическим, но прочитан был нигилистически по воле самих властей.

Как же его идеи можно было перетолковать?

Другой современник и противник Чернышевского, профессор Цион, тем не менее достаточно точно показал, как призыв к буржуазному предпринимательству поняли как призыв к бомбометанию. Европейец «спросит вас: кто такой Чернышевский? Вы ему ответите и скажете, что Чернышевский написал плохой, по мнению самих же нигилистов, роман “Что делать?”, сделавшийся, однако, евангелием нигилистов. Вы ему покажете книжку Степняка, где он на стр. 23 увидит, что роман “Que faire?” предписывает троицу идеалов: *независимость ума, интеллигентную подругу и занятие по вкусу* (курсив в тексте). Первые две вещи нигилист “нашел под рукой”. Оставалась третья заповедь – “найти занятие по вкусу”. Долго нигилисты колебались и были в отчаянии, что не могли раскусить мысли Чернышевского. Но вот наступил 1871 год!.. Он в волнении следил за перипетиями страшной драмы, происходившей на берегах Сены... Ответ был найден. Теперь юноша знает, что он обязан сделать, чтобы остаться верным третьей заповеди романа Чернышевского. Парижская коммуна послужила ему комментарием для романа!»¹ То есть спустя десять лет после выхода романа не разобравшиеся в его идеях юноши увидели в европейских событиях совсем другой ответ, чем полагал Чернышевский.

– «Что делать?» – с чем связано, на ваш взгляд, такое название, данное Н.Г. Чернышевским своему роману?

¹ Кантор В.К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // Вопросы философии. 2014. № 3. С. 103.

– В нашей гуманитарной науке, да и публицистике, стало банальным уже соотношение заглавий двух романов – Герцена и Чернышевского. Повторю эту банальность: *кто виноват? И что делать?* – два основных вопроса русской культуры. Причем подтекст этого сопоставления очевиден – социально-гражданственный.

На мой взгляд, проблема, поставленная двумя писателями-философами, много серьезнее и глубже. Герцен предложил *искать виноватого* в бедах человеческой жизни и предложил негативную теодицею. В России виноватой, на его взгляд, оказалась империя, на Западе – буржуа, а в судьбах человечества – Бог. Чернышевский, не просто сын протоиерея, но и человек глубоко верующий, считал порочной саму идею искать виноватых вовне, *надо делать себя*, тогда и жизнь наладится, не искать, кто виноват, а делать нечто, ибо план Бога по созданию мира был разумен. Кстати, именно этот пафос преодоления себя является основным в «Пушкинской речи» Достоевского: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь»¹. Разница только в том, что Достоевский видит это усилие в будущем, как задачу будущих русских людей, а Чернышевский увидел этих новых людей в сегодня. Как и Августин, Чернышевский снимал с Бога вину за мировое зло.

Поиск виноватых приводит к расправам, гибели невинных, особенно в случае народных мятежей. Это был явный конфликт двух самых влиятельных среди молодого поколения идеологов. Роман «Что делать?» вызвал раздражение и изумление у литераторов старшего поколения, самым главным упреком автору стал упрек в том, что Чернышевский изобразил людей, которые не сознают жизненных трагедий, с легкостью их преодолевая. К концу знаменитого романа Герцена «Кто виноват?» его герои оказываются в состоянии непоправимо разрушенных судеб. Герои романа Чернышевского – «счастливые люди», как их назвал Николай Страхов, несмотря на то что роман начинается с самоубийства, полон несчастий и бед, траура и печали, написан узником Петропавловской крепости. Дальнейшая проблема с этим названием заключалась в том, что Ленин своей книге о том, как организовать партию революционеров на авторитарных принципах централизма, дал такое же название – «Что делать?». И эта авторитарная мелодия Ленина заглушила мелодию Чернышевского о

свободе, о необходимости выбора себя. Чернышевский писал: «Свобода, подобно истине (или, лучше сказать, просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого частного блага; свобода и просвещение – это кислород и водород, которые не могут быть предметами особенных наук, потому что и сами по себе не составляют отдельных предметов, не могут существовать в природе независимым, самостоятельным образом, отделяются от других элементов только искусственным анализом, но без которых не существует в природе никакая жизнь»¹.

А поскольку его эстетика была посвящена **жизни как главной задаче человека** (у меня и глава в книге так и называется «Эстетика жизни»), то мертвящие идеи Ленина как раз были отрицательным подтверждением идеи Чернышевского о том, что в стране «мертвых душ» жизнь есть главная ценность. Причем понимал жизнь по-христиански, так, как ее готов принять каждый просвещенный человек. Однако о какой «жизни» идет речь? Вл. Соловьёв главный и важнейший смысл диссертации увидел впоследствии в том, что Чернышевский признал наличие объективной красоты в природе. Это верно, и о важности этого тезиса сегодня можно говорить в связи с лавиной экологических предсказаний, пророчеств и тревог. Но основная проблема была все же в том, что речь тут прежде всего шла о жизни человека. «Прекрасное есть жизнь, – писал Чернышевский и, уточняя, добавлял: – И ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни»². Однако же и люди бывают разные, вследствие этого еще пояснение: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям»³. Но современники справедливо могли сказать, что «наши понятия» бывают разные. Чернышевский вполне предвидел этот вопрос.

Говоря о сложившемся в самодержавной России восприятии красоты среди разных слоев населения, Чернышевский в своей диссертации выстраивает своеобразную триаду. В основание ее он кладет представление о красоте у «простого народа»: «В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе»⁴. Отрицанием этой простой

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. VII. М., 1950. С. 17.

² Там же. Т. II. М., 1947. С. 13.

³ Там же. С. 10.

⁴ Там же. С. 10.

¹ Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Сост., комментарии А.В. Белова; Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 710.

жизни, близкой к природному процессу, является жизнь высшего света, для которого характерно «увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса»¹. Но синтезисом, как тогда говорили, высшей точкой у него выступает жизнь и представление о красоте «образованных людей», которые уже различают «лицо», личность: «Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек нам кажется прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза»². Напомню здесь евангельские слова, которые дают существенный контекст к высказыванию Чернышевского: «Светильник тела есть око» (Лк 11:34). Не очевиден ли первоисточник? Я уж не говорю, что впервые в русской нерелигиозной литературе звучит тема *лица, лика!* Эти выражения: «истинно образованный», «истинная жизнь» — говорят нам, что Чернышевский видел именно в «жизни ума и сердца» высшую точку развития человека. Иными словами, людей — поэтов, мыслителей, умевших пользоваться собственным умом, вышедших, говоря словами Канта, из состояния несовершеннолетия, он считал двигателями человечества.



Портрет Чернышевского, нарисованный на каторге А. Сохачевским

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. II. М., 1947. С. 11.

² Там же.

— Роман «Что делать?» был воспринят публикой и критикой во многом как текст, полемизирующий с «Отцами и детьми» И.С. Тургенева. Роман Н.Г. Чернышевского действительно был нацелен на такую полемику?

— В очень малой степени. Конечно, один из героев носит фамилию Кирсанов, как и тургеневская семейка, второй — фамилию Лопухов. В «Отцах и детях» умирающий Базаров в некоем помрачении говорит: «Вот умру и на могиле лопух вырастет». То есть ничего не останется. Чернышевский подхватывает этот образ и создает Лопухова, светлого и благородного человека. Тургенев назвал разночинцев нигилистами. Не вдаваясь с ним в спор, Чернышевский назвал молодых делателей «новыми людьми». Это название идет из Нового Завета. Все последователи Христа — новые люди. Сошлюсь на современного английского писателя К.С. Льюиса: «Я назвал Христа “первым моментом” нового человека. Он, конечно, гораздо больше, чем “первый момент”, не просто один из новых людей, но новый Человек. Он источник, центр и жизнь всех новых людей. Новые люди появляются тут и там, во всех уголках Земли. Некоторых из них, как я уже отметил, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаете довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших: они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее»¹.

— Вы пишете: «Роман Чернышевского вызвал не просто отклики, полемические и положительные, но создал некий уровень обсуждения мироздания и России. Те вопросы и ответы, которые в нем прозвучали, задали некую совершенно не существовавшую в такой степени и силе парадигму, в которой необходимо было отныне рассуждать». Можно чуть подробнее об этой парадигме?

— Это мысль не моя, не совсем моя. Первый раз ее я вычитал у Бахтина, но сросся с ней. По мысли исследователя, Чернышевский создал в России роман, где не быт, а идеи определяли движение по жизни героев. Это было в диалогах Платона, потом в наиболее яркой форме реализовалось в творчестве Достоевского, где каждый герой несет в себе ту или иную идею, определяющую его суть.

Очень важно акцентировать внимание на идее «разумного эгоизма», которая оказалась в центре идейных споров тех лет и очередным поводом для обвинения Чернышевского в нигилистическом чело-

¹ Льюис К.С. Просто христианство. М.: Гендальф, 1994. С. 136.

веконенавистничестве. Ведь сказано же — эгоизм, как жизненная установка! Идея «разумного эгоизма» кажется многим гораздо ниже морали самопожертвования. Однако именно Чернышевский явил собой пример жертвенности. Но говоря об идее разумного эгоизма, не забудем, что Чернышевский был, если можно так сказать, пропитан евангельскими смыслами и потому можно рядом поставить два понятия **разумный эгоизм и золотое правило христианской этики**. И почему бы не обратиться к первоисточнику — к святой книге. Ведь идея эта родилась еще в Ветхом Завете. **«Люби ближнего твоего, как самого себя»** (Лев 19:18). И уже стало обязательным принципом в Новом Завете: **«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»** (Мф 22:39). Иными словами, чтобы возлюбить ближнего как самого себя, нужно для начала любить самого себя. Если ненавидишь себя, то и ближнего будешь ненавидеть. Вот и объяснение разумного эгоизма. К сожалению, до сих пор это не понято, ибо Чернышевский проходит по разряду атеистов. Но напряжение мысли в русской литературе было повышено на несколько градусов.

— Вопрос «Что делать?» не потеряет своей актуальности. Какова, на ваш взгляд, дальность перспективы идей об искусстве, устройстве общества и путях развития России Н.Г. Чернышевского, высказанных в его статьях, философских трудах и в романе?

— Думаю, что говорить о такой перспективе было бы неверно. Не знаю ни одного мыслителя, идеи которого оказали бы влияние на развитие человечества. Они существуют, к ним обращаются те, кто хочет понимать. Но кто следует эстетическим идеям, скажем, Платона, призывавшего изгонять художников из справедливого государства? Не будем вспоминать Советский Союз или нацистскую Германию, Платон думал о действительно справедливом обществе. Знаю только одно влияние, которое существует уже два тысячелетия. Это учение Христа, идеи которого воспитали Чернышевского и которые он пытался развивать.

Именно это учение попытался оживить на новом историческом витке Чернышевский, знавший об удавшихся попытках подобного рода — лютеранстве, старообрядчестве и пр. Он понимал, разумеется, всю невероятную трудность этого преобразования, но хотел верить в его возможность. Можно было, конечно, совершить некую подстановку, предложив новый вариант христианства — толстовство. Но для сына саратовского протоиерея, которого называли надеждой православной церкви, это было бы кошунством. Другой русский гений, тоже мечтавший о возрождении и укреплении хри-

стианства в России, однако показал, что подобная победа в этом мире невозможна, ибо мир во зле лежит и князь мира сего дьявол. А царство Христа не от мира сего, и Христос вынужден уступить Великому инквизитору, который, как сказал Алеша Карамазов, «не верует в Бога, вот и весь его секрет!». А верующему уготована тюрьма, позорный столб, каторга, одним словом, Голгофа. Это и есть перспектива, предложенная Чернышевским, прошедшим семь лет «мертвого дома» каторги, «долину смерти» в Вилуйске, где он пробыл в остроге двенадцать лет, и оставшимся самим собой.

Имперский европеизм, или Правда Михаила Каткова versus русское общество

Пожалуй, один из самых необычных героев русской мысли — это Михаил Никифорович Катков (1818—1887). Многожды проклятый при жизни и при жизни же невероятно возвеличенный. Реальный, едва ли не единственный серьезный оппонент власти, вместе с тем этой властью в итоге принятый. Принятый и многими великими инакомыслиями, думавшими по-своему. Напомню символический эпизод. 6 июня 1880 года на Страстной площади состоялось открытие памятника Пушкину. Замечу, что на Страстном бульваре помещалась газета Каткова «Московские ведомости». В связи с этой топографической точкой возникает идея Константина Леонтьева, который, выступив в защиту московского публициста, написал, что именно Катков — единственный русский литератор, политический литератор, памятник которому достоин стоять напротив памятника Пушкину: «Если бы у нас, у русских была бы хоть искра нравственной смелости и того, что зовут умственным творчеством, то можно было сделать и неслыханную вещь: заживо политически канонизировать Каткова. Открыть подписку на памятник ему, тут же близко от Пушкина на Страстном бульваре. Что за беда, что этого никто никогда и нигде не делал? Тем лучше! “Именно потому-то мы и делаем!”... Пусть это будет крайность, пусть это будет неумеренная вспышка реакционного увлечения. Тем лучше! Тем лучше! Пора учиться, как делать реакцию... <....> Пусть и отпор будет не только “суровый”, но и еще более пламенный, чем либеральный натиск»¹.

¹ Леонтьев К.Н. Г. Катков и его враги на празднике Пушкина // Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем в двенадцати томах. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 199.

Практически сразу после смерти публициста сквозь вздох радости либеральной элиты прорвалось еще два серьезных текста известных в русской культуре людей — Е. Блаватской и В. Розанова. Блаватская, как и положено теософке, отчитывает современников: «Ставит эта родина, Россия-Матушка, статуи да памятники своим поэтам, музыкантам, авторам. Поставит ли Москва первопрестольная памятник тому, кто, думаю, сделал для России своим могучим словом не менее, чем Минин и Пожарский сделали *мечами*. Лучше бы вместо театральных эффектов погребения, с венками от Национальной Лиги республиканской Франции, доказала Россия, что не зарастет в сердцах верных сынов ее тропа к его могиле, — пусть запомнят наши дипломаты его указания да на деле докажут, что уроки его не пропали даром, а раскрыли им глаза. Пусть не допускают, чтоб Россия была отдана на посмеяние Европы. <...> А зарастет *тропа* в их памяти, то да будет им стыдно!..»¹ Розанов более практичен и одушевлен: «В печати заговорили, — писал Розанов, — о постановке памятника Каткову. В добрый час! Но не следовало ли бы от слова перейти к делу, от предположений — к самому ходатайству о дозволении открыть подписку на памятник? В разрешении не может быть сомнения; еще менее может быть сомнения в щедрости пожертвований, которые польются со всех сторон»². Памятник не был поставлен, а могила его на Алексеевском кладбище вместе с могилами других знаменитостей дореволюционного времени по приказу большевиков была разрушена. Полагают, что оно сильно раздражало количеством могил «царских сатрапов», интеллигенции и прочих приспешников монархии. По воспоминаниям очевидцев, особенно надругались над прахом Каткова, вставив в челюсти папиросу.

Русские литераторы и публицисты, в основном либеральные, не навидели Каткова, что показало одну простую вещь: чувство благодарности, к сожалению, не входило в список добродетелей русских радикалов и либералов. Какие же претензии к Каткову были у его противников? Если вкратце, то они таковы. Начиная с воспитанника немецкой философии, англоман, он стал сторонником и защитником самодержавия, служил ему не за страх, а за совесть. Как писал Сементковский, одни называли его «создателем русской публицистики», «борцом за русскую правду», «носителем русской государственной идеи», «установителем русского просвещения»,

¹ Блаватская Е.П. Некролог на смерть М.Н. Каткова // Московские ведомости. 1887. № 222. 14 августа.

² Розанов В.В. О постановке памятника М.Н. Каткову // Розанов В.В. Эстетическое понимание истории. М.; СПб.: 2009. С. 605.

«столпом русского и славянского самопознания», «златоустом-апостолом величия и славы России», «русским палладиумом», «грозою Германии и Англии», «русскими Фермопилами». Другие давали ему насмешливые и презрительные клички: «громовержец Страстного бульвара», «будочник русской прессы», «жрец мракобесия», «проповедник сикофанства», «московский Менцель» или даже «герцог Альба» (А.К. Толстой). Это и есть его ментальное преступление, преступление против так называемой свободомыслящей клаки. Мой ответный тезис прост: Катков ни разу не изменил тем взглядам, с которыми он впервые вступил в общественно-литературную жизнь. Он был, если позволительно так сказать, имперский европеец, как и Пушкин, последователь Петра Великого. И образован как мало кто тогда. Чтение его и перевод лекций Гегеля по эстетике формировало взгляды Белинского, потом пару лет он слушал лекции позднего Шеллинга, германской мыслью в высших ее проявлениях он был напитан как следует. Кстати, в это же время лекции Шеллинга слушали молодой Фридрих Энгельс и Серен Кьеркегор. Но данных об их контактах нет. Лекции Шеллинга по мифологии сказались в его работе. Он обращается к досократикам и издает «Очерки древнейшего периода греческой философии» (1851, 1853). Империя для Каткова есть носитель свободы. Ему в упрек ставили, что был-де англоманом, а стал сторонником империи. При этом как-то в простоте забывалось, что Великобритания — это империя.

Издатель журнала «Русский вестник» с конца пятидесятых, он стал фигурой весьма влиятельной. Правда, после его смерти его бранили многие, в том числе и те, что были обязаны ему своей известностью. Но напомним строки одного из самых благородных умов, великого философа Владимира Соловьёва, в отличие от многих имевшего чувство благодарности. Именно Владимир Соловьёв, в зрелые годы ставший сотрудником «Вестника Европы» и противником московского публициста, написал о Каткове как фигуре весьма достойной и важной для русского самосознания: «Я решился написать и напечатать эти воспоминания потому, что хочу избежать упрека в неблагодарности, сказав об этом человеке — имевшем ко мне некогда доброе расположение — все то хорошее, что по совести могу сказать о нем. <...> Именно этот *принципиальный* характер моего разрыва с ним составляет для меня и право, и обязанность не скрывать своих личных впечатлений и решительно сказать, что, какова бы ни была внешняя деятельность Каткова, он не исчерпывался ею: в нем было другое и лучшее. И на основании этого другого лучшего, что я видел и испытал, я должен еще заявить, что никогда не поверю, чтобы Катков был способен в важных вопросах кривить

душой, сознательно изменять свои взгляды и свои указания ради каких-нибудь низменных своекорыстных соображений. Этот человек доказал, что в решительную минуту он способен все поставить на карту, готов рисковать всем своим личным положением и благополучием ради того, что он считал пользой своего отечества»¹.

* * *

Но все же необходима предыстория — о том, как сложился наш герой. Родился он в ноябре 1818 года, в семье мелкого канцелярского чиновника в Москве, выходца из провинциального уездного города Чухлома Костромской губернии, отец умер, когда мальчику было три года. Детство и юность прошли в абсолютной бедности, на грани нищеты. Его выводила в люди мать. Она сумела пристроить его в Преображенское сиротское училище при 1-й Московской гимназии. Его воспитывала мать, к которой он на всю жизнь сохранил любовь и привязанность. И это ни для кого не было секретом. Свои чувства Катков проявлял открыто. Один из случаев проявления сыновней любви сохранился в воспоминаниях Т.П. Пассек. Будучи приглашенной к известному доктору-гомеопату К.И. Сокологорскому вместе с вернувшимся недавно из-за границы Катковым и его матерью, поднимаясь по довольно высокой лестнице, она заметила, что пожилой Варваре Акимовне этот подъем дается с трудом. Заметил это и Катков. И в ту же минуту быстро сбежал вниз, поднял мать на руки, внес наверх и почтительно опустил ее на пол. Потом тревожно оглянулся на подымавшихся по лестнице, по-видимому, опасаясь, чтобы кто-нибудь не улыбнулся. Все были серьезны.

В 1834—1838 годах Катков столь успешно занимался на словесном отделении Московского университета, что слушать его ответы приходили студенты, а курс он окончил кандидатом с отличием. В 1830-х годах Катков примыкал к кружку Н.В. Станкевича, был близок с В.Г. Белинским, А.И. Герценом, М.А. Бакуниним. В 1838—1840 годах сотрудничал с журналом «Отечественные записки» и «Московский наблюдатель», перевел трагедию Шекспира «Ромео и Юлия», переводил стихи Гейне. В 1839 году выходит его статья «Песни русского народа» — принципиально важная его статья, основные положения которой определяют его взгляды едва ли не до конца жизни. Катков не менялся. Менялось время и его современники. Полемизируя со славянофилами, категорически не принимавшими Петровские реформы, он пишет в этой статье: «Только с Петра

¹ Соловьёв В.С. Несколько личных воспоминаний о Каткове // Соловьёв В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 626, 633.

возникла Россия, могучее, исполинское государство; только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества, развивающим своею жизнью одну из сторон духа; только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова, ни науки»¹. Петр в каком-то смысле ответил на запрос народа. Ибо Российская империя, российское государство, по Каткову, есть порождение русского народа, и в этом его величайшая историческая заслуга, поскольку именно созданная Петром империя внесла в Россию европейскую цивилизацию, вводя страну в круг мировых держав: «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все времена своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу и по изумительной силе ассимилирования?»². Творческая потенция теперь только у самодержавия, считает Катков, которое европейской культурой вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный народом. Именно при Петре благодаря его Табели о рангах возникает то, что ныне именуется лифтом, — движение из низших сословий в высшие, без насилия и революций. Это путь самого Каткова, от нищего разночинца поднявшегося до тайного советника. Таков вкратце смысл историко-культурной концепции Каткова, определившейся еще до 1840 года.

«Отечественные записки», — писал Белинский В.П. Боткину (4 октября 1840 г.), — издаются трудами трех только человек — Краевского, Каткова и меня»³. Однако позиция Каткова отличалась от позиции Белинского. Он западник, но Белинский упрекает Каткова в «москводуший». Он защищает европейскую культуру с ее традицией личной независимости, самодетельности; для него в эти годы, как и для других «русских европейцев», совершенно неприемлема идея «официальной народности». Но такой же европейской независимости он хочет и для России. Хотя народ он поднимает высоко — на свой лад, конечно. Катков в восторге от Петровских реформ, принимает их целиком. В идеализации Петра как просве-

щенного монарха, перестраивавшего Россию на европейский лад, видна особая позиция, которая определит его мирочувствие.

И еще один образ, ориентир, фарос России, который чрезвычайно важен для Каткова. В 1839 году, за несколько лет до Белинского, почти за столетия до Достоевского Катков пишет о Пушкине примерно то, что позже сформулируют и Белинский, и Достоевский. Он перевел статью немецкого философа Карла Августа Фарнгагена фон Энзе, в предисловии сказав: «Смешно бы, может быть, показалось многим, если бы сказали, что Пушкин — поэт всемирный, стоящий наряду с теми немногими, на которых с благоговением взирает целое человечество. Им было бы смешно; а отчего им было бы смешно? Что, если мы скажем, что сейчас сказали, от лица иностранца, чуждого всякого пристрастия, иностранца, который судит о России и об ее явлениях не как член народа, а как член целого человечества; что скажут они тогда? <...> Мы твердо убеждены и ясно сознаем (опять мы подчеркиваем), что Пушкин — поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира; не лазаретный поэт, как думают многие, не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии. Он не убоился низойти в самые сокровенные тайники русской души... Глубока душа русская! Нужна гигантская мощь, чтоб исследить ее. Пушкин исследил ее и победоносно вышел из нее, и извлек с собой на свет все затаенное, все темное, крившееся в ней... Как народ России не ниже ни одного народа в мире, так и Пушкин не ниже ни одного поэта в мире. <...> Нас опередили в оценке нашего Пушкина! Но дай Бог, чтобы это было в последний раз, дай Бог, чтоб мы почувствовали наконец в себе силы к самобытной и самосознательной умственной деятельности»¹. В оценке Пушкина он опередил Белинского и Достоевского. Две вещи важны для него. Первое: Пушкин не местный поэт, а самобытный и потому имеющий общеевропейское, мировое значение. И второе: Пушкин — поэт империи и свободы.

Можно сказать, что здесь заложено начало, которое привело его на позиции «консервативного национализма», как определяют его линию западные слависты². Можно ли назвать его националистом? Как справедливо пишут западные исследователи, Катков хотел видеть Россию идущей по европейскому пути, но при этом сохра-

¹ Катков М.Н. Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839 // Отечественные записки. 1839. Т. 4, отд. 6. С. 8.

² Там же. С. 36.

³ Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. XI. М.: АН СССР, 1956. С. 557.

¹ Катков М.Н. Отзыв иностранца о Пушкине. Статья Фарнгагена фон Энзе // Катков М. Идеология охранительства. М., 2009. С. 536–537.

² См.: Thaden E.C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle: University of Washington Press, 1964. 271 p.

нявшей бы свою самостоятельность и независимость¹. Соображение весьма резонное. Замечу в скобках, что в 1960-е годы на Западе чаще, чем ныне, писали о Каткове, называя его и «консервативным националистом» и последователем позднего Шеллинга, в котором они усматривают начало консервативного романтизма московского мыслителя. Так, Мартин Катц пишет, что обращение Каткова к практической пользе и поиск реальности «находились внутри того же самого романтического мировоззрения», усвоенного им от позднего Шеллинга². Думается, русская реальность играла в становлении Каткова роль не меньшую. Пойдем по порядку.

В начале 1840-х годов он порвал старые литературные связи. Разрыв с Бакуниным стоит нескольких пояснений, это живописно. У Каткова был роман с первой женой Огарёва Марией Львовной (урожденной Рославлевой).



Мария Львовна Огарёва.
П. Орлов

Как-то Бакунин застал их в недвусмысленной позе, голова Каткова на коленях у Марии Львовны. И пошла гулять сплетня. О дальнейшем в пересказе Белинского. Летом 1840 года на квартире В.Г. Белинского состоялось выяснение отношений между Катковым и Бакуниным. В письме В.П. Боткину от 12–16 августа, отправленном с нарочным, с оказией, не через почту, Белинский так описывал эту сцену: Бакунин «встретился с Катковым» лицом к лицу.

¹ См.: *Katz M.* Mikhail N. Katkov. A political biography, 1818–1887. The Hague; Paris, 1966. P. 112.

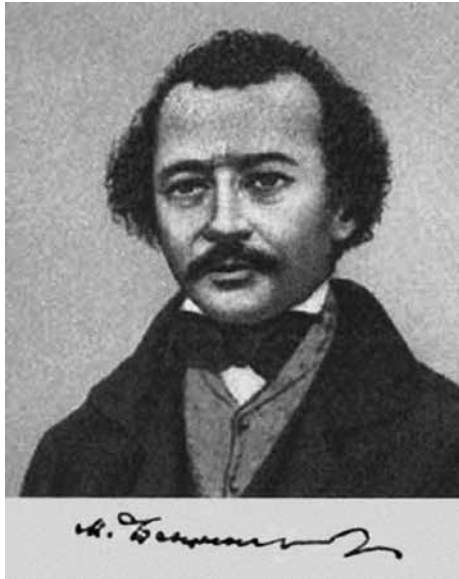
² Ibid. P. 180.

Молодой Михаил Катков.
1853



К<атков> начал благодарить его за его участие в его истории. Бакунин, как внезапно опаленный огнем небесным, попятился назад и задом вошел в спальню и сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом и с притворным равнодушием: «“Фактецов, фактецов, я желал бы фактецов, милостивый государь!” — “Какие тут факты! Вы продавали меня по мелочи — вы подлец, сударь!” — Б<акунин> вскочил. “Сам ты подлец!” — “Скопец!” — это подействовало на него сильнее подлнца: он вздрогнул, как от электрического удара. К<атков> толкнул его с явным намерением затеять драку. Б<акунин> бросился к палке, завязалась борьба. Я не помню, что со мною было — кричу только: “Господа, господа, что вы, перестаньте”, — а сам стою на пороге и ни с места. Б<акунин> отворачивает лицо и действует руками, не глядя на Каткова; улучив минуту, он поражает К<атков>ва поперек спины подаренным ему тобою бамбуком, но с этим порывом силы и храбрости его оставили та и другая, — и К<атков> дал ему две оплеухи. Положение Б<акунина> было позорно: К<атков> лез к нему прямо с своим лицом, а Б<акунин> изогнулся в дугу, чтобы спрятать свою рожу. Во время борьбы он вскричал: “Если так, мы будем стреляться с вами!” Достигши своей цели, т.е. давши две оплеухи Б<акунин>у, К<атков> наконец согласился на мои представления и вышел в кабинет»¹.

¹ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. XI. М., 1956. С. 145.



Михаил Александрович
Бакунин

Интересно, что участники этой ссоры стали персонажами романа Тургенева «Рудин». Круг был тесен. Второй, положительный персонаж романа, Лежнёв, по мнению литературоведов, прототипом имеет Каткова. И еще деталь: Катков назвал Бакунина «скопцом». Именно это слово вывело отца анархизма из себя. Похоже, что попадание было точным. Вспомним, что Рудин не решается овладеть Натальей Ласунской, готовой ему отдаться, бежит от нее. Причем безо всяких внешних причин. Да и другие герои Тургенева, схожие с Рудиным, столь же беспомощны в сексуальном плане. А отсутствие в человеке эроса, то есть творческого начала, рождает жажду разрушения. Если не создавать, то ломать. Отсюда и его знаменитый дикий и бессмысленный лозунг: «Страсть к разрушению — творческая страсть». На другое творчество скопец и не способен.

Бакунин, как мы видели, предложил стреляться, но только в Европе, и уехал в Германию. Следом уехал и Катков. Но интересы их оказались слишком разными. Бакунин строил революцию, пытался взорвать дрезденскую ратушу, а Катков учился в университете. Вернувшись в Россию, Катков устраивается на службу в Московский университет. В 1845 году Катков защищает диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка» и становится адъюнктом на кафедре философии, занимаясь до 1850 года исключительно наукой. В 1853 году он женился на княжне Софье Петровне Шали-

ковой, дочери известного в свое время поэта и литератора. Как говорили его современники, княжна Шаликова была некрасива, хотя хорошо болтала по-французски, но образование было практически нулевое, да и состояния она не имела никакого. По поводу этого союза Тютчев отпустил свое очередное бонмо: «Что же, вероятно, Катков хотел свой ум посадить на диету». Но жизнь они прожили ладно, родив девять детей.

А с 1856 года он вместе с П.М. Леонтьевым начал издавать литературно-художественный и общественно-политический журнал «Русский вестник». За 30 лет на его страницах увидели свет практически все классические произведения русской литературы: «Казачи», «Война и мир», «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (в 1880 году на страницах «Московских ведомостей» была опубликована «Пушкинская речь» Ф.М. Достоевского), «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» И.С. Тургенева, «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Семейная хроника» С.Т. Аксакова, «На ножах», «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Захудалый род» Н.С. Лескова, «Взбаламученное море» А.Ф. Писемского, «Князь Серебряный» А.К. Толстого, «В лесах» и «На горах» П.И. Мельникова-Печерского, начиная с первого номера в журнале печатались исторические исследования Б.Н. Чичерина, которого Катков ввел тем самым в круг литературной элиты, стихотворения и поэмы А.Н. Майкова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, В.С. Курочкина. Если вспомнить о Вл. Соловьёве, то и ему Катков оказался в помощь. В 1880 году Розанов написал о Соловьёве: «Он был так талантлив, что сразу все вставали навстречу ему... Катков, Ив.С. Аксаков, славянофилы и западники, — все перед ним именно “вставали”, когда он среди них появлялся. Достаточно сказать, что Катков напечатал в своем “Русск. вестнике”, где тогда печатались романы Достоевского и Толстого, его *докторскую диссертацию* — “Критику отвлеченных начал”: вещь, совершенно самоубийственная для журнала!»¹. Из переводов стали заметным явлением роман американки Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», такой важный в момент отмены крепостного права в России, стихи Беранже, Гейне. Настоящую сенсацию производили разоблачительные статьи бывшего жандармского офицера С.С. Громеки о полиции, ее взятках и вымогательствах.

Надо сказать, что уже после смерти Каткова (1887) пошли воспоминания, многие со странным желанием очернить своего бывшего

¹ Розанов В.В. Окончание «Писем Соловьёва» // Розанов В.В. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.; СПб., 2011. С. 94.

издателя. Скажем, умный, но чрезвычайно желчный Борис Чичерин в 1888 году начал писать мемуары, где всем поступкам своего бывшего соратника и издателя пытался дать самое негативное объяснение: «Не прошло двух лет, как один за другим все сколько-нибудь самостоятельные люди были вытеснены, и “Русский вестник” остался личным органом Каткова. <...> Немного людей в России, которые сделали столько зла отечеству. Он низвел русскую литературу с той идеальной высоты, на которой она стояла в начале царствования Александра II и потопил ее в болотную грязь. Выступив на журнальное поприще в то время, когда спали узы, стеснявшие русскую мысль, и когда именно журналистика получила преобладающее значение, он с своим умом и талантом занял в ней первое место. Но вместо того, чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества»¹. Начало царствования Александра II – это конец 50-х. Но всю эпоху царствования Александра у Каткова публиковались шедевры русской литературы и философии. Начиная от Тургенева и Толстого до Достоевского и Вл. Соловьёва (это уже конец 70-х – начало 80-х). Впрочем, как ни странно об этом подумать, Чичерин задал тональность отношения к издателю «Русского вестника». Ленин писал, причем перевирая факты еще более, чем Чичерин (скажем, называя *разночинца* Каткова *помещиком*): «Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конституции, помещик Катков во время первого демократического подъема в России (начала 60-х годов XIX века) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству»². В черносотенстве Каткова обвинить можно в той же мере, как и Достоевского.

В эти годы купец Павел Третьяков создавал русскую классическую живопись, покупая картины русских художников. Художник не может творить без зрителя, как писатель без читателя, без того, чтобы его творчество стало общедоступным. Классическую литературу сделал достойным публики Катков. В первом же номере «Русского вестника» – статья Каткова о Пушкине.

«Характер общего воззрения, – писал Чернышевский, – которым “Русский вестник” намерен руководиться при рассмотрении вопросов, касающихся истории нашей литературы, определился, кажется, с более или менее достаточною для его читателей ясностью

направлением статьи г. Каткова, “Пушкин”. <...> Он хочет быть органом художественной критики»¹.

Катков, однако, имел замыслы более обширные. Не случайно он перехватил у «Современника» лучших его авторов. Его направленность, если угодно, направленность профессора была против левых радикалов. Порой в этом своем стремлении противостоять левым он напоминал Писарева, который крушил направо и налево, заявляя, что то, что не уцелеет, так тому и быть, а лучшее уцелеет. Поэтому, скажем, под одну гребенку он стриг и радикала Герцена и реформатора Чернышевского. Не все противники бесов его поддержали. Достоевский, принимая критику Герцена, более того, изобразив его в облике Ставрогина, за Чернышевского заступался.

К нему уходят Тургенев, Толстой, Фет, Тютчев и другие. Надо сказать, что между писателями-дворянами и критиками-разночинцами конфликт тлел с конца 50-х. Чернышевский вспоминает резкость Добролюбова по отношению к Тургеневу, когда молодой критик сказал классику, что ему скучно слушать бесконечные излияния мэтра. Растерянный писатель обратился к Чернышевскому со словами как бы шутливыми, мол, Чернышевский змея простая, а Добролюбов очковая. Но в 1861 году умирает Добролюбов, 15 июня 1862 года правительство закрывает «Современник» на восемь месяцев, в июле арестован Чернышевский. В 1861–1862 годах Тургенев не забыл этого столкновения, пишет свой лучший роман «Отцы и дети» и отдает его в журнал Каткову. Образ Базарова смутил редактора. Если критика демократическая сочла, что Базаров – это пародия на Добролюбова, то Катков оказался прозорливее. Здесь стоит пересказать воспоминания П.В. Анненкова, давнего приятеля Каткова, который однажды в нищие годы помог тому выжить в Европе.

По словам Анненкова, Катков не восхищался романом, а напротив, с первых же слов заметил, что стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином. «Неужели вы думаете, М.Н., – воскликнул я, – что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умышленной и нравственной распушенности?..» – «Я этого не говорил, – отвечал г. Катков горячо и, видимо, одушевляясь, – а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя!» – «Но, М.Н., – замечал я, – в художественном от-

¹ Чичерин Б.Н. Воспоминания: В 2 т. М. 2010. Т. 1. С. 269, 272.

² Ленин В.И. Карьера // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 43–44.

¹ Чернышевский Н.Г. Заметки о журналах // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. III. М., 1947. С. 642.

ношении никогда не следует выставлять врагов своих в неприглядном виде, а, напротив, рисовать их с лучших сторон». — «Прекрасно-с, — полуиронически и полуубежденно возражал г. Катков, — но тут, кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии»¹.

Катков оказался прозорлив. Помогавший деньгами народолюбцам, назвавший девушку-бомбистку, которая говорит, что она готова на преступление, *святой* (рассказ «Порог»), Тургенев потихоньку перестал понимать Россию. Не случайно в «Бесах» Достоевский изобразил Тургенева в образе писателя Кармазинова, подыгрывающего бесовщине. Конечно, во главе либеральной фронды, не понимавшей, что она прокладывает дорогу страшным радикалам, стоял Герцен. Следующим шагом, поднявшим акции Каткова в глазах публики, явилась полемика с Герценом в 1862 году. Февральский номер журнала, в котором увидели свет тургеневские «Отцы и дети», завершался программной статьей Каткова «К какой принадлежим мы партии?». Снова заявляя о «внепартийности» своей позиции и уничижительно отзываясь об «игре в партии», автор углубил теоретическое обоснование охранительства. Имея в виду накалявшуюся обстановку в России, он писал, что истинное прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых основано и без которых прогресс обратится в воздушную игру теней. Самой надежной и мудрой хранительницей прогресса и его «дорогих начал» он назвал «живую, великую силу» консерватизма. «Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизме диктатуры, — бесконечно точно пророчествовал Катков, — уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства. <...> Где еще ревнивей и придирчивей разовьется дух вмешательства и опеки и где для личной свободы будет еще менее благоприятных условий»².

Характерен спор по поводу страшной прокламации «Молодой России» 1862 года, в которой говорилось совершенно по-герценовски: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя

будущего, знамя красное и с громким криком: “Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!” — двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. <...> Кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами»¹. Искандер не увидел в этом ничего страшного, назвав преступников из «Молодой России» шиллеровскими героями.

Катков в том же 1862 году ответил Герцену жестко, наотмашь, но справедливо: «Бездушный фразер не видит, в чем *уголовщина*. Ему ничего, — пусть прольется кровь этих “юношей-фанатиков”! Он в стороне, — пусть она прольется. А чтоб им было веселее и чтоб они не одумались, он перебирает все натянутые струны в их душе, он шевелит в них всю эту массу темных чувствований, которые мутят их головы. <...> Он почтил их титулом Шиллеров»². А к Шиллеру в оценке этой жуткой прокламации Герцен и впрямь апеллировал. Он только забывал, что у Шиллера лилась театральная кровь («клюквенный сок», как в «Балаганчике» Блока), а «Молодая Россия» звала к реальной расправе с реальными людьми — не на театральной сцене, а на исторической. Впрочем, эпоха, которая привела к разгулу демонических сил в XX веке, уже начиналась, о чем достаточно внятно написал великий немецкий теолог: «Мужество самоутверждения неизбежно подразумевает мужество утверждения собственной демонической глубины. <...> Богемные и романтические натуралисты с жадностью за это ухватились. Мужество принять на себя тревогу демонического, невзирая на ее разрушительный и подчас опустошающий характер, было формой победы над тревогой вины. Однако это стало возможным лишь потому, что предшествовавшее развитие привело к устранению представления о личностном характере зла, заменив его злом космическим, которое структурно и не становится делом личной ответственности. Мужество принять на себя тревогу вины превратилось в мужество утверждать в себе демоническое начало»³.

Останови Герцен с Огарёвым (им ведь молодежь еще верила!) тогдашних молодых безумцев, «нравственных идиотов», как называл Бунин Ленина, может, не было бы первоапрельского убийства. Но это безумие Герценом подогревалось, словно он и впрямь не ведал, что творил. Называя их Карлами Моорами, он давал свое прочтение образа этого бандита и убийцы, немецкого варианта Стеньки Разина, недоучившегося студента. Оправдание Герцену Катков

¹ Молодая Россия // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Ред. Е.Л. Рудницкая. М., 1997. С. 149.

² Катков М.Н. Заметка для издателя «Колокола» // Катков М. Идеология охранительства. М., 2009. С. 343–344.

³ Тиллих П. Мужество быть. М., 2011. С. 152.

¹ Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 468–469.

² Катков М.Н. К какой принадлежим мы партии? // Катков М. Идеология охранительства. М., 2009. С. 109–110.

видит только в безумии, ведь преступника от казни спасает только признание его буйнопомешанным. Вот Катков и пишет: «Издатели *Колокола*, спрашивают нас, какие они люди. Мы сказали. Честными ни в каком случае назвать их нельзя. *От бесчестия им одна отговорка — помешательство* (курсив мой. — В. К.)»¹.

Герцен верил в решающую роль слова, в роль литературы. Уже в трактате «О развитии революционных идей в России» именно литературу он назвал революционным ферментом общества. Конечно, это был романтизм. Поэтому мог восклицать «Vive la mort!» Не видя за этими словами реальной смерти. Это понимали либералы-консерваторы. Чичерин твердо писал, обращаясь к великому эмигранту: «Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!»².



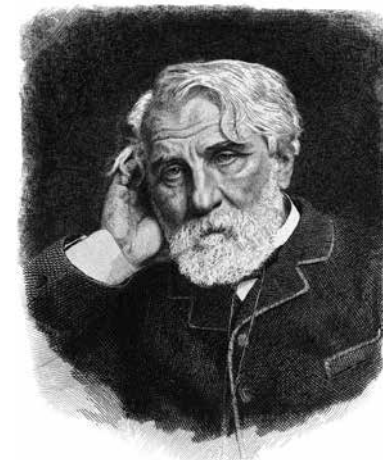
Михаил Никифорович Катков

Хочу отметить, что Чернышевский был против народного бунта, к которому звал Герцен. С Герценом у него, несмотря на понимание значения лондонского сидельца и издателя «Колокола» были явные противостояния. Стоит здесь напомнить, что эмигрант Герцен

¹ Катков М.Н. Заметка для издателя «Колокола». С. 345.

² Чичерин Б.Н. Письмо к издателю «Колокола» // Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. С. 368.

каким-то образом стал именоваться (и доселе именуется) «лондонским изгнанником», хотя барин и миллионер уехал добровольно, вывезя все свои миллионы. Необходимо артикулировать основную жизненную установку Герцена, которую он не раз провозглашал. Речь идет об аннибаловой клятве на Воробьевых горах в 1828 г. двух подростков — росшего без матери Николеньки Огарёва и бастарда Шушки Герцена. Они поклялись посвятить свою жизнь разрушению империи, как когда-то Ганнибал мечтал разрушить Рим. О последствиях разрушения империи — хаосе, принесенном горе сотням тысяч людей, лишенных своего места жительства и ушедших в изгнание и пр., — они даже и в соображение не брали. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько миллионов попавших в изгнание, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество и десятки миллионов попавших в ужасы гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают. Чернышевский даже на каторге, вспоминая лондонского эмигранта, говорил: «С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит себе барином в Лондоне и составляет заговоры, в которые увлекает нашу молодежь. <...> Я советовал ему не трогать нашу молодежь и даже печатно высказался против него»¹.



Иван Сергеевич Тургенев

В 1867 году Катков печатает роман Тургенева «Дым», где писатель изобразил зарубежную радикальную клоаку. Замечу для введения в контекст, что ближайший друг Герцена Огарёв хотел стать Швабри-

¹ Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 391.

ным, одним из самых омерзительных вариаций российских Иуд, изображенных Пушкиным. Еще в 1863 году Огарёв признавался: «Если у нас появится новый Пугачёв, я пойду к нему в адъютанты»¹. В романе «Дым» насмотревшийся на Огарёва Тургенев изобразил его в образе доморощенного пророка, видящего только себя, хотя, может, черты для образа Губарева взяты были не только у Огарёва, но и у Герцена. Есть люди, тип Огарёва, которые всегда и везде готовы играть вторую роль, подхватывая и огрубляя мысль патрона.

«Литвинов с любопытством уставился на “того самого”. На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин ослабил, промолвил: “Ммм... да... это хорошо... мне приятно...” — поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей»².

Далее изображено натуральное сумасшествие эмигрантской тусовки, потом так удачно повторенное в собрании литераторов в «Театральном романе» Михаила Булгакова. Но глава этого сумасшествия — человек, соединивший в своей фамилии две: Герцена и Огарёва — Губарев. «И всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему matka и есть, что он здесь и хозяин, и первенствующее лицо...». В «Дыме» описана, в сущности, эмигрантская шайка outlaw со своими сварами, со своим атаманом — Губаревым, который воображает себя героем и мыслителем.

Внимательный читатель с удовольствием увидит в «Записках покойника» Мих. Булгакова парафраз сцен в доме Губарева, неосознаваемую самими героями шутовскую сущность их речей. **Кстати, здесь дано жесточайшее развенчание мифа Герцена как изгнанника. Никто его не изгонял.** Продав свои имения и несколько тысяч принадлежавших ему крепостных рабов (русских, заметим) за несколько миллионов, он уехал за границу. Барон Ротшильд, немалую роль сыгравший в Крымской войне, защитил деньги Герцена, полученные им за продажу единоплеменников, от императора. Как писал сам беглец из России, деньги — необходимое оружие в борьбе, лишаться их нельзя. Перо Герцена сыграло не последнюю роль в по-

пытке сломить Россию. И в Крымскую войну, а особенно в эпоху Польского восстания против Российской империи начала 1860-х.

Главным интеллектуальным борцом с эмигрантом Герценом оказался издатель «Русского вестника» Михаил Катков.



Николай Платонович
Огарёв,
Александр Иванович
Герцен. 1860

Интересна реакция Герцена на статью Каткова «Заметка для издателя “Колокола”». Писатель Н.М. Павлов рассказал со слов очевидца, как Герцен получил в Лондоне и прочитал статью Каткова в «Русском вестнике». Взяв из рук Огарёва только что полученный журнал, Герцен предложил прочитать текст вслух. «Это обращение, как нельзя более, понравилось всем, — повествует очевидец, — смеялись, радовались, просили читать. Он начал. Статья, действительно, была им прочитана вслух, от начала до конца. По мере того как он читал, всему обществу делалось все неловче и неловче, а особенно против того игривого настроения духа, с которым приступили к чтению. В начале еще — Герцен то и дело вставлял от себя отрывочные заметки, иногда очень ловко и остроумно, так что даже все смеялись. Но чем дальше, тем Герцен становился тише, наконец и вовсе ничего не прибавлял от себя; чтение стано-

¹ Огарёв Н.П. Собр. соч. Т. 2. С. 491–492.

² Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1956.

вилось все тяжелее как для него, так и для всех. Вторая половина была уже прочтена мрачно и выслушана в молчании: уж никто и из слушателей не вставлял от себя никаких замечаний — хоть бы полусловом. Слушатели не знали, как и досидеть до конца чтения, а отец, очевидно, не знал, как и дочитать. Когда Герцен кончил, в комнате воцарилась гробовая тишина, — тут уж окончательно стало неловко до немощности. Герцен закрыл книгу и также ничего не говорил; его собственное и такое долгое молчание еще более сконфузило всех. Наконец он сказал: “Можно ли так ругаться? Как это терпится такая ругательная литература? Это просто ругательство. На это и отвечать с моей стороны нечего: это ругательство”. Вечер, начавшийся, было, весьма оживленно, кончился, таким образом, как-то неудачно. После того мы скоро взяли за шляпы и разошлись»¹.

Впрочем, Огарёв ответил эпиграммой, ударив Каткова и Чичерина:

Что за год бесчеловечий!
Жатва сгилла в смраде слов,
И взошли от корня Гречей
Всё Чичерин да Катков.
<1862>

Из этой эмигрантской шайки outlaw выросла нечаевщина, на которую ответил Достоевский романом «Бесы», где прототипом страшного развратника Ставрогина был Герцен. С легкой руки Л. Гроссмана прототипом Ставрогина именовали Бакунина. Но определение «скопец», которое привело Бакунина в неистовство, говорит о том, что он был эротически и творчески бесплодный человек, потому и анархист, звавший к разрушению, ибо строить он не мог. На эту роль скорее подходил сластолюбец Герцен, уведший жену у друга Огарёва.

Пожалуй, единственный из всех, хорошо знавший действующих лиц этой бесовской трагедии, Катков в своей газете «Московские ведомости» написал и точнее прочих. «Что обыкновенно не досказывается, расплываясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдному точному выражению; что другими не доделывается, то деятелями вроде Нечаева совершается с виртуозной отчетливостью. “Нечаев подлец, но я за это его уважаю”, — говорил один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчеза-

¹ Павлов Н.М. Полемика Каткова с Герценом // Русское обозрение. — 1895. № 5. С. 323.

ет всякая почва? Не очутились ли вы в ужасной теснине между умопомешательством и мошенничеством?»¹ Дело в том, что новый этап деятельности Каткова начинается с 1863 г., когда он вновь стал во главе газеты «Московские ведомости», но уже не в качестве казенного редактора, а на правах арендатора издания. Скромная университетская газета быстро превратилась во влиятельный политический орган. Особенно важной эта газета стала в период Польского восстания.

При этом Катков не Нечаева видел вдохновителем нигилизма, он говорил об идеологе преступления — о Михаиле Бакуине. Он писал: «Скипетр русской революционной партии перешел в руки к другой знаменитости, к тому Бакуину, который в 1849 году бунтовал на дрезденских улицах, попал за то в австрийские казематы, был потом выдан нашему правительству, сидел в крепости, писал оттуда умиленные и полные раскаяния письма, был помилован и выслан на жительство в Сибирь, где ему была дарована полная свобода, служил там по откупам, женился там на молоденькой польке из ссыльного семейства, сошелся со многими из соплеменников своей жены и, когда разыгралось польское дело, бежал из Сибири; в 1863 году вместе с несколькими сорванцами польской эмиграции предпринимал морскую экспедицию против России, но предпочел высадиться на шведском берегу. Вот он, этот вождь русской революционной партии, организатор заговора, покрывшего теперь своей сетью всю Россию. <...> Фигура интересная. Тень ее ложится на всю колоссальную Россию!»²

Стоит привести слова М.Н. Каткова, помнившего Бакунина с юности: «Он всегда умел пристраиваться к денежным, податливым и конфузливим людям и с добродушием времен богатырских соглашался хозяйничать в их кошельках и пользоваться их избытками. Как не делал и он практического различия между чужими и своими деньгами, так не делал он различия в своих потребностях между действительными и мнимыми. Ему ничего не стоило вытянуть у человека последние деньги с тем, чтобы тотчас же рассорить их на вещи, ему самому совершенно не нужные. Денег не срывал он только с тех, у кого положительно нечего было взять. В этой характеристике Бакунина нет ни одной черты произвольной или основанной только на нашем личном впечатлении. Все знавшие его подтвердят в полной силе все главные черты его»³.

¹ Катков М.Н. Процесс нечаевцев // Катков М. Идеология охранительства. М., 2009. С. 379.

² Катков М.Н. Кто наши революционеры? // Там же. С. 364.

³ Там же. С. 365.

Как пишут исследователи, стоит оценить смелость М.Н. Каткова, выступившего против Искандера в момент его наивысшей популярности. Как писали современники, по всей России рассылался «Колокол», но отвечать ему было запрещено. И вот в это время, в эпоху безграничного владычества Герцена, вдруг грянул гром. Среди раболепного безмолвия послышалась речь Каткова — твердая, мудрая, властная... Камень, брошенный мощной рукой, попал прямо в цель. Скудельный божок дал трещину с самой макушки до подножия. Вскоре новый удар — и божок рухнул в прах. Остались одни черепки. Как ни старались потом ему близкие склеить черепки, божка уже не удалось воскресить: черепки остались черепками. Появление нового Давида вызвало в России неопишное изумление. Известны последствия. Благородный цензор, исполнивший честно долг перед Отечеством, пал жертвой яростной атаки интриги. Но истина до того яростно засияла, что пришлось им все-таки, хоть нехотя, зажмурить глаза. Михаил Никифорович мне рассказывал, что вслед за появлением первой его статьи о Герцене ему пришлось быть на каком-то торжестве. «Вхожу я и вижу, что для официального мира я какой-то очумленный. Все бегут от меня, и прежде всех и дальше всех убежал — жандармский полковник...» Победа была полная, но для блага России он с первого шага уже, очевидно, был готов жертвовать всем. Редко в жизни приходится быть свидетелем такого разительного и быстрого торжества правды над неправдой, света над тьмою. Лондонский кошмар исчез. Оставался тот же Герцен, печатался тот же «Колокол», но значение его было утрачено — его не читали... Паломники исчезли¹.

Правда, по-настоящему Герцен потерпел поражение в полемике с Катковым лишь в следующем году. Откровенно антинациональная позиция в польском вопросе дорого обошлась Герцену. За 1863 год тираж «Колокола» упал с 2500 до 500 экземпляров. Больше никогда «Колокол» не имел такого влияния, как в начале 1860-х годов.

После битвы с Герценом у Каткова было еще два серьезных столкновения с обществом и властью. Пожалуй, стоит начать с его идеи о необходимости изучения классических языков в гимназиях. Надо сказать, что в знаменитых лекциях Шеллинга «Философия откровения», читанных им в начале 1840-х годов, эта тема поднималась. Русский студент оказался памятьливым и креативным. Шеллинг замечал, что изучению древних языков он «обязан тем формальным навыком духа, который больше, чем всякая абстрактная логика или риторика, дает мне возможность отмечать и выражать тончайшие

¹ *Мещерский Н.* Воспоминания о Каткове (Письма в Тверитино) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации. 2014. С. 71.

оттенки или различия любой мысли¹. В 1864 году в разгар обсуждения педагогических проблем в перестраивающейся России Катков пишет знаменитую статью «Значение классической школы как общеобразовательной». Идея его была проста: если мы думаем встать в уровень с Западной Европой, то надо образовать ум молодых людей через изучение древнегреческого языка и латыни, ввести молодежь в контекст мировой культуры, выведя образование из узкопрагматической направленности. В 1868 году он вместе со своим другом — профессором латинской словесности П.М. Леонтьевым основал так называемый «Катковский лицей» — одно из элитнейших учебных заведений тогдашней России, во многом продолжавшее традиции Царскосельского лицея. 26 сентября 1867 года в передовой статье «Московских ведомостей» сообщили об основании нового учебного заведения, «подготовлять к жизни людей, в которых особенно нуждается наше отечество, людей, которые, в своем звании Русских, были бы в полной силе детьми Европы».



Катковский лицей. Сейчас Дипломатическая академия МИД. Остоженка, 53

Катков исходил из того, что древние языки — основа современных, поэтому их изучение необходимо для усвоения европейских и русского языков. Знание языков дает понимание различных культур и любых отраслей человеческого знания. Стоит напомнить, что

¹ *Шеллинг Ф.* Философия откровения. СПб.: Наука, 2000. С. 32.

после разгрома дореволюционного образования большевиками изучение древних языков было изгнано из школы, а вместе с этим упал уровень знаний иностранных языков да и родного русского. В 1897 году Розанов начинает свою статью «О гимназической реформе семидесятых годов» с оценки идей Каткова, заметив, что он «заставил всех, от кого зависело практическое разрешение вопроса, поверить, что классицизм есть единственное для России средство стать умственно независимой страной, стать равной среди равных в семье просвещеннейших европейских наций»¹. Врагов было много, но в результате победа его была очевидна.

А уж в польском деле Катков поставил на карту свою издательскую деятельность, свою судьбу, вмешавшись в польский вопрос. Никогда русское государство не терпело непрошенных советчиков, не состоявших в должности советчиков официально. Но ситуация была невероятной для русской государственности. Сошлюсь на статью Г. Лебедевой: «Сами мятежники при этом были чужды каких-либо сантиментов. Они повсеместно нападали на спящих в казармах солдат, русских офицеров приглашали в гости к местным помещикам и вероломно убивали. Погибли многие гражданские русские, проживающие на охваченных мятежом территориях. Для XIX столетия, еще сохранявшего традиции рыцарского отношения к противнику, такие явления, особенно в исполнении поляков, имеющих репутацию народа аристократического, были внове». И далее: «Польский мятеж вызвал и международный кризис. Уже 17 апреля 1863 года Англия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, Османская империя и папа Римский предъявили России дипломатическую ноту, более похожую на ультиматум, с требованием изменить политику в польском вопросе. Западные страны предлагали решить судьбу Польши, подражая ее в границах Речи Посполитой 1772 года, на международном конгрессе под своим руководством. В противном случае они угрожали войной»².

Катков выступил как свободный публицист, обрушившись на политику правительства, в том числе на великого князя Константина Николаевича. Только что был арестован Чернышевский за попытки давать императору советы. Катков рисковал, но шел напролом. Он сразу ухватил главную проблему (помимо защиты русского государства): «Польское восстание вовсе не народное восстание;

восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть»¹, — писал он. Каткову удалось добиться успеха: Наместник уехал за границу «на лечение», а командующим в Северо-Западном крае с диктаторскими полномочиями был назначен, по предложению Каткова, генерал М.Н. Муравьев. Возмущение было подавлено. Современник Каткова мемуарист Е.М. Феоктистов вспоминал: «Катков, роль которого в событиях 1863 и 1864 гг. представляла великое и еще небывалое у нас зрелище. Это был первый пример в России, чтобы человек без связей и покровительства, единственно силой своего таланта и горячего убеждения приобрел неслыханную диктатуру над умами. <...> Правительство боялось его и вместе с тем заискивало перед ним. Несмотря ни на какие препятствия, он смело шел вперед, и тщетно тупоумная цензура пыталась остановить его. “Московские ведомости” читались нарасхват, имя его гремело по всей России, едва ли кто после Пушкина пользовался такою славой»².

Любопытный факт, который следует отметить. В 1865 году московские дворяне собрали значительную сумму денег и заказали фабриканту серебряных изделий Сазикову по модели скульптора Рамазанова серебряную чернильницу в подарок Каткову в благодарность за патриотическое направление его деятельности. На золотом пере была выгравирована надпись: «Макающему перо в разум». То есть философское прошлое Каткова глухо прозвучало в этой надписи.

Некрасов не удержался и наотмашь ударил литературного соперника.

Н.А. Некрасов Чернильница

Предмет, любопытный для взора:
Огромный кусок лабрадора,
На нем богатырь-великан
В славянской кольчуге и в шлеме,
Потомок могучих славян, —
Но дело не в шлеме, а в теме:
Назначен сей муж представлять
Отчизны судьбы вековые
И знамя во длани держать
С девизом «Единство России!»
Под ним дорогой пьедестал,
На нем: земледельца родного

¹ *Розанов В.В.* Сумерки просвещения // *Розанов В.В.* Эстетическое понимание истории. М.; СПб., 2009. С. 765.

² *Лебедева Г.* Предисловие // Воспоминания о Михаиле Каткове. М., 2014. С. 11–12.

¹ *Московские ведомости.* 1863. № 130 от 15.06.

² *Феоктистов Е.* За кулисами политики и литературы. М., 1991. С. 143–144.

Орудья, и тут же газета, журнал —
 Издания Михайлы Каткова.
 На книгах — идей океан —
 Чернильница; надпись: «Каткову
 Подарок московских дворян»,
 И точка! Мудрейшему слову
 Блистать на пере суждено, —
 Так имя Каткову дано:
 «Макающий в разум перо» — имя это
 У древнего взято поэта...

Впервые опубликовано: «Современник», 1865, № 11–12 (ценз. разр. — 23 ноября и 31 янв. 1865 г.), с. 185–186, анонимно, в составе статьи П.М. Ковалевского «Письма в глушь». В этой чернильнице, своеобразном китче XIX века, задействованы все мотивы — и разум, и русское богатство, и классический былинный меч, шолом и знамя. И книги, сложенные вокруг чернильницы, т.е. книги, написанные Катковым. Смеяться-то смеялись, интеллектуалы и радикалы зубоскалили, но широкая публика именно так и воспринимала московского публициста.



Подаренная Каткову чернильница

Говорят, что его защита государства, призыв к силе были изменой либеральным идеям. Катков прекрасно знал об этих толках и ответил: «Истинный либерализм есть сила, а не уступчивость. Он отрекается от произвольных мер для того, чтобы упрочить порядок и законность. Он допускает и лелеет свободу потому, что верит в ее животворящую силу, а не потому, что не чувствует в себе сил бороться с притязаниями, направленными против законного порядка, против основ государства и общества. Истинный либерализм не есть и мягкость, — мягкость ко всему, и к хорошему, и к дурному. Такая мягкость есть тот же произвол, только обращенный в другую сторону и еще более опасный чем произвол

жестокости, потому что поощряет преимущественно дурное. От такой мягкости терпит законность; ею пользуются нарушители закона; истинно либеральные элементы общества она отвлекает от себя, отдавая их во власть элементов революционных» (Московские ведомости. 1863. № 178. 14 авг.).

Не все, однако, верили в искренность Каткова и в опасность левых умонастроений. В 1866 году консервативный «русский европеец» князь Петр Вяземский написал о Каткове язвительное стихотворение «Хлестаков».

Нет, Хлестаков еще не умер:
 Вам стоит заглянуть в любой
 «Московских ведомостей» номер,
 И он очутится живой.

Любивший Вяземского великий русский поэт и имперский мыслитель Федор Тютчев тем не менее резко ответил князю, ответил дивным стихотворением:

Когда дряхлеющие силы
 Нам начинают изменять
 И мы должны, как старожилы,
 Пришельцам новым место дать, —
 Спаси тогда нас, добрый гений,
 От малодушных укоризн,
 От клеветы, от озлоблений
 На изменяющую жизнь...
 ...
 И старческой любви позорней
 Сварливый старческий задор.

Катков смел критиковать высших чиновников за недостаток государственного смысла. «Русский вестник» становится органом, ведущим непримиримую борьбу с нигилизмом. Почти все русские антинигилистические романы были опубликованы именно в этом журнале. Катков был жесткий редактор: все, что не отвечало его запросам, его политическим требованиям, он беспощадно вычеркивал или переписывал своей рукой. Так, от Каткова страдали не только рядовые литераторы, но и крупнейшие писатели России — Достоевский и Лесков. Правке подверглись, скажем, такие романы Достоевского, как «Преступление и наказание» и «Бесы», даже глава о «Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых». Преклонений

перед литературными репутациями у него не было. Когда последняя часть «Анны Карениной» показалась Каткову не отвечающей его идеологическим устремлениям, он потребовал исправлений. Толстой отказался и напечатал эту часть отдельным изданием (он был в отличие от Достоевского и Лескова в материальном отношении человек независимый).

Разумеется, любое историко-культурное исследование, особенно обращенное к значительному явлению, может перерасти в бесконечность, поскольку фактов и неожиданных деталей чрезвычайно много. Поэтому закончу не кончиной Каткова — его похороны были обставлены торжественно. Власть отдавала должное своему оводу, бесконечно жалившему ее. По всей России в церквях служили панихиды по усопшем «болярине Михаиле».



Памятник А.С. Пушкину. Москва.
Скульптор Александр Михайлович Опекушин

Но закончу я свой текст Пушкинским праздником, где Катков высказал свое кредо, которое не приняли русские литераторы, отуманенные идеологическими мифами. Его речь была опубликована в газете Каткова шестого июня в день открытия памятника. Событием на этом празднике стала речь Достоевского о Пушкине, которая, кстати, была опубликована в «Московских ведомостях» через семь дней после статьи Каткова — 13 июня 1880 года, № 162.

Основная мысль Каткова была и разумная, и важная, ее и сегодня можно повторить. Для него Пушкин был явлением, выходящим за рамки своего времени, он был Пушкин, смысл и слава России, принесший народу язык и свободу. Вот его слова: «Жизнь народа и его призвание не исчерпываются делом государственной нужды. Когда тело сложилось и окрепло, душа освобождается для самостоятельной жизни. Развитием внешнего могущества и вооруженной силой еще не обеспечено существование народа, еще не доказано его право на существование. Бывали громады, скрепленные внешнею силою, которые, исполнив свое временное назначение, рассыпались во прах и исчезали. Великий народ, призванный к жизни, обладает силою внутреннего единения и проявляет свой дух не в одних заботах самосохранения, но и в развитии даров человеческой природы. Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных людях, чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божие, тем возвышеннее становится его положение в мире и тем он любезнее и дороже для человечества. Над царством нужды возвышается царство свободы, где каждый сам себе царь и где властвуют только вечные законы истины, блага и красоты, где народ достигает высоты человечества и куда утомленные трудом жизни обращаем мы взоры, ища успокоения, отрады и освежения сил. Что была бы жизнь наша, — и была ли бы возможна жизнь человеческая, — без этого царства чистой свободы?»¹. Катков хотел примирения. И призвав всех забыть старые разногласия во имя России, он протянул свой бокал Тургеневу. Но либерально-мстительный Тургенев закрыл свой бокал с шампанским, сказав, что он стреляный воробей и его на шампанском не проведешь.

И нельзя не согласиться с Василием Розановым, писавшим, что Катков стал символом всего *центростремительного* в нашей земле, в противовес иным *центробежным* силам, также обильно развитым у нас, — силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целостность нашего сознания, целостность истории нашей, наконец, целостность нашей территории. В любой культуре, в любой державе, такая позиция центростремительного движения всегда востребована.

¹ Катков М.Н. Кого чествует Россия в лице А.С. Пушкина // Катков М. Идеология охранительства. М., 2009. С. 605–606.

Христианская мысль как состав преступления: Достоевский и Чернышевский

В русской культуре XIX столетия есть два великих писателя и мыслителя, так тесно, хотя и противоречиво, связанных друг с другом, что любой исследователь, пишущий о Достоевском, непременно помянет Чернышевского, и наоборот. Но что самое печальное — их близость кажется многим абсолютным противостоянием, словно в страшной схватке сплелись два врага. Между тем, если внимательно проследить переплетение их судеб и идей, мы увидим, что в борьбе русских идеологов именно Чернышевский и Достоевский составляли некий духовный тандем, противостоявший русской бесовщине и малоосмысленному официозу. В разразившемся в 1861 году скандале вокруг «Полемических красот» Чернышевского единственный, кто выступил в его защиту, был Достоевский. Мало того, что оба прошли испытание (если не сказать пытку) Петропавловской крепостью и каторгой, оба мечтали о христианском углублении русской жизни, главный бес в романе Достоевского «Бесы» бранит Чернышевского ретроградом, а когда официальная печать накануне ареста накинута на Чернышевского, единственный, кто выступил в его защиту, был Достоевский. Напомним также, что только журнал Достоевского выступил в защиту «Что делать?» Чернышевского. Отношение к Чернышевскому в постреволюционную эпоху было изуродовано похвалой Ленина. Задача исследователя — вернуть оценку Розанова, назвавшего Чернышевского «древом жизни». Тогда станет яснее и отношение к нему Достоевского.

Достоевский родился в 1821 году в Москве, Чернышевский — в 1828 году в Саратове. То есть Достоевский был старше Чернышев-

ского на семь лет. Оба писателя проходят через увлечение Гоголем, Пушкиным, Шиллером (который долго был кумиром обоих), зачитываются Белинским, их волнуют религиозные вопросы, которые приводят к проблеме выбора Россией своего духовного пути. Добавлю, что в их семейных истоках стоят священники. Дед Достоевского был священником в городке Брацлаве Подольской губернии, правда, отец стал лекарем в Мариинской больнице для бедных. Чернышевский тоже происходил из духовного сословия, отец его был саратовский протоиерей. Но для получения священства они должны были иметь неплохое образование, образование было необходимо для занятия должности священника или, скажем, лекаря. В любом случае, это был вариант сословия, не имевшего богатств и имений, которые должны были зарабатывать на жизнь собственным трудом.

Да, еще необходимо отметить, что оба они получили высшее образование — это было неперемное условие дальнейшей жизни, чтобы иметь возможность заработка. Достоевский в 1838 году поступил в Главное инженерное училище в Петербурге, которое окончил в 1843 году со званием военного инженера. И садится писать свой первый роман, голодая, но упорно отдавая себя этой работе. В 1846 году «Бедные люди» были опубликованы. Начинается писательская жизнь. В 1846 году Чернышевский поступает в Санкт-Петербургский университет. Первую работу об Ипатьевской летописи он пишет у великого слависта, специалиста по древнерусской культуре Измаила Срезневского. Чернышевский все эти годы читает повести Достоевского, пишет о них в своем личном дневнике, ему очень по душе проза молодого писателя. Тут и «Ревнивый муж», и «Неточка Незванова», и «Белые ночи» (с идеей самопожертвования по отношению к любимой женщине, что далее реализовано в отношениях с Ольгой Сократовной). Пытается писать сам, но понимает, что у него пока не получается.

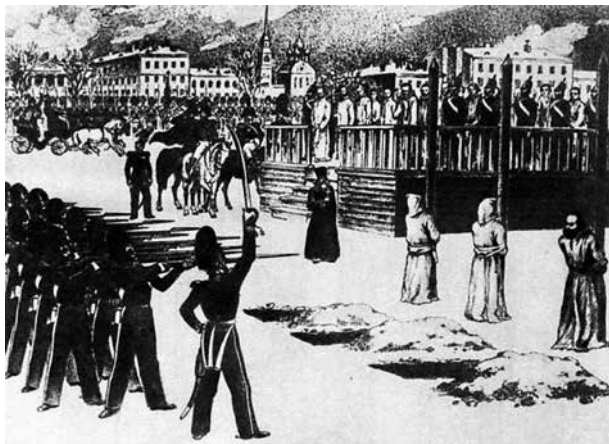
В 1849 году Достоевский арестован как участник кружка Петрашевского, проповедовавшего идеи утопического социализма Фурье, Кабе, Оуэна. Далее был короткий суд. Но его преступление казалось правительству более серьезным. В академическом полном собрании сочинений великого писателя опубликованы архивные материалы по «делу петрашевцев», где приведен текст приговора Достоевскому: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях. <...> А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии

и правительстве письма литератора Белинского <...> – лишить на основании Свода военных постановлений <...> чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелианием»¹.

Несколько десятков человек были выведены на площадь, разбиты на тройки. Первую тройку привязали к столбам, солдатам была дана команда готовиться стрелять. Достоевский был во второй тройке. Тут прискакал фельдъегерь и объявил, что по милости монарха смертная казнь заменяется каторгой.

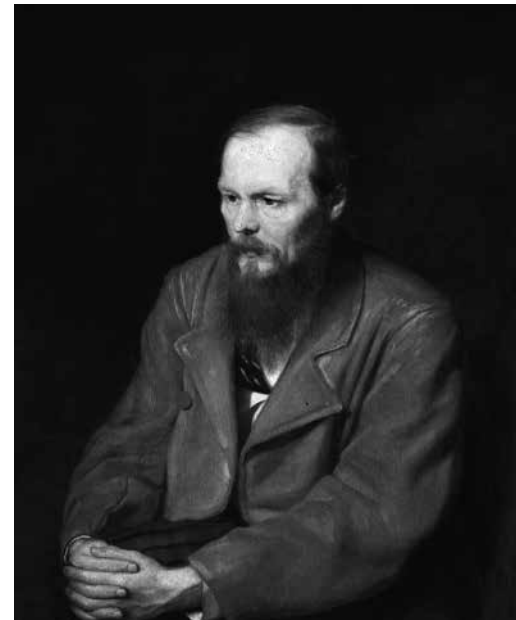
Белинский думал поменять в общественном сознании духовные установки, поэтому критик и заявлял, что русский народ – глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверий, но нет и следа религиозности. До гоголевской книги никому и в голову не приходило публично, в светской печати, заявлять о своей искренней приверженности православию, говорить о великом назначении русского духовенства или, что того непривычнее, уверять мир в православности русского народа. Это был период в русской культуре, когда впервые тема христианства подверглась рефлексивному осмыслению в контексте возникшей в более широких, чем прежде, слоях.

Проблема религиозного сознания русского народа впервые стала предметом открытого рассмотрения в русской литературе и эстетике после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. Письмо Белинского было ответом на эту книгу. Гоголь был твердо убежден в православности русского народа и активности русской церкви.



Казнь петрашевцев.
Рисунок очевидца

Федор Михайлович
Достоевский.
В. Перов



Православная церковь и вера, утверждаемая ею, защищалась методами административными, и в их защите со стороны литераторов самодержавие не нуждалось. Таких литераторов и не было до начала XIX столетия, до славянофилов и Гоголя, Белинского и Достоевского. Приговором военного суда Достоевский на всю жизнь был прикован к спору Белинского с Гоголем, за интерес к которому был прежде осужден. Отныне спор этот стал фактом не только его личной, но и творческой биографии, а проблематика спора – предметом самых пристальных размышлений. Иными словами, Достоевский был приговорен к расстрелу за самостоятельный поиск религиозного решения русских проблем.

Сегодня мы видим в судьбе петрашевцев *предвестие судьбы Чернышевского*. Они ведь были приговорены к смертной казни **ни за что!** Точнее, это было осуждение *за идеологическое преступление*, то осуждение, которое большевики переймут у самодержавия. Именно за то, что он думал самостоятельно, будет приговорен к каторге и Чернышевский. Великий парадоксалист-романист Владимир Набоков воскресил образ Чернышевского: вначале в романе «Дар», где иронически изображенный им эстет с комической фамилией Годунов-Чердынцев пишет книгу о Чернышевском и приниженный эстетом мученик вдруг заслоняет собой эстетствующего эмигранта,

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1978. Т. 18. С. 189.

а потом в «Приглашении на казнь», где, как блистательно показал Александр Данилевский, за основу сюжета он берет трагическую судьбу Чернышевского, показывая всю фантазмагоричность суда над ним и дикой казни, казни за идеологическое преступление, потому что думал иначе, чем приказывало начальство. Но тексты Набокова попали на определенную матрицу, и в его романах увидели лишь подтверждение своей постбольшевистской неприязни к мыслителю, пропавшему на каторге. Большевики искали предшественников в отечестве. Политический каторжанин Чернышевский очень подходил для такой цели. Чернышевский был звездой оппозиции. Его имя могло окормить новых революционеров. Как писал Бердяев, «необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского “нигилизма” был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого»¹.

Но был ли он материалистом, тем более атеистом? Сын протоиерея, умерший с Библией в руках. Как много позже напишет монархист и великий религиозный мыслитель С.Н. Булгаков, самодержавие, уничтожая все попытки независимости, даже благонамеренной независимости, готовило себе гибель. Забегая вперед, замечу, что основная политическая идея Чернышевского — это конституционная монархия, а не бунт, точнее даже противостояние бунту. Но именно за эту, даже не очень политически ясно выраженную, мысль он и был осужден на практически бессрочную Сибирь.

В России встала проблема актуализации православия, которое, по общему мнению, давно не работало. Об омертвлении русской церкви писали многие, об этом думал Гоголь, был в этом уверен Белинский. Уже много позже старец Зосима в великом романе Достоевского отправлял Алешу в мир, тем самым, как его упрекал, скажем, Лев Тихомиров, совершая католический жест. Именно о действительности православия в мире думал и сын саратовского протоиерея, пытаясь придать энергию старым религиозным текстам. Его мысль все время находится в кругу вопросов о христианстве, которое он всеми силами хочет защитить, и ищет в современной мысли новые ходы, позволяющие это сделать. 24 сентября 1848 года он записывает в дневнике: «Напишу что-нибудь о моих религиозных

убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т.е. как это веруют православные в то, что он был Бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю рационалистов»¹. Достоевского вывели из полемики, но проблема оставалась. В 1856 году, когда Достоевский уже вышел с каторги, но был еще солдатом в Семипалатинске, Чернышевский становится влиятельным критиком в «Современнике». Для Чернышевского тогда, как и прежде, христианство остается основой европейской цивилизации. В 1856 году ведущий сотрудник журнала пишет: «Христианство начинает проникать к этим дикарям (речь о некрещеных сванах и хевсурах. — В. К.); правительством нашим построено уже несколько церквей в их стране» (Чернышевский, III, 487). Христос для Чернышевского был Просветитель. Просвещение для христианина — это свет, свет разума. Как сказано в Евангелии: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 4).

В 1853 году Чернышевский защитил диссертацию об эстетике, не принятую современниками-дворянами, которых смутила формула «прекрасное есть жизнь», формула, в которой впоследствии А.Ф. Лосев увидел онтологический пафос на уровне античной мысли, сказав, что в России было два настоящих эстетика — Чернышевский и Вл. Соловьёв. Говоря о сложившемся в России восприятии красоты среди разных слоев населения, в своей диссертации Чернышевский выстраивает своеобразную триаду.

В основание ее он кладет представление о красоте у «простого народа»: «В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе» (Чернышевский, II, 10). Жизнь высшего света является отрицанием этой простой жизни, близкой к природному процессу. Для него характерно увлечение болезненной красотой, что свидетельствует об искусственном испорченном вкусе. Следует напомнить еще раз евангельские слова, которые дают контекст к высказыванию Чернышевского: «Светильник тела есть око» (Лк. 11, 34). Жизнь и представление о красоте «образованных людей», чувствующих, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца, является высшей точкой миропонимания Чернышевского. Образованные люди

¹ Бердяев Н.А. Н.Г. Чернышевский // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. СПб.: РХГА, 2008. С. 273–274.

¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М.: ГИХЛ, 1939–1953. Т. I. С. 132. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.

уже различают «лицо», личность. Жизнь ума и сердца отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах. Выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, приобретает огромное значение в понятиях образованных людей о красоте. И как говорил Чернышевский, человек нам кажется прекрасен только потому, что у него выразительные, прекрасные глаза. («Светильник тела есть око». Первоисточник — очевиден!) Впервые здесь в русской нерелигиозной литературе звучит тема лица, лика!

А уже появлялись молодые радикалы, желавшие литературу (следом за Герценом) превратить в революционную пропаганду. Потом против этой ситуации яростно выступит Достоевский. Пока же в 1857 году Чернышевский внятно сформулировал кредо «Современника» в редакционной статье: «Стремления человека и потребности человека существуют независимо от литературы. Ни возбудить, ни усыпить, ни усилить, ни ослабить их она не может. Не может она поставить человеку новых целей, к которым он не стремился без нее. Над всем этим бессильна ее власть, над всем этим исключительно владеет сила событий, одинаково действующих на молчаливого и не разговорчивого, не читающего и не читающего журналы. Но внести в эти независимые от литературы стремления осмотрительность и благоразумие — это сделать может только литература. Только привычка советоваться с печатным листом может предохранить общество от опрометчивости. Итак, весь вопрос состоит в том, что лучше, опрометчивость или рассудительность при одном и том же стремлении? При одинаковости событий не может быть произведено никакого различия в силе или направлении мыслей общества тем обстоятельством будет или не будет иметь оно литературу. От этого обстоятельства зависит только то, опрометчива или благоразумна, тревожна или спокойна будет эта мысль» (Чернышевский, IV, 769). Итак, *предупредить от опрометчивости*. Это высказывание могли не заметить консервативные противники, ждавшие от вчерашнего семинариста только пакостей, но сигнал был послан не им, а Герцену.

Герцен в своем трактате «О развитии революционных идей в России», изданном на Западе, доказывал, что именно русская литература (Пушкин, Гоголь и т.д.) несет в себе революционное начало. С этого момента два лидера молодежи стали явными и тайными противниками. Герцен в «Колоколе» призывал к бунту, к топору, Чернышевский писал в «Письмах без адреса», что самое страшное в России — это крестьянский бунт. Достоевский и Герцен тоже в результате оказались резкими антагонистами. По возвращении с каторги Достоевский даже ездил в Лондон, подарил Герцену свои

«Записки из Мертвого дома» (о каторге), кстати, в тот день, когда Чернышевский был арестован и начал свой путь в Мертвый дом. Позднее писатель изобразил Герцена в «Бесах» как Ставрогина, носителя дьявольских эманаций, а в «Дневнике писателя» написал, что Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. «Герцен мне говорил, — писал Достоевский, — что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились».

Чернышевский был человек христианской жизни, если не сказать — жития. Притом что в доме, который он нанял и держал на свои деньги, сам он занимал маленькую комнатку, куда не всегда даже ему приносила обед расшалившаяся внизу с гостями хозяйка. А он писал, писал, можно сказать, неистово, словно молился с утра до вечера, как подвижник. Перечисление тех текстов, которые он написал, начиная хотя бы с диссертации, до ареста, займет несколько печатных листов. Поэтому я остановлюсь на центральных его работах, вызвавших шумные литературно-общественные отклики. Сразу после защиты диссертации в 1855 году в декабрьском номере «Современника» появляется первая статья из цикла «Очерки гоголевского периода русской литературы». В них он проследил становление русской литературы и русской критики от Н. Полевого до В. Белинского.

Реакция была далеко не однозначная. По инерции дворянские литераторы были раздражены. Особенно тем, что с первой же статьи стало ясно, что, во-первых, он подхватывает идею о литературоцентризме русской культуры, а во-вторых, первым критиком этого периода он видит Белинского. Прекрасно понимая, что его будут упрекать в несамостоятельности мысли, он ответил почти библейской формулой.

«Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной нерешительности, овладевшей русскою литературою в последние годы. <...> Читатели отчасти будут правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? **И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них?** По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь об-

щества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет мертво» (Чернышевский, III, 9; выделено мной. — В. К.). Как видим, евангельская тема жизни, порождающей смыслы бытия, здесь определяет его посыл. Конечно, это опора на евангельскую мысль, что необходимо исполнять не свою, но волю небесного Отца: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5, 19).

Более того, вопрос о том, мертвецы ли лежат в этих гробах, зазвучал много позже в разговоре двух братьев — Ивана и Алеши («Братья Карамазовы»), когда Иван вздыхает, что великая европейская культура на кладбище уже: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище, и никак не более». Алеша отвечает: «Надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали». И речь тут не только о западной культуре, но о литературе, которая единственная, по Чернышевскому, хранит духовную жизнь культуры.

Чернышевский спорил и сформулировал обобщение, обидевшее всех, поскольку явно выстроил духовную иерархию, в которой поместил себя достаточно высоко: «Изволите ли вы знать, что называли невеждою — не то, что меня, а, например, Гегеля? Известно ли вам, за что его называли невеждой? За то, что он имел известный образ мыслей, не нравящийся некоторым ученым. <...> Известно ли вам, что называли невеждою Канта? <...> Люди рутины упрекают в невежестве всякого нововводителя за то, что он — нововводитель» (Чернышевский, VII, 770). И далее: «Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке. <...> Это как вам угодно. Быть может, по-вашему старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе» (там же, 771).

Этой возможности допустить никто не хотел. Поэтому в своей статье критик просто наотмашь бил по литературным противникам, с таким презрением, что раздражение вызвала даже не столько его позиция, сколько очевидно сквозившее в его словах чувство превосходства, в каком-то смысле чувство Учителя, попавшего в класс к детям, которые не хотят учиться элементарным вещам.

Аристократ Петр Вяземский, бывший друг Пушкина, тщетно пытавшийся завязать после смерти поэта роман с Натальей Николаевной, опубликовал в «Русском вестнике» поэтический ответ на

статью Чернышевского. Причем стилистика ответа напоминает стих Тургенева о Достоевском «Витязь горестной фигуры». А также текст Вяземского явился парафразой памфлетного сочинения Дружинина и Григоровича «Школа гостеприимства», где Чернышевский был выведен под именем злобного и бездарного критика Чернушкина.

Под злобой записной к отличиям и к роду
Желчь хворой зависти скрывается подчас —
И то, что выдают за гордую свободу,
Есть часто ненависть к тому, что выше нас.

В замечательной статье В.Л. Сердюченко очень изящно и жестко объясняется, что причиной раздражения аристократических литераторов было интеллектуальное превосходство Николая Гавриловича Чернышевского: «Чернышевский знал себе цену. Он выбился в большую литературу и занял место в ее руководящем звене ценой неслыханной работоспособности, помноженной на универсальную образованность, перед которой пасовали лучшие умы дворянской интеллигенции. Уже по одному этому он не мог питать особой симпатии к тем, кто оказывался на литературном олимпе с первой попытки, какую бы талантливой эта попытка ни была»¹. Не было журнала, не было критика, который не ударил бы в ответ на «Полемические красоты» заносчивого семинариста. За исключением Достоевского!

Вообще эта близость удивительна. Объяснить ли их схожей судьбой? Но схожесть проявится дальше, после ареста и во время каторги Чернышевского. Пока же я бы объяснил это противостоянием разночинцев (ведь Достоевский по сути разночинец по своему финансовому и социальному положению) дворянам, да и уровень друг друга они ощущали. Вот что Достоевский выговорил: «А знаете ли, что мы вам скажем в заключение? Ведь это вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими “полемическими красотами”, вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним. И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что

¹ Сердюченко В.Л. Читая Набокова. Чернышевский // Нева. 2003. № 8.

он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пусто-звон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде “полемиических красот”... Господи! Подымается скрежет зубовой, раздастся элегический вой... “Отечественные записки” после этих красот поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. Один шутник даже сказал, что в той книжке “Отечественных записок” только в “Десяти итальянках” и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!..»¹

Судьба и впрямь оказалась странной. Странной и трагической — в стилистике судьбы самого Достоевского.

Повторю, что 1861 год был тяжел для Чернышевского. Скончался отец, его друг и учитель, скончался и ближайший по духу человек — гениальный юноша Николай Добролюбов, взявший на себя в «Современнике» отдел литературно-критических статей, освободив Чернышевского для писания статей философских и политико-экономических. И последняя статья Добролюбова «Забитые люди» была посвящена роману Достоевского «Униженные и оскорбленные». Можно с уверенностью сказать, что все написанное Добролюбовым одобрялось Чернышевским. Добролюбов твердо выводил Достоевского в первый ряд русской литературы: «Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою... <...> Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года»². Можно только сожалеть, что он не дожид до момента, когда талант Достоевского развернулся в полную меру.

Если учесть, что Чернышевский старался предупредить молодежь от радикальных действий, то дальнейшее становится абсолютно сюрреалистической картиной. Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту.*

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 19. Л., 1979. С. 177.

² Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. М.; Л.: Художественная литература, 1964. С. 249.

В «Письмах без адреса», написанных в марте 1862 г., он говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее <...> даже <...> — интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (Чернышевский, X, 92). Эти письма — отчаянная попытка воззвать к разуму царя и правительства: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (Чернышевский, X, 92–93). Статья была запрещена.

А в мае начались страшные пожары в Петербурге, в пожарах были обвинены студенты и их «вожаки». Опыт безвинно осужденного каторжанина позволил Достоевскому по-другому взглянуть на ситуацию.

Он написал статью «Пожары» для своего журнала «Время», но известна она стала лишь в начале 70-х годов XX века. Статья попала не просто в цензуру, а на стол императору, задавшему вопрос, кто автор. И статья не была допущена к печати. Достоевский среди прочего писал: «Догадок в народе ходит довольно. Одна из таких, не скажем довольно распространенная, но достоверно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бедных студентов. Надеемся, что нам в этом случае позволят быть откровенными: дело слишком важное и затрагивает самые горячие вопросы. Там, где делается самый страшный упрек русскому юношеству, посвятившему себя науке, на которое справедливо возлагаются надежды всей мыслящей России, нельзя молчать. Тут надо разъяснить дело до конца и все выводить на чистую воду. Итак, мы будем объясняться напрямую. В пожарах между прочим обвиняют студентов. И ведь это догадки не в одном только простом народе, а кое-где и в других сферах. Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне. Очень трудно предположить, что народ ни с того, ни с сего вдруг стал бы подозревать в таком страшном злодеянии студентов. Откуда же, спрашивается, это подозрение? <...> Но где эти факты, раскрытые следствием, которые ясно доказывали бы действительную солидарность студентов с подобными явлениями?»¹

¹ Достоевский Ф.М. Статья первая. Пожары // Достоевский Ф.М. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 49.

Пожалуй, откровеннее написать, что молодежь тут ни при чем, что вообще надо бы поискать другие силы, которые способны ради достижения государственных целей на любые провокации. Но власть, как известно, своих следов в преступлениях не оставляет. Но такой провокации никто другой не мог заказать. «Современник» был приостановлен сразу после майских пожаров, приостановлен на восемь месяцев. Приостановлен, не закрыт! Удивительная игра государства с обществом. Власть сама пыталась вытолкнуть Чернышевского в эмиграцию. Подальше от российских дел, понимая, что реальной вины у него нет, но есть пространство независимости, которое он создавал в русском обществе. В донесении агента Третьего отделения от 5 мая 1862 года находим относящееся к данному сюжету агентурное донесение: «23 апреля у Чернышевского был какой-то фельдгегерь г. военного генерал-губернатора; он узнал прежде у швейцара, дома ли г. Чернышевский, и тогда уже пошел к нему, когда получил утвердительный ответ. После нескольких минут фельдгегерь вышел в сопровождении Чернышевского, который очень благодарил его за что-то»¹.

Разъяснение этого визита, и весьма любопытное, можно найти в воспоминаниях С.Г. Стахевича, политического ссыльнокаторжного, который с 1868 по 1870 год был вместе с Чернышевским в Александровском заводе, где вел подробные разговоры с знаменитым каторжником, получившим от заключенных уважительное прозвище «стержень добродетели». Стахевич вспомнил и эпизод с фельдгегерем от петербургского генерал-губернатора, перепутав, правда, титул, называя князя графом. Но похоже, что в остальном он передал беседу довольно точно: «За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личный друг императора Александра II. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. “Да как же я уеду?хлопот сколько!.. заграничный паспорт.. Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта”. — “Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было”. — “Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?” — “Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя,

¹ Чернышевский в донесениях агентов III отделения // Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1968. С. 102–103.

его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно”. Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: не поеду за границу, будь что будет»¹. Это был, конечно, выбор своей судьбы, хотя маленькая надежда оставалась — ничего противозаконного он не писал и не делал. Поразительно, насколько «философский пароход» абсолютно в российской традиции. Это один из архетипов отношения российского правительства к инакомыслию. Или уничтожение, или тюрьма и каторга. Но уже при Александре Втором Освободителе была испробована попытка высылки инакомыслящего за границу, когда деятельность неугодного не подпадала под российские законы о наказаниях. Ленин был в традиции российской власти, а Чернышевский — из тех мыслителей, что отказались сесть на «философский пароход» и были далее уничтожены.

Авторитарному режиму трудно перейти в модус свободы. И когда есть безумный страх, что человек свободы, даже посмертно, может оживить в душах людей понятие о свободе — уже тем, что такой был, его стараются из общества изъять. Пушкина царь запретил хоронить в Петербурге, выслав ночью его тело в Михайловское на телеге в гробу, обернутом рогожей, в сопровождении жандармского ротмистра Ф.С. Ракеева, того самого, что спустя двадцать пять лет уже в чине полковника арестовывал Чернышевского. Чернышевский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость 7 июля 1852 года.

Любопытно, что кроме власти против Чернышевского были и крайние радикалы — Бакунин и Нечаев. Достоевский вынес из встречи с Чернышевским важное убеждение, что к кровавым прокламациям «Молодой России» он никакого отношения не имел. Не случайно в черновиках к «Бесам» Петр Верховенский (Нечаев) называет Чернышевского «ретроградом», противопоставляя ему разрушение всеобщее: «В сущности мне наплевать; меня решительно не интересует: свободны или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть об этом Серно-Соловьевичи хлопочут да ретрограды Чернышевские! — у нас другое — вы знаете, что чем хуже, тем лучше (по-моему, все с корнем вон!)»². Отношения двух русских мыслителей были непростыми. Но вот слова Маркса и Энгельса, они об этом же и, как и Достоевский, выступили в защиту Чернышевского против Бакунина и Нечаева, которые писали, что, протестуя против радикализма, Чернышевский очевидно прислуживается власти, мечтая о теплом местечке: «*Теплое местечко*, кото-

¹ Стахевич С.Г. Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. С. 175.

² Достоевский Ф.М. Собр. соч. Т. 11. Л., 1974. С. 159.

рое готовил себе Чернышевский, было предоставлено ему русским правительством в сибирской тюрьме, тогда как Бакунин, избавленный от такой опасности в качестве работника европейской революции, ограничивался своими внешними проявлениями *из-за рубежа*. И как раз в тот момент, когда правительство строго запрещало даже упоминать имя Чернышевского в печати, господ Бакунин и Нечаев напали на него».

Марксу больше всего нравились примечания Чернышевского к «Очеркам политической экономии по Миллю», он называл его за эту работу «великим русским ученым и критиком». Интересно, что и сам Чернышевский считал именно эту работу своим лучшим произведением. Как вспоминал Н. Рейнгардт: «Николай Гаврилович возразил, что роман “Что делать?” не может представляться выдающимся произведением еще и потому, что он, Чернышевский, вовсе не обладает беллетристическим талантом. Выдающимся же, серьезным своим трудом он считает комментарии к политической экономии Милля».

Но для большинства русских читателей он оказался прежде всего автором романа «Что делать?». Как же и где писался роман? Писался он в Алексеевском равелине, где с начала июля до конца октября — четыре месяца — Чернышевский сидел в одиночке, абсолютно изолированный от мира, лишенный книг, бумаги, чернил, его даже на допрос не вызывали. Но время шло. **Четыре месяца!** Безо всякого объяснения, почему арестован и за что. Почему держат в равелине? Наконец пришло 30 октября. Вопросы были никакие. Понятно было, что улики нет и обвинить его не в чем. Как он пишет императору, он ждал еще две недели. Попросил, чтобы его вызвали в Следственную комиссию. Его не пригласили, тогда он попросил у коменданта Петропавловской крепости разрешения написать императору. Ему разрешили. Письмо сохранилось. Я его приведу, но прежде нужен контекст. Очень часто русские литераторы, попавшие в опалу, в крепость, в ссылку, на каторгу, писали письма императору, в которых каялись и просили пощады. Останемся, однако, на письме Михаила Бакунина, которого считали тоже «коноводом» всех европейских либералов (скажем, в 1849 году руководил восстанием в Дрездене). Немцы его арестовали, потом выдали императору Николаю, который посадил его в крепость. Через пару лет, в 1851 году, он пишет императору «Исповедь». Не буду уж говорить, что исповедь возможна только духовному лицу, но атеисту Бакунину было не до тонкостей: «Государь! я — преступник великий и не заслуживающий помилования!». Еще одна любопытная деталь. В начале бакунинской «Исповеди» Николай

написал своему наследнику: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Так что Александр Освободитель прекрасно знал из уроков отца, как заключенные должны писать самодержцу. Кстати, из крепости Бакунина выпустил Александр II. А вот как и что пишет Чернышевский: «Всемиловнейший Государь. <...> Из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, я знал это и говорил это при самом арестовании моем. <...> Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста. Вашего величества подданный Н. Чернышевский.

20 ноября 1862 г.»¹

Посмотрим, что неожиданного в письме к императору. Заметим, ни одного восклицательного знака. Затем **требование справедливости** («благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста»). И, конечно, верх непочтительности — это подпись. Обычная подпись — **Ваш верноподданный!** Чернышевский пишет просто — **Ваш подданный**, просто констатируя факт отношений жителя империи и его сюзерена. И сравним с подписью Бакунина: «Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца. Кающийся грешник — Михаил Бакунин».

Бакунин вымолил себе ссылку, откуда бежал в Европу, откуда по-прежнему пытался разрушать Россию, создал вместе с Нечаевым страшный «Катехизис революционера», ругал «Что делать?» Чернышевского за реформизм, утверждая, что Чернышевский искал себе этим романом «теплое местечко».

«Реформист-постепеновец»², так именует Чернышевского В.Ф. Антонов. И это очень важное соображение. У него не было расчета на революцию. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина: «Он не уступит лучшим характерам прошлого времени, к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы — посмел «выйти из пеленок западной мысли и <...> говорить от себя, <...> *свои слова*, а не чужие». Он хотел не разрушать, а строить Россию. Немного забегая вперед,

¹ Дело Чернышевского. Сборник документов / Подгот. текста, введ. статья и коммент. И.В. Пороха. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968. С. 268–269.

² Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста. М.: Эдиториал УРСС, 2010. С. 174.

замечу, что *реформатор не может быть эмигрантом, это позиция радикала*.

В камере он за четыре месяца написал роман «Что делать?». Роман стал событием общественной жизни. Молодежь прочитала роман как призыв к противодействию властям. А идея романа «Что делать?» была проста: надо верить друг в друга и помогать друг другу, опираясь на идею разумного эгоизма, который писатель выводил из правила Христа — возлюбить ближнего твоего, как себя самого. Чтобы любить другого, необходимо вначале любить себя. Как пишут почти все, главным литературным противником романа Чернышевского был великий русский писатель. Действительно, он вроде бы и полемизировал с Чернышевским, но не с его идеями, а с его верой в то, что человек существо свободное и хорошее в своем антропологическом смысле. Здесь Достоевский ближе к Канту, писавшему «об изначально злом» в человеческой природе. Но к самому Чернышевскому отношение очевидной близости: «Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально. Тут, впрочем, я могу говорить не совсем голословно и имею даже маленькое доказательство. В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала “Эпоха” (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о “знаменитом” романе Чернышевского “Что делать?”. Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдается всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора. Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением; на самом деле ведь я был редактором “Эпохи”, а не кто другой»¹.

Достоевский немного ошибся. Речь шла о статье Николая Страхова, но статья не была опубликована в «Эпохе», журнал был закрыт. И впервые статья Страхова была опубликована в 1865 году в журнале «Библиотека для чтения». Но содержание статьи Достоевский, очевидно знал. Чем-то текст Страхова мог ему напомнить реакцию Белинского на его собственный первый роман «Бедные люди». Страхов писал: «Но есть одно явление в этом множестве, ко-

торое имеет большую прочность. Именно роман “Что делать?”, по моему мнению, останется в литературе».

Поразительно, что Ленин свою книгу «Что делать?» о создании полностью подчиненной вождю организации революционеров называет так же как роман Чернышевского, в котором утверждалось отсутствие всякой централизации и свобода личности в артели. Люди с ясным взглядом, не ангажированные теми или иными политическими группами, это ясно видели, понимая, что Ленин шел за Бакуниным, Нечаевым и Ткачевым. «Надо ли доказывать, — писал Степун, — что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹. Что касается Чернышевского, то о нем он тоже произнес достаточно внятно: «Чернышевскому было ясно, что все преждевременно, что взят совершенно бессмысленный темп»². Но, повторяю, прикосновению к Чернышевскому как мученику царизма было значимо для тех, кто готовил революцию против самодержавия. Почему, однако, Страхов назвал свой анализ романа «Счастливые люди»? Это название выводит, как это ни покажется странным, на христианский пафос романа. Ведь христианство — это и страдание, и счастье, более того, счастье в страдании: «Роман учит, как быть счастливым». Для верующего человека мир устроен так, что внутри него можно правильно строить правильные отношения. На вопрос атеиста Герцена *кто виноват*, ответ один — виновато мировое устройство, или, если угодно, Бог. Значит, разумно-положительное действие здесь невозможно. Но на вопрос Чернышевского *что делать* есть ответ: в Божьем мире можно строить правильные отношения. Страдания героев преодолеваются по евангельскому слову, которое и в страданиях находило счастье: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф 5: 10–12).

Любопытно, что герои Чернышевского никогда не перелагают на других ответственности за свои поступки. Ибо главное условие христианского жизнеповедения - ответственность за самого себя. «Делая человека ответственным, — писал Достоевский, — христианство тем самым признает и свободу его»³. Свобода опре-

¹ Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 635.

² Там же. С. 351.

³ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. Л., 1980. С. 16.

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. Л., 1980. С. 29–30.

деляет стиль жизни самого Достоевского. Подчиняясь воле Бога, он был свободен от подчинения властям. Чернышевский, и это надо сказать еще раз, несмотря на свои сомнения, как и Достоевский, пронес свою осанну «сквозь горнило сомнений». Но пронес. Удивительно, что везде его сопровождали две моленные иконы, его личные иконы, взятые из отцовского дома, его духовное наследство. Это икона Богоматери и, разумеется, икона Христа в окладе, с которым, видимо, не случайно сравнивали его.



Читатель может увидеть личные иконы Н.Г. Чернышевского (Иисуса Христа и Богоматери), которые он вынес из родительского дома и которые всегда до смерти были с ним: и во время «Современника», и в Петропавловской крепости, и на каторге, и в страшном Вилуйске. Кто знает, может, они и помогли ему перенести все чудовищные тяготы, которые выпали ему на долю.

Если же говорить об отношении обоих мыслителей к ситуации с христианством в России, то надобно сказать следующее. Именно христианство попытался оживить на новом историческом витке Чернышевский, знавший об удавшихся попытках подобного рода — лютеранстве, старообрядчестве и пр. Он понимал, разумеется, всю невероятную трудность этого преобразования, но хотел верить в ее возможность. Достоевский, другой русский гений, тоже мечтавший о возрождении и укреплении христианства в России, однако показал, что подобная победа в этом мире невозможна, ибо мир во зле лежит и князь мира сего дьявол. А царство Христа не от мира сего, и Христос вынужден уступить Великому инквизитору, который, как

сказал Алеша Карамазов, «не верует в Бога, вот и весь его секрет!». А верующему уготована тюрьма, позорный столб, каторга, одним словом, Голгофа, которой не избежал ни Достоевский, ни Чернышевский. Каждый из них в свою очередь прошел крестным путем. Но они не сломались, оставшись поэтому духоводителями русского общества.

«Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекари-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой»¹.

¹ *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1877. Июль-август // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 201. По поводу Анны Карениной.

Какие сны приснятся в смертном сне, или Жизнь в смерти

(«Бобок», рассказ Достоевского)

Я хочу остановиться на небольшом рассказе Достоевского, рассказе под почти сюрреалистическим названием «Бобок», опубликованном как часть его «Дневника писателя» в журнале «Гражданин». Рассказ в концентрированном виде дает нам представление о том, как писатель понимал смерть и жизнь в России, причем не бытово, а вполне религиозно-философски. Но его анализ должен быть поставлен в отчетливый литературно-философский контекст.

Смерть — это закон всей истории и всегдашний страх человека. Как правило, религия успокаивала людей, обещая потустороннее существование. Тени, с которыми столкнулся в Аиде Одиссей, понимали, что здесь они навсегда, что истинная жизнь где-то далеко, они из нее выбыли. Правда, после возникла классическая античная философия, по-своему прочитавшая тему смерти. Платон в «Федоне» сказал, что настоящий философ стремится к смерти, ибо она освобождает разум от телесной тяжести: «Истинные философы много думают о смерти, и никто на свете не боится ее меньше, чем эти люди. Суди сам. Если они непрестанно враждуют со своим телом и хотят обособить от него душу, а когда это происходит, трусят и досадают, — ведь это же чистейшая бессмыслица!»¹

Однако в дантовском аду его обитатели мучаются, хотя понимают, что находятся по ту сторону жизни. Данте из нелюбви к римскому папе мог поместить его в ад, то есть отправить на тот свет. Средневековая европейская культура отразилась на теме смерти, опираясь на установки христианской веры. Но она твердо про-

водила эту грань между жизнью и смертью. Жизнь — это то, что человек жаждет. Смерть выталкивает человека в неизвестность. Хотя Христос и обещал вечную жизнь на том свете тем, кто уверует в него. И все же пугающая неизвестность мучила тех, кто поднялся до уровня рефлексии.

Данте изобразил потусторонний мир так, что на него показывали как на человека, повидавшего ад. Мистическое видение, можно сказать, мистический сон Данте воспринималось как то, что существует на самом деле. И не случайно принц Гамлет страшился этих снов, которые ждут человека по ту сторону бытия. Пугало, что *там*. Можно предположить, что отзвуки платоновского понимания смерти были восприняты Шекспиром, но писал он речь Гамлета с поправкой на христианское (дантовское) понимание того света.

Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, — как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бранный шум, —
Вот что сбивает нас; вот где причина
Того, что бедствия так долговечны.

Платон уверенно оптимистичен: «Как не испытывать радости, отходя туда, где надеешься найти то, что любил всю жизнь, — любил же ты разумение, — и избавиться от общества давнего своего врага!»¹ Шекспир прошел мимо этого утверждения, прошел и Толстой, переживший свой «арзамасский ужас», как ужас телесной смерти: он «видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть»². Но этот животно-мистический страх перед смертью был свойствен из русских классиков, пожалуй, лишь Толстому. Такая страсть к плотской

¹ Платон. Федон. С. 19.

² Толстой Л.Н. Записки сумасшедшего // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XII. М.: Художественная литература, 1982. С. 47.

¹ Платон. Федон // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 19.

жизни, что он даже не успевает подумать о загробной жизни, о том, что ждет его расплатой за прожитую жизнь. Хотя и назвал своего любимого героя *Платон Каратаев*, от плоти ради мысли отказываться он не собирался.

Пожалуй, лишь Пушкин, абсолютный гений русской культуры, отрефлектировал в полной мере (молодым очень человеком — в 1823 году) мысль Платона (все же выученик Лицея, воспитанный на античной литературе):

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений.
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!..

И все же, зная Платона, гениально перефразируя его мысль, поэт видит нечто другое. В отличие от Платона Пушкин не верит, что мысль уцелеет после смерти «в небесной чистоте». Он вносит тревожную и, в общем-то, не только антиплатоновскую, но и антихристианскую ноту: «Ничтожество меня за гробом ожидает...» Строго говоря, монолог Гамлета есть рефлексия по поводу дантовского ада. Пушкин весь в сомнениях. Это сомнение он как бы передал великому писателю Достоевскому, который без конца повторял, что Пушкин — высшее и лучшее, что создала русская культура.

Достоевского называли русским Данте. Первым заметил это Тургенев, сказав, что картина бани в «Мертвом доме» просто дантовская. Популярность Данте в русской культуре в первой половине XIX века была весьма велика. Я писал об этом в книге, вышедшей в 1988 году, говоря там о Шевыреве, Милюкове и др. На мой взгляд, Гоголь «Мертвые души» строил как трехчастную поэму по парадигмальному образцу «Божественной комедии», но удалась у него только первая часть — Ад: «Второй том, предполагаемое “Чистилище”,

уже показал писателю невозможность, оставаясь в пределах предложенного действительностью реального материала, осуществить свой замысел»¹. В «Дневнике писателя» вечные проблемы Достоевский решал на очень актуальных сюжетах, ставя их в контекст «последних вопросов». Однако ведь и «Божественная комедия» (особенно «Ад» и «Чистилище») была злободневна, как «Дневник писателя» Достоевского. В «Комедии» в вечность погружены образы современников, злодеев, продажных священников, несчастных влюбленных и т.п. Но не забудем, что у Данте не просто вечность, а загробное существование. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов в разговоре с Раскольниковым приоткрывает свое представление о потустороннем мире, о том, что ждет человека там (баня с пауками), в «Карамазовых» тема эта бесконечна, наиболее ярко она прозвучала в разговоре с чертом (топор, своего рода русское оружие возмездия, оказывается спутником Земли). Это, бесспорно, уже уровень дантовского представления о наказании, которое ждет на том свете русского человека. С Данте Достоевского сравнивали и западные мыслители, скажем, Шпенглер. Но сравнение, как говорят, всегда хромает, оно дает ориентир, но никогда не дает понимания нового явления в его целостности. Опыт «Мертвого дома» русского писателя давал столь существенный корректив к размышлениям о потусторонней жизни, что его нельзя не принять во внимание. Не могу не согласиться с современной исследовательницей: «Если в основе поэтики “Комедии” Данте заложена идея высшей справедливости миропорядка, то в “Записках...” Достоевского в изображении эмпирической данности ада Мертвого дома идея справедливости превращается по крайней мере в вопрос»².

Проблема того, что будет там, волновала Достоевского бесконечно. На эту тему написан один из самых необычных в мировой литературе рассказов «Бобок» (1873). Игорь Евлампиев в своей последней книге написал: «“Бобок” можно рассматривать как предположение о возможной форме существования человека в той перспективе, которую открывает нам “высшая идея” о бессмертии, и это предположение поражает своей безысходностью и выглядит даже более ужасным, чем представление о вечности в виде бани с пауками, пугающее Свидригайлова»³. Ситуация, однако, на мой

¹ Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги». Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Худ. лит. 1988. С. 217.

² Тоичкина А.В. Образ ада в «Записках из Мертвого дома». К теме Достоевский и Данте // Достоевский и мировая культура. Альманах № 29. СПб.: Серебряный век, 2012. С. 54.

³ Евлампиев И.И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб.: РХГА, 2012. С. 449.

взгляд, более сложная, чем метафизическая проблема потустороннего бытия человека.

Сюжет рассказа, введенного Достоевским в «Дневник писателя», то есть как бы заметки без претензий, строится в форме записок журналиста, не очень удачливого в литературе. Но в своих литературных неудачах он не себя винит, а духовную ситуацию России, где потеряли критерий между высокой иронией и площадной бранью. «Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства вместо остроты принимаются» (Бобок). «Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбибли!»

Соответственно, потеряли и Бога. Герой понимает, что это не его мир: «Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: “Бобок, бобок, бобок!”». Достоевский решительно, почти по-журналистски вводит основное слово, которое к концу повествования перерастет в символ. И далее странная, почти кощунственная игра рассказчика с понятиями «дух» и «духовность». Рассказчик как бы между прочим произносит почти невозможный для православного текст:

«Какой такой бобок? Надо развлечься».

Но и развлечения у этого журналиста особые. «Ходил развлекаться, попал на похороны». Вот поразительное восприятие похорон, где покойники даны как самостоятельно действующие лица (они приезжают, а не их привозят): «Мертвцов пятнадцать наехало. Покровы разных цен; даже было два катафалка: одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. *Причту нельзя пожаловаться: доходы. Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом* (курсив мой. — В. К.)». Фразу рассказчик заканчивает почти вольтеровским, антиклерикальным выпадом. Читатель должен понять, что автор человек интеллектуально свободный.

Потом с провожающими идет в ресторан погреться: холодно. «Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком». От этого уж совсем зябко, октябрь. Но есть вполне человеческий выход, и очень российский: «Тут сейчас богдельня, а немного подальше и ресторан. И так себе, недурной рестораник: и закусь, и всё. Набилось много и из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил». (Достоевский, как всегда, двойствен: то ли алкоголь навевал дальнейшее, то ли в самом деле оно произошло.) «Не понимаю только, зачем остался на клад-

бище; сел на памятник и соответственно задумался». И далее начинаются чудеса: «Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком; то есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с».



С.Г. Илларионова.
Иллюстрация
к рассказу
Ф.М. Достоевского
«Бобок»

И далее вдруг выясняется страшная ситуация. Покойники, оставаясь покойниками, продолжают жить какой-то странной жизнью, причем такой же грешной, как жили на земле, продолжают разряды, продолжается чинопочитание, а в зависимости от чина почет и шанс на сексуальные утехы. Хотя рассказчик и поражен, ибо о каком сладострастии может быть речь в могилах! Но речь есть.

«Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко усла-

щенный; не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике:

“Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова... таких-то и таких орденов кавалера”. Гм. “Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра!”

Гм, черт, в самом деле генерал! На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника; была только плитка; должно быть, из новичков».

Но все страсти земные при них: «...далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец, обнаружила признаки могильного воодушевления схороненная поутру под катафалком знатная барыня. Лебезятников (ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова, по имени оказался Лебезятниковым) очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но все хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая».

Повторим недоуменный вопрос: разве возможно сладострастие в мертвом состоянии? Но хочу напомнить, что из великих писателей и мыслителей только Достоевский побывал в Мертвом доме, как бы *на том свете*, где люди продолжали жить, жить животной жизнью, предаваясь всем порокам посюстороннего мира. Приведу длинную цитату из «Записок из Мертвого дома», но она абсолютно необходима: «Начинается кутеж, питье, еда, музыка. Средства большие; задобривается даже и ближайшее, низшее, острое начальство. Кутеж иногда продолжается по несколько дней. Разумеется, заготовленное вино скоро пропивается; тогда гуляка идет к другим целовальникам, которые уже поджидают его, и пьет до тех пор, пока не пропивает всего до копейки. Как ни оберегают арестанты гуляющего, но иногда он попадает на глаза высшему начальству, майо-

ру или караульному офицеру. Его берут в кордегардию, обирают его капиталы, если найдут их на нем, и в заключение секут. Встряхнувшись, он приходит обратно в острог и чрез несколько дней снова принимается за ремесло целовальника. Иные из гуляк, разумеется из богатеньких, мечтают и о прекрасном поле. За большие деньги они пробираются иногда, тайком, вместо работы, куда-нибудь из крепости на форштадт, в сопровождении подкупленного конвойного. Там, в каком-нибудь укромном домике, где-нибудь на самом краю города, задается пир на весь мир и ухлопываются действительно большие суммы. За деньги и арестантом не брезгают; конвойный же подбирается как-нибудь заранее, с знанием дела. Обыкновенно такие конвойные сами — будущие кандидаты в острог. Впрочем, за деньги все можно сделать, и такие путешествия остаются почти всегда в тайне».

Вот эта странная *жизнь в смерти*, временная смерть, которую прошел в России не один Достоевский, но только он сделал ее предметом художественной рефлексии.

Но о ней говорит и русский фольклор. Великий русский филолог В.Я. Пропп выделяет в русской сказке «явление временной смерти». И замечает: «Формы этой смерти очень различны, но сейчас нам важны не формы, а самый факт». Он отказывается объяснять этот факт, замечая, что на данном этапе достаточно его фиксации: «Мы можем только установить факт, не вдаваясь в его объяснение. Факт тот, что этому умиранию и воскресению приписывали приобретение магических свойств»¹. Конечно, разговоры героев Достоевского в могиле — из ряда магических явлений дохристианской культуры. Он описывает в новелле «Бобок» своего рода магически остановленное мгновение, жизнь в смерти, которая когда-нибудь перейдет в подлинную смерть. Но надо подчеркнуть, что это не фольклорные, сказочные мертвецы, но мертвецы из реального петербургского мира, мертвецы, которые, оставаясь в могилах, продолжают свое прижизненное существование. Такое писатель мог видеть только в «Мертвом доме». Пожалуй, сопоставил два этих наблюдения Достоевского — каторжный и кладбищенский — лишь Андрей Белый: «Для чего печатать все это свинство, в котором нет ни черточки художественности. Единственный смысл напутать, оскорбить, сорвать все святое. “Бобок” для Достоевского есть своего рода расстреливание причастия, а игра словами “дух” и “духовный” есть хула на Духа Святого. Если возможна кара за то, что автор выпускает в свет, то “Бобок”, один “Бобок” можно противопоста-

¹ Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. С. 93.

вить каторге Достоевского: да, Достоевский каторжник, потому что он написал “Бобок”»¹.

Но надо понимать, что личный опыт, личное гениальное открытие писателя Достоевского находилось в контексте мироощущения русской культуры 1830–1870-х годов. Не надо забывать, что в 1836 году вышло первое философическое письмо Чаадаева, где обозначено место написания этого текста – Некрополис. В 1842 году выходят «Мертвые души» любимейшего русского прозаика Достоевского – Гоголя. В «Бобке» есть намек на связь с Гоголем, комментаторы (В. Туниманов) полагают, что первые строки рассказа, где повествуется, что некий живописец изобразил его, как «лицо, близкое к помешательству», и добавил пару бородавок: «Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради двух моих симметрических бородавок на лбу: феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, – живые! Это они реализмом зовут»². Туниманов полагает тут переключку с последней фразой из «Записок сумасшедшего»: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?». Бородавки как-то перекликаются с этой странной шишкой. Безобразие лица и шишки приводят на память, разумеется, Сократа как самого уродливого философа, тем более что в новелле появляется русский философ Платон Николаевич, рассуждающий на темы Платона и Сократа – о жизни и смерти: «Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ. <...> Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это – не умею вам выразить – продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, – но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой».

Россия хотела себя чувствовать в контексте мировой культуры, обретая в эти столетия, начиная с Петра Великого, самосознание. И вот, обретя, она ощущает себя погруженной в мрак смерти. «Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказа. Оттого здесь все так мрачно, подавлено, и

мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара»¹. Мертвецы у Данте живут а аду. География и топография ада описана в «Божественной комедии» подробно. На земле, полагал Данте, находятся живые, но самые скверные из них могут уже мучиться в аду, нести наказание, в России Достоевский увидел на кладбище новый тип живущих и мертвых одновременно, для которых это не наказание. Произнести страшно – это образ жизни.

«– Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная – хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...»

– Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – слышались многие голоса, и, странно, слышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

Там, где жизнь потеряла высший смысл, человеческая особь впадает в разврат и отказывается от представления о стыде. Тема стыда и потери стыда у героев Достоевского прекрасно развита в книге Деборы Мартинсен «Настигнутые стыдом». В контексте этого понятия выкрики персонажа «Бобка» о том, что не надо стыдиться выявляет страшный момент. Кричать такое могут не люди, но и не животные, ибо животные просто не знают стыда. А герои Достоевского знают стыд, но хотя от него отказаться. Словечки «стыдно», «бесстыдный», «давайте ничего не стыдиться» и пр. буквально пронизывают тексты писателя. Вл. Соловьёв, мыслитель, во многом продолживший Достоевского, полагал, что именно стыд отличает человека от животного, и писал о связи стыда с проблемой сексуальной: «Есть одно чувство, которое не служит никакой общественной пользе, совершенно отсутствует у самых высших животных и однако же ясно обнаруживается у самых низших человеческих рас. В силу этого чувства самый дикий и неразвитый человек *стыдится*, т.е. признает *недолжным* и скрывает такой физиологический акт, который не

¹ Бельй А. Трагедия творчества // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. М.: Книга, 1990. С. 154.

² Кстати, речь идет о знаменитом портрете Достоевского кисти В.Г. Перова.

¹ Кюстин А. де. Николаевская Россия. М.: Политиздат, 1990. С. 74.

только удовлетворяет его собственному влечению и потребности, но сверх того полезен и необходим для поддержания рода. В прямой связи с этим находится и нежелание оставаться в природной нагоде, побуждающее к изобретению *одежды*. <...> Этот нравственный факт резче всего отличает человека от всех других животных, у которых мы не находим ни малейшего намека на что-нибудь подобное»¹. Что же в этом рассказе?

Если античный Платон писал: «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью»², то здешний Платон (Платон Николаевич) отделяет представление о смерти «тамошнее» и здешнее как бы посмертное, но на самом деле продолжающееся в этой смерти-жизни. Перехода от жизни к смерти практически нет. Могильный, словесный разврат подчеркивает эту ситуацию.

Как-то я написал, что только на том свете нет стыда. Либо в раю, где нечего стыдиться, либо в аду, где стыд забыт, отброшен, как в рассказе Достоевского «Бобок». Пока человек жив, он не может не испытывать стыда за себя или за другого, это и обостряет его восприятие мира, делает человеком. Продолжая анализировать «Бобок», я понял, что это не ад, либо ад по Сведенборгу, где грешники ликуют. Если здесь еще не тот свет, то что тогда? Тогда надо признать, что ад возможен в любом месте, где есть человек. Но «Мертвый дом» дал опыт жизни вне жизни, жизни в смерти. Именно тема живых мертвецов поднимается в первом романе его «Пятикнижия» — в романе «Преступление и наказание». Их там немало, не говорю уж о тех, кто ходит по грани жизни и смерти типа Катерины Ивановны, или идут в смерть, типа утопленницы, на глазах Раскольникова бросившейся в грязную петербургскую канаву, и других постоянно погибающих эпизодических персонажах, скажем, поручике Потанчикове, о котором вспоминает мать Родиона Романовича: «Говорит она нам вдруг, что ты лежишь в белой горячке и только что убежал тихонько от доктора, в бреду, на улицу и что тебя побежали отыскивать. Ты не поверишь, что с нами было! Мне как раз представилось, как трагически погиб поручик Потанчиков, наш знакомый, друг твоего отца, — ты его не помнишь, Родя, — тоже в белой горячке и таким же образом выбежал и на дворе в колодезь упал, на другой только день могли вытащить». Приводить другие цитаты из романа не имеет смысла. Но вот реакцию одного из первых читателей,

¹ Соловьёв В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. СПб.: Товарищество «Просвещение», [1911–1913]. С. 50–51.

² Платон. Федон. С. 11.

умевших видеть текст, приведу. Я имею в виду Писарева, который, когда выходил за пределы своего ратоборства, был тонким ценителем литературы. Такого живого мертвеца он видит в Мармеладове: «И с этим-то ясным пониманием своего глубокого ничтожества, с этим неизгладимым, ярким и жгучим воспоминанием о событиях рокового вечера он все-таки бежит в кабаки, укравши у жены трудовые деньги, пьянствует без просыпу пятеро суток, губит все последние надежды своего семейства и в довершение всех своих подвигов, спустивши в кабаках все, что можно было спустить, идет выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на последний полуштоф водки частицу тех денег, которые она добывает от искателей легкой и дешевой любви и которые составляют единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троих вечно голодных ребятишек. Ясное дело, что Мармеладов — труп, чувствующий и понимающий свое разложение, — труп, следящий с невыразимо-мучительным вниманием за всеми фазами того ужасного процесса, которым уничтожается всякое сходство этого трупа с живым человеком, способным чувствовать, мыслить и действовать. Это мучительное внимание составляет последний остаток человеческого образа; глядя на этот последний остаток, Раскольников может понимать, что Мармеладов не всегда был таким трупом, каким он видит его в распивочной, за полуштофом, купленным на Сонины деньги»¹. Это результат понимания писателем российской жизни.

Вернусь на момент к историческому контексту, чтобы понятнее стал странный взгляд на мир Достоевского. «Моровой полосой» назвал Герцен правление Николая, которое создавало это состояние жизни в смерти. «Человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, — писал он об этом времени, — и будущие поколения не раз останутся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли»². В конце 1847 года, когда грянули громы над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко писал в дневнике: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса»³. Хуже прочих было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам.

¹ Писарев Д.И. Борьба за жизнь // Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1956. С. 330. Курсив мой. — В. К.

² Герцен А.И. Соч.: В 30 т. Т. IX. М.: АН СССР, 1956. С. 35.

³ Никитенко А.В. Дневник. Т. I. Л.: ГИХЛ, 1955. С. 308. Называя николаевскую Россию Сандвичевыми островами, Никитенко писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромн, клеймятся и обрекаются гонению и гибели». (С. 315.)

В их житейском опыте не имелось сопереживания государству в его попытках либерально-европейского развития России. Сразу же их деятельность по просвещению страны оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского Гоголю). Ссылки, каторга, солдатчина — вот что ждало многих. Увиденная их глазами николаевская Россия напоминает «убогое кладбище» (Герцен), «Некрополис», город мертвых (Чаадаев), «Сандвичевы острова», то есть, по представлениям людей XIX века, место, где господствует антропофагия (Никитенко), а обитатели этого мира поголовно — «мертвые души» (Гоголь). В 1854 году Грановский писал Герцену за границу: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских народов. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет»¹. В том же 1854 году бывший каторжанин Достоевский задумывает свои «Записки из Мертвого (!) дома»; рисуя находящиеся в каторжных стенах все сословия необъятной русской земли, восклицает: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром». Воистину кладбище! На этом «убогом кладбище» вполне возможна ситуация, где оставшиеся в полубессознательном состоянии люди могут только шептать «Бобок». Жизнь разложилась, но смертью не стала. Впрочем, кладбище не убогое, а грандиозное. Вся страна.

Вот это страшное разложение человеческой души и описал Достоевский в своем самом страшном рассказе. Это страшнее ада. И ко всему прочему эти обитатели гробов пародируют Чернышевского, который попытался ужасу смерти противопоставить формулу, что прекрасное есть жизнь, что это и есть новые начала. Достоевский видит жизнь иначе. Она у него мало отличается от смерти.

«Нет-нет-нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться!»

— Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах».

То есть разумные начала, полагают радикалы, это отсутствие стыда. Это и есть красота. И Достоевский почти с этим согласен, ибо идеал Мадонны и идеал содомский соединены в красоте. Это

¹ Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1897. С. 448.

вроде бы жизнь. Но эту жизнь он уже видел. Достоевский ответил, что красота страшная вещь, в ней дьявол с Богом борются.

Достоевский прошел Мертвый дом, который понял как образ России, предвосхитивший «Архипелаг ГУЛАГ». Как пишет А. Тоичкина: «Ему (Достоевскому. — В. К.) важно, чтобы его “Записки...” явились не как свидетельство о пребывании на каторге очевидца, не как очерк о нравах и положении в тюрьмах, а как глубоко художественное произведение о судьбах человеческих, о природе человека и путях его, о России и русском народе (понятие “русский народ” в данном случае объединяет разные национальности). Не случайно в центре метафоры “Мертвый дом” оказывается понятие дома, места жизни, а эпитет мертвый обозначает качество жизни в этом доме, состояние живущих в этом доме. Топос дома оказывается центральным для образа ада в “Записках...” Достоевского»¹.

Но не надо забывать, что традиционно в русской культуре, особенно в символике славянофилов, топос дома был равен топосу России.

По Достоевскому, как правило, заключенные — крупные, центровые люди, способные вести за собой Россию, ибо сильнее этих людей он не встречал нигде, то есть золотой запас России. Строго говоря, энергия России. Ибо страна определяется не безличной, не способной к деянию массой, а деятелями — Потемкиными, Меншиковыми, Столыпинными, писателями, мыслителями и художниками и — похороненными в остроге (Достоевским, далее Чернышевским). «Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно».

Достоевский не любил и боялся разбойников, с которыми пришлось ему несколько лет прожить, но силу он их признавал бесспорно.

И все же в этой странной псевдожизни было нечто невсамделишное, жили и не жили. Поэтому для писателя выход из ситуации полужизни-полусмерти — это воскресение: «Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых...». Но и свобода понимается каторжником как жизнь после смерти: «Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности». И такое понятие о свободе поневоле обращалось в вольницу, пугачевщину, ибо их понятие о свободе

¹ Тоичкина А.В. Образ ада в «Записках из Мертвого дома». К теме Достоевский и Данте. С. 56. Курсив мой. — В. К.

было вне исторического контекста. «Бобок» – продолжение «Мертвого дома» на иной лад.

Возможна ли жизнь тел после смерти? В знаменитой средневековой «Диоптре» изображен разговор тела с душой. Но у Достоевского в его рассказе души так загрязнены и испачканы, что не могут оторваться от тела, не могут вступить с ним в диалог, тянут телесную жизнь уже после смерти.

Это особого типа бессмертие. Только великий грешник мог это осознать. Достоевский считал себя великим грешником. Хотел писать об этом роман. Строго говоря, как не раз отмечалось, все его тексты – вариации на тему «великого грешника». И вот в рассказе «Бобок» дан еще один вариант. Тело умершего не дает душе свободы, тянет в свой смрад. Тело не может отделиться от души. Это преодоление на свой лад идеи Платона.

БОБОК – символ человеческого бытия в России. Страшнее символа я не знаю.

Революция, или Вступление в эпоху безумия

XX век называют (и справедливо) эпохой войн и революций. В 1900 году это предсказал Владимир Соловьёв. Предсказание исполнилось. Две огромные войны, не считая мелких, но кровавых, а также три русские революции – 1905 года, две в 1917 году, становление фашизма в Италии (1922 – Муссолини) и в Германии (1933 – нацисты и Гитлер). Но гораздо точнее назвать это время эпохой безумия и ужаса. Как отмечал выдающийся австрийский этолог Конрад Лоренц, «...более чем вероятно, что пагубная избыточная агрессивность, которая еще и сейчас сидит у нас, людей, в крови, как дурное наследство, является результатом внутривидового развития, действовавшего на наших предков десятки тысяч лет на протяжении всего палеолита». Но «отныне движущим фактором отбора стала война»¹. Агрессивное прошлое, пришедшее в сегодня из дикости, не уменьшалось. Что же заставляло людей не только нарушать нормы цивилизации, но даже пренебрегать инстинктом? И тут мы должны ввести понятие безумия. В культуре и философии существуют диалектические понятийные пары: Добро и Зло, Свет и Тьма, Мир и Война, Бог и Сатана, Христос и Антихрист и т.д. Думаю, что для интеллектуального прояснения некоторых исторических ситуаций имеет смысл обратить внимание еще на одну понятийную пару – Разум и Безумие. Понятие разума есть философский факт с античных времен, тогда же появилось и понятие безумия, не как метафора, а именно как понятие. Ведь понятие «безумие» – калька с греческого *arhrosyne*. Речь тут идет о человеке, потерявшем ум, разум. Кстати, сделавший разум фактом философского осмысления Платон понятийно означил и безумие – в «Федре», различая два вида безумия: болезнь и божественный дар. Но в древнегреческих мифах даже бо-

¹ Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. С. 124.

жественное безумие порой вело к саморазрушению и убийству невинных. Вспомним Геракла, Аякса, Медею. Божественный дар при-сущ творцам, болезнь — человеку среднему, человеку толпы, как мы сегодня сказали бы. Все знают о безумцах, сидящих в сумасшедших домах. Но история показывает и социальные движения, влекомые безумием. Речь, разумеется, идет о движении масс, ибо разум — это достояние личности. В последние десятилетия понятие безумия сызнова ввел в философский дискурс знаменитый французский философ Мишель Фуко, который писал, что безумие «играло нашей историей с глубокого Средневековья и вплоть до XX века, а может быть и дольше», что «безумие образует обнаженную истину человека», когда уходит «живой образ пылающего разума» (Фуко). В войне и революции «живой образ пылающего разума», выражаясь словами Фуко, гаснет. Как определил состояние человека во время войны замечательный русский писатель Леонид Андреев в знаменитой повести «Красный смех» двумя словами, которые рефреном проходят через весь текст: «безумие и ужас». На протяжении повести писатель рисует, как ужас изувеченных людских тел перерастает в безумие еще живых. Вспоминая начало войны, Троцкий приводит свой разговор с австрийским социалистом Фридрихом Адлером: «На улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие, это их время. Убийство Жореса — только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия»¹. Собственно, легкость февральского (мартовского) удара по империи показала готовность императора стать жертвой. Николай II, не обладавший ни волей, ни инстинктом власти, стал лишней фигурой для правящей верхушки, которая хотела всего лишь сменить царя. Это казалось простым решением. 2 марта Николай подписал отречение. Но такая смена верховного правителя во время тяжелой войны на самом деле была безумием и вела к катастрофе, которая и произошла как бы сама собой. Регуляторы цивилизации ломались под натиском безумия. Безумный зверь тот, кого перестает держать в узде даже сила инстинкта. Нормальный человек боится безумного. Это естественно. Особенно страшно, когда безумие охватывает толпу. Бердяев довольно неожиданно для себя, человека лично смелого, как-то выговорил: «Страх лежит в основе жизни этого мира. <...> Если говорить глубже, по-русски нужно сказать — ужас»². Как было сказано еще древними, кого Господь хочет погубить, того Он лишает разума. И лишённые разума изничтожали носителей разума

¹ Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. С. 230.

² Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. М.: Фолио, 2003. С. 388.

под разными предлогами. Чтобы в мире угас свет и воцарился древний ужас. В конце XVIII века гениальный испанец Гойя создал серию офортов «Капричос», где центральной была картина, изображавшая спящего человека, которого окружают монстры и чудовища, с знаменитой подписью «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ». Разум не раз засыпал в истории, а чудовища выходили наружу и творили бесконечные злодеяния. Гойя оказался провидцем, точнее сказать, мыслителем, видевшим ущербность бытия. Любопытно, что русская культура тоже видела в безумии опасность, но и факт развития человечества. Герцена не оставляла эта тема. В знаменитой повести «Доктор Крупов» (1846) есть такое рассуждение: «Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; взгляните, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройств умственных способностей». Из войн возникали перевороты и революции, и, как правило, чем разрушительнее была война, тем разрушительнее следующая революция. До XX века самые кровавые были Английская и Великая французская революции, напугавшая мыслителей-гуманистов, даже Ницше, писавшего: «Безумие в учении о перевороте. Существуют политические и социальные фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же как бы сам собой воздвигнется великолепнейший храм прекрасной человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук суеверия Руссо, которое верит в чудесную первичную, но как бы засыпанную посторонними примесями благодать человеческой природы и приписывает всю вину этой непроявленности учреждениям культуры — обществу, государству, воспитанию. К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы. Этим духом надолго был изгнан дух просвещения и прогрессивного развития; подумаем — каждый про себя, — можно ли снова вызвать его к жизни!»¹ Существенна, однако, разница между этими двумя великими революциями. Английская выросла из английской гражданской войны (English Civil War), где

¹ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Мысль, 1990. С. 440.

движущей силой были пуритане, но именно поэтому она исходила из единства церкви и государства. Отказ во Франции от церкви поставил католическую страну перед пустотой, перед Ничто.

Придуманый Робеспьером Храм Разума был скорее актом сумасшедшего, пытавшегося управлять историческими смыслами. Де Токвиль писал: «Наполеон, сумевший победить либеральный гений Французской революции, предпринимал напрасные усилия, чтобы укротить ее антихристианский гений»¹. Французская революция была поначалу для русских радикалов примером прорыва к свободе. Но это были мечты. Реальность была иной. Победила не свобода, а толпа, ненавидевшая разум и независимость ума. Быть может, первым великий Пушкин увидел во французском порыве явление абсолютного безумия.

Все это напоминало картину Питера Брейгеля «Безумная Грета».



Питер Брейгель (Старший). Безумная Грета. 1562

Пушкин знал, что якобинцы казнили великого химика Лавуазье, философа Кондорсе, отправили на казнь замечательного поэта Андре Шенье, о чем написал стихи:

¹ Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 13.

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

А.С. Пушкин. Андрей Шенье

Об ужасах Французской революции писал Бунин, а Г.П. Федотов в знаменитом рассуждении о свободе отказал Французской революции в праве претендовать на введение этого понятия в европейскую жизнь: «Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. <...> Революция нашла в старом режиме, вместе с устаревшими привилегиями и неоправдываемым уже гражданским неравенством многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она уничтожила все это»¹. Победили массы, отринувшие всякую идею личности и личностной иерархии, без которой, как считал Бердяев, не держится ни одно общество. Именно отвергнутое толпой христианство во имя сохранения вечной души, по словам Хоркхаймера, «утвердило бесконечную ценность каждого человека — идея, которая проникает даже в нехристианские или антихристианские системы западного мира»². XX век не раз определялся как век массового безумия, коллективного психоза. Словно исполнились мрачные предчувствия Достоевского: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные» («Преступление и наказание»). Исчезновение личности привело к катастрофе, писал Евг. Трубецкой: «Безумие нашей революции, как и безумие нашей реакции, обуславливается, главным образом, одной общей причиной — тем, что у нас личность еще недостаточно

¹ Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 270—271.

² Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М.: Канон+, Реабилитация, 2011. С. 158.

выделилась из бесформенной народной массы»¹. Вроде бы опирающийся на теорию Маркса, Ленин, по мысли Степуна, будучи человеком громадной воли, послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. Поэтому «...в революционные эпохи сходит с ума сам разум»². Состав мира очевидно изменился. Эта перемена шла весь XX век. Но уже в 1895 г. вышла гениальная книга Гюстава Лебона «Психология народов и масс», предсказавшая те движения истории, связанные с выходом в историю масс, задолго до Фрейда, Канетти, Бердяева и Ортеги-и-Гассета. «Лишь только известное число живых существ соберется вместе, все равно, будет ли то стадо животных или толпа людей, они инстинктивно подчиняются власти своего вождя. <...> Его воля представляет то ядро, вокруг которого кристаллизуются и объединяются мнения»³. В стихотворении «Трихины» 1917 года Максимилиан Волошин, продолжая пророчество Достоевского, написал:

Исполнилось пророчество: трихины
В тела и в дух вселяются людей.
И каждый мнит, что нет его правей.

Великий русский ученый Александр Леонидович Чижевский, основоположник гелиобиологии, писал: «Иногда разгар борьбы вскрывает всю обширную область человеческого безумия, неуравновешенности и страсти. Стихийные насилия, ожесточение, остервенение, эпилептическое иступление, жажда мщения, эпидемии убийств, паник, погромов, опустошительных набегов, отчаянных битв, массовых истреблений, кровавых бань, а также мятежи, бунтарства, сопряженные с проявлением фанатизма и героизма, достигают своего апогея. Массы и толпы могут ликовать при виде самых ужасных насилий, зверств, убийств. Ими изобретаются мучительнейшие казни. Безумие воплощается в жизнь. *То, что считалось невозможным и диким в период минимальной возбудимости, в период максимума вполне может идти рука об руку с моралью и возвышенностью преследуемых идеалов* (курсив мой. — В. К.). Перед этими порывами и проявлениями как масс, так и отдельных индивидов, вследствие необычайного состояния психического возбуждения, должны заглухнуть чувства опасности, самосохранения, даже инстинкт»⁴.

Как видим, для ученого-гелиобиолога безумие побеждало даже инстинкт, в том числе и инстинкт самосохранения. Единственное, но чрезвычайно важное уточнение: о безумии может писать только здоровый человек. Безумец безумия не видит, считая свои действия «моральными и возвышенными». По замечательно точному наблюдению Солженицына, «...в совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или оцарапан в уличных боях. <...> Так революция началась без революционеров»¹. И встает важнейший вопрос. Была ли вообще революция в феврале — или царство просто само по себе распалось? Ушла армия, как и хотел Лев Толстой, развалились суды, государство. В этом движении России радикальные деятели той эпохи увидели проявление логики исторического разума. Были и сомневающиеся. Скажем, Бердяев в статье с вызывающим названием «Была ли в России революция?» писал: «Г. Ленин счел возможным заявить, что в конце февраля в России была революция буржуазная, свергнувшая царизм, а в конце октября произошла революция социалистическая, свергнувшая буржуазию, т.е. процесс, который у западных передовых народов совершается столетия, в отсталой России произошел в несколько месяцев». Произошло восстание масс вопреки марксистской науке, а во главе восстания, как и предсказывал Лебон, встал безумный вождь: «Чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия»². Стоит привести знаменитые слова Василия Розанова: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. <...> Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса»³. «Что такое совершилось для падения Царства? <...> Буквально, Бог плюнул и задул свечку»⁴. Розанов логики в падении Царства не видел. Плевок, словно жест безумного юродивого. **Возможно, безумие и вправду понятие, требующее дальнейшего осмысления, ибо оно есть факт проживания человечества в этом мире**, более того, правит им, формирует линии силового поля, которое структурирует людские массы. Только, к сожалению, является оно чаще на историческую сцену в маске Разума.

¹ Трубецкой Е. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 323.

² Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 386.

³ Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2016. С. 172.

⁴ Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, Калуга-Марс, 1924. С. 40.

¹ Солженицын А.И. Размышления над февральской революцией. Черты двух революций. М.: Колибри, 2016. С. 9–10.

² Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2016. С. 173.

³ Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 6–7.

⁴ Там же. С. 10.

Война и безумие как катализаторы крушения Российской империи

В культуре и философии существуют диалектические пары: Добро и Зло, Свет и Тьма, Мир и Война, Бог и Сатана, Христос и Антихрист. И т.д. Думаю, что для интеллектуального прояснения некоторых исторических ситуаций имеет смысл обратить внимание на пару Разум и Безумие. Обычно безумие рассматривается в контексте бытования человеческой особи. Но история показывает и социальные движения, влекомые безумием. Речь, разумеется, идет о движении масс, ибо разум — это достояние личности. Апостол Иоанн писал: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум» (1 Ин. 5, 20). Ибо, как было сказано еще древними, кого Господь хочет погубить, того Он лишает разума. И лишённые света и разума люди уничтожали носителей разума под разными предлогами. Чтобы в мире угас свет и воцарился древний ужас. Начиная с рубежа XIX и XX веков Бог, свет и разум стали не в фаворе по всей Европе. Артур Кёстлер написал в своей автобиографии: «Я родился в тот момент (1905 г. — В. К.), когда над веком разума закатилось солнце»¹.

В конце XVIII века гениальный испанец Гойя создал серию офортов «Капричос», где центральной была картина, изображавшая спящего человека, которого окружают монстры и чудовища, с знаменитой подписью «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ».

Франсиско Гойя.
Сон разума рождает
чудовищ. 1797



Разум не раз засыпал в истории, а чудовища выходили наружу и творили бесконечные злодеяния. Гойя оказался провидцем, точнее сказать, мыслителем, видевшим ущербность бытия. Бунин назвал революцию «великим дурманом». Ужас войн и революций говорит о тотальном исчезновении разума, или, если угодно, его засыпании.

С началом Первой мировой войны все разумные нормы перестали существовать, ибо именно война порождает безумие.

Война

Европа пережила очень много войн. Еще Гераклит писал: «Должно знать, что война общепринята, что вражда есть закон (δίκη), и что все возникает через вражду и взаимообразно»¹ (80 DK). «Война (Полемос) — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными» (53 DK)². Из войн возникали перевороты и революции, как прави-

¹Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.: Наука, 1989. С. 201.

²Там же. С. 202.

¹ Koestler A. Arrow in the blue: an autobiography. New York. 1952. P. 9.

ло, чем разрушительнее была война, тем разрушительнее следующая революция. Ханна Арендт писала в своей книге «О революции», что эта связь особенно ясно проявилась в Новое время: «Война и революция до сих пор составляют две центральные темы политической жизни XX века»¹. Но проблемы войны — злое наследие человечества. **Через эпоху варварства и дикости прошли все культуры.** Выдающийся австрийский этолог Конрад Лоренц отмечал, что «более чем вероятно, что пагубная избыточная агрессивность, которая еще и сейчас сидит у нас, людей, в крови, как дурное наследие, является результатом внутривидового развития, действовавшего на наших предков десятки тысяч лет на протяжении всего палеолита. Едва лишь люди продвинулись настолько, что смогли благодаря оружию, одежде и социальной организации в какой-то степени избавиться от угрожавших им внешних опасностей, — голода, холода и нападений крупных хищников, так что эти опасности утратили роль существенных факторов отбора, — тотчас же по-видимому в игру вступил пагубный внутривидовой отбор. Отныне движущим фактором отбора стала война»². Регулятивы цивилизации ломались под натиском безумия.

Как писал из действующей армии в Первую мировую Федор Степун: «Помнишь наши споры? Я всегда утверждал, что понимание есть по существу отождествление. Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно или телесно — сумасшедшим и мертвецам»³. Вспоминая первые дни войны, Троцкий приводит слова австрийского социалиста Фридриха Адлера: «На улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие, это их время. Убийство Жореса — только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия»⁴. В августе 1917 года блистательная Зинаида Гиппиус заносит в свой дневник: «Одно, что имеет смысл записывать — мелочи. Крупное запишут без нас. *А мелочи — тихие, притайные, все непонятные. Потому что в корне-то лежит Громадное Безумие*»⁵.

Таково было ощущение людей, выпавших из толпы, чувствующих свою личность.

Об этом и стихи князя Владимира Палея из действующей армии:

¹ Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. С. 5.

² Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. С. 124.

³ Степун Ф. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: Водолей, 2000. С. 190.

⁴ Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. С. 230.

⁵ Гиппиус З. Дневники. Минск: Харвест, 2004. С. 30.

Мы докатились до предела
Голгофы тень побеждена:
Безумье миром овладело —
О, как смеется сатана.

Действующая Армия.
Сентябрь 1915 г.

Война как безумие. Путь к революции

Все разумные нормы перестают существовать, война порождает безумие. В войну исчезает личность. В рассказе Гаршина о балканской войне есть такие слова: «Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий» («Из воспоминаний рядового Иванова», 1882). Показано, как массу влечет неведомая, почти магическая сила. В этой массе индивид не различим. Леонид Андреев в повести «Красный смех» (реакция на Русско-японскую войну) прямо писал, что война рождает не просто сумасшествие, а сумасшедших в медицинском смысле слова:

«— Много раненых? — спросил я. Он махнул рукой. — Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

— Настоящих?

— А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара. — Перестаньте, — сказал я, отворачиваясь.

— Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное».

Состояние человека во время войны Леонид Андреев определил двумя словами, которые рефреном проходят через весь текст: «...безумие и ужас». Задумав издать повесть отдельной книгой, Андреев хотел иллюстрировать ее офортами Гойи из двух циклов — «Капричос» и «Бедствия войны». Зато Ленин, как пишет француз-

ская исследовательница, увидел в войне шанс на революцию: «В 1905 году Ленин с завидной проникательностью понял, что неудачная война может вызвать революцию. Затянувшаяся Первая мировая война дала ему другой источник воодушевления, весьма чуждый марксизму. Ленин почувствовал, что игра на национальных амбициях может стать лучшим орудием всеобщей победы пролетариата»¹.

И это не случайно: долголетняя война меняла психологию людей, даже в каком-то смысле антропологию. Бердяев писал: «Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Ни малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, готовившей революцию. Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры»². Но где же были старые интеллигенты, тоже готовившие революцию и свержение императора, но не принимавшие торжества охлоса? Кого-то перековали народные массы, прошедшие войну. Ведь на войну списывали наступившую жестокость революции, которую многие хотели видеть бескровной. Писатель-историк Марк Алданов констатировал: «На трудном пути революции одни заблуждались меньше, другие больше. <...> Но и без тысячи ошибок над всеми неумолимо висел и висит рок великой войны»³. Но многие из них были в оторопи: не такой революции они ждали и хотели. Однако против них сыграл еще и закон поколений. Тема отцов и детей не случайна в культуре.

«Борьба с отцами и дедами относится, по существу, к революционной психологии»⁴, — писал Федор Степун, рассказывая, как большевики расправлялись с прямыми своими предшественниками.

Питирим Сорокин видит у новых революционеров, лидеров толпы, не только вражду к буржуазии и самодержавию, но ненависть к старым революционерам, которые пролагали путь (вроде Герцена, который своим «Колоколом» будил живых, но разбудил нежить) безумцам, считавшим себя обладателями истины, последнего слова науки, а потому готовыми на любое преступление. «По отношению к таким страдалцам за дело революции, как Брешковская и Чайковский, раздавались эпитеты “предатели” и “кон-

трреволюционеры”. Вскочил Савинков и закричал: “Да кто вы такие, чтобы обращаться к нам подобным образом?! Что вы, бездельники, сделали для революции? Ничего. А эти люди, — указал он на нас, — сидели в тюрьмах, голодали и мерзли в Сибири, не рисковали жизнью. Это я, а не кто-нибудь из вас, бросил бомбу в царского министра. Это я, а не вы, выслушал смертный приговор от царского правительства. Да как вы смее обвинять меня в контрреволюции? Кто вы после этого? Толпа глупцов и бездельников, замысливших разрушить Россию, уничтожить революцию и самих себя!”

Эта вспышка повлияла на толпу. Но, очевидно, все великие революционеры сталкиваются с такой трагической ситуацией. Труды и жертвы их забываются. Их считают реакционными или как минимум несовременными.

— Думали ли вы когда-нибудь о себе как о реакционном контрреволюционере? — спросил я Плеханова.

— Если эти маньяки — революционеры, то я горжусь, что меня называют реакционером, — ответил основатель партии социал-демократов.

— Берегитесь, господин Плеханов, — сказал я, — в конце концов вас арестуют, как только эти люди, ваши же ученики, станут диктаторами.

— Эти люди стали даже большими реакционерами, чем царское правительство, так что чего еще мне ждать, кроме ареста? — с горечью ответил он¹.

Кто же виноват в этом массовом помутнении рассудка? Разумеется, не один человек, не один мыслитель, не некое настроение умов, создававшееся не одно десятилетие, создававшееся поначалу как игра ума, но выплеснувшееся вдруг в жизнь. Человечество уже несколько тысячелетий стоит перед проблемой «кто виноват». Кто виноват в зле мира, в катастрофах, несчастьях, злодействах, разбитых жизнях? Бог? Дьявол? Устроенный Богом мир? («Я не Бога... я мира, им созданного, не принимаю», — бормочет Иван Карамзов). Мировой ли разум Гегеля, в сущности, философский псевдоним Господа? Или сам человек? А Бог ведь в конце пути обещает всеобщую гармонию? Кто же бунтует против нее? Получается, что человек, не способный осознать своим «евклидовым умом» грядущий результат и потому пытающийся строить свой новый мир. Августин твердо снимал с Бога те грехи, которые сам совершал в жизни, ибо Бог дал ему свободу. А стало быть, и ответственность за себя.

¹ Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М.: Моск. рабочий, ТЕРРА, 1992. С. 91.

¹ Каррер Д'Анкос Э. Ленин. М.: РОССПЭН, 2002. С. 140.

² Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 230.

³ Алданов М. Армагеддон. М.: НПК интелвак, 2006. С. 111.

⁴ Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 623.

Безумие и революция. Появление безумного вождя

Революционный 1917 год, начиная с февральской катастрофы, заменил разум безумием, как структурообразующей линией в развитии истории. А разум то ли исчез, то ли заснул. И возникло у людей одаренных чувством истории ощущение разверзшейся бездны. Но большинство творцов русской революции, потеряв свет разума, как в картине Брейгеля слепые, шли к пропасти. Приведу слова великого русского философа Семена Франка: «Настала пора безумия, в течение которой охватившее всех на несколько дней настроение радости и надежд сразу же стало отравляться жутким ощущением надвинувшейся анархии; чернь, расхватывавшая разбросанное по городу оружие, солдаты, нагло разгуливавшие с сознанием совершенного ими “геройства” революции, освободившего их и от страха наказания, и от обязанности служебной дисциплины, страшные вести о зверских убийствах в Финляндии матросами офицеров — все это создавало неотразимое впечатление, что Россия катится в бездну»¹.

Массовые злодеяния возможны только с тотальной утратой понимания сложности жизни, в состоянии безумия. А безумие беззаботно и бесппроблемно, ему все ясно, как и мифу. Напомню стихотворение Федора Тютчева «Безумие»:

Там, где с Землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными глазами
Чего-то ищет в облаках.

Суханов, ругавший Струве за далекость от революции, вдруг почти на той же странице приводит его слова о безумии творимого массами нового мира: «Мы живем в каком-то сумасшедшем доме, где здоровые, честные и нормальные люди исходят в борьбе с буйными большими, систематически подстрекаемыми к нелепым самоубийственным действиям»². Тема сумасшествия, безумия — тема русской литературы, но в этой теме звучит еще мотив, мотив мании величия.

¹ Франк С.Л. Воспоминания о П.Б Струве // Франк С.Л. Непрочитанное. М.: Московская школа политических исследований. 2001. С. 481.

² Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 3. М.: Республика, 1992. С. 254—255.

Уже с XIX века русская художественная литература описывает как проблему русской культуры манию величия. Назову хотя бы два великих произведения: «Записка сумасшедшего» Гоголя и «Палату № 6» Чехова. А к концу XIX века художественная элита сама стала испытывать манию величия. Причем *великих* стало много.

Вот Брюсов, лидер символистов до революции, потом будущий литературный цензор при большевистской власти, мыслил себя владыкой всех государей:

Кто превзойдет меня? кто будет равен мне?
Деянья всех людей — как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах — как детская забава.
Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоён,
Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон.
Валерий Брюсов, 1897

А в 1914 году замах мании величия уже на всю вселенную, это Маяковский:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

В те же годы появились и повелители мира. Например, Велимир Хлебников — 1913 год. Ведь Вели-мир — это повелевающий миром. Имя при рождении (1885) было простое: Виктор Владимирович Хлебников.

Я просто снял рубашку,
Дал солнце народам — Меня!
Гольй стоял около моря.
Так я дарил народам свободу.
«Я и Россия», 1921

Лидером и будущим хозяином страны ощущал себя и Ленин. Степун замечал: «Как прирожденный вождь он инстинктивно понимал,

что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции, он сразу же овладел ее верховным догматом — догматом о тождестве разрушения и созидания и сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра, хотя бы в целях наиболее правильного разрешения вопроса. На этом внутреннем понимании зудящего “невтерпеж” и окончательного “сокрушай” русской революционной темы он и вырос в ту страшную фигуру, которая в свое время с такой силою надежд и проклятий приковала к себе глаза всего мира»¹.

Отсюда и его жесткость. Скажем, Троцкий вспоминал о реакции Ленина на отмену смертной казни солдат-дезертиров: «— Вздор, — повторял он. — Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?»²

Стоит нарисовать некую общую политическую расстановку сил, в которой оказалась Россия и деятели ее революции. Шла страшная мировая война, по масштабам и количеству погибших первая такая в истории человечества. Россия оказалась в центре интересов крупнейших европейских стран — Англии, Франции и Германии. Каждая из стран, наподобие Шейлока, хотела вырезать у России свой кусок мяса. Франция и Англия (Антанта) перетянули Россию на свою сторону против Германии, хотя великий политик Столыпин считал, что России никогда не надо надеяться на Англию. Но царь Столыпина «сдал», снял у премьер-министра охрану, и он тут же был убит.

Макс Вебер писал о русском императоре: «Главную тут роль играло его пагубное и необоснованное желание править самому. Но такой монарх как царь, может делать вид, что действительно правит сам только в том случае, если какой-то чрезвычайно одаренный государственный деятель помогает ему создавать эту видимость. Царь совсем потерял бы ориентацию уже во время предыдущей (1905. — *Ред.*) революции, после того, как он из ревности и тщеславия уволил графа Витте, если бы рядом с ним не появилась бы (против всех ожиданий) адекватная ситуации фигура Столыпина, которому царь безоговорочно доверился. Без такого опорного помощника неу-

странимый дилетантизм царя и его беспорядочное и непредсказуемые вмешательства (даже если бы он был куда более одаренным) сделали бы невозможным целенаправленную политику и поставили бы на карту само существование страны и Короны»¹.



Петр Аркадьевич Столыпин.
1908

Император, отдаляясь от Столыпина, твердил, что Столыпин заслонял его собой, отбирая себе значение устроителя России, о чем твердят все газеты. На это новый премьер-министр В.Н. Коковцев ответил, что Столыпин не заслонял императора, а умер за него². О том, что Столыпин пожертвовал своей жизнью за империю и императора, было сказано сразу после смерти премьера: «У изголовья сидела вдова покойного, Ольга Борисовна Столыпина, в белом больничном халате. Когда государь вошел в комнату, она поднялась и громким голосом, отчеканивая каждое слова, произнесла ставшую известной фразу: “Ваше Величество, Сусанины не перевелись еще на Руси”»³. Иными словами, жизнь и смерть Столыпина была сразу поставлена в событийный ряд исторических мифов. Второго Столыпина или Витте в империи не нашлось. Все остальные лишь подтачивали империю — и госдума, и либеральные политики, не говоря уж о радикалах.

Столыпин предупреждал царя о нежелательности союза с Британией, говоря, что исторически Германия более выгодный союзник. Но император простодушно последовал просьбе английского кузе-

¹ *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IX // *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 342.

² *Троцкий Л.Д.* О Ленине // *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. С. 213.

¹ *Вебер М.* О России. М.: РОССПЭН, 2007. С. 110–111.

² См.: *Сидорович Г.П.* П.А. Столыпин: Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862–1911). М.: Поколение, 2007. С. 625.

³ *Коковцев В.Н.* Из моего прошлого (1903–1919). Мн.: Харвест, 2004. С. 427.

на и влез в страшную войну. Характерен ответный ход англичан, отказавших императору в приюте в момент смертельной для него опасности.

Керенский писал: «Уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы, *Временное правительство*, получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен.

Утверждаю, что если бы не было этого отказа, то Временное правительство не только “посмело” но и вывезло бы благополучно Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы вывезли его в самое тогда в России *безопасное место* — в Тобольск. Несомненно, что если бы корниловский мятеж или октябрьский переворот застали бы царя в Царском, то он бы погиб не менее ужасно, но почти на год раньше»¹.

Россия, как известно, о чем писал еще Монтескье может управляться лишь единодержавной волей. Маний величия было много, но верх взял абсолютно беспринципный безумец. Германия переиграла своих соперников, Англию и Францию, послав в Россию в запломбированном вагоне человека, готового принять любые условия и выполнить любые указания, совершить невиданные ранее злодеяния, чтобы получить власть. Напомню, что безумна была и толпа, на добрых 70 процентов состоявшая из вооруженных дезертиров, толпа, совершившая уже много преступлений и убийств, а потому желавшая большой кровью прикрыть предыдущие преступления. Так получилось, что вернувшись в Россию, он привез написанные в поезде так называемые «Апрельские тезисы», в которых мы в свое время видели одну основную мысль — о превращении войны империалистической в гражданскую для борьбы с отечественной буржуазией. Этот ужас в них тоже был, но было и другое, ради чего немцы провезли его в Россию. Но основная мысль была, что в мировой войне виновата не Германия, а Россия. Привыкшие к самобичеванию русские не увидели в этом элементарного военного предательства. Да оно и не было элементарным. Призыв брататься с немцами — это ход к завершению войны, но и предательство Антанты и Временного правительства. Впрочем, для Ленина Временное правительство — это препятствие на пути к власти, которое надо устранить.

Поразительно, что безумным его называл сначала лишь Плеханов в связи с его «Апрельскими тезисами». Говоря о бреде ленинских тезисов, Плеханов сравнил его с героем гоголевских «Записок

сумасшедшего» — Поприциным: «Возьмем “Записки титулярного советника Авксентия Ивановича Поприщина”.<...> То же и с тезисами Ленина. Читая их, сожалеешь о том, что автор не изложил их гораздо подробнее. Это не значит, конечно, что я ставлю Ленина на одну доску с Гоголем или с Чеховым. Нет, — пусть он извинит меня за откровенность. Он сам вызвал меня на нее. Я только сравниваю его тезисы с речами ненормальных героев названных великих художников и в некотором роде наслаждаюсь ими. И думается мне, что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин.

“Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает, что такое”.

Мы увидим, что именно при такой обстановке, то есть при полном отвлечении от обстоятельств времени и места, написаны тезисы Ленина. А это значит, что совершенно прав был репортер “Единства”, назвавший речь Ленина бредовой». И далее: «Война является грабительской, империалистской войной *со стороны России*. А как обстоит дело *со стороны Германии*? Об этом у Ленина не сказано ничего. Но если со стороны одного из двух сталкивающихся между собой лиц проявляется грабительское намерение, то весьма естественно предположить, что другое лицо рискует быть ограбленным. Выходит, что Германия подверглась опасности быть ограбленной Россией. А если это так, то русскому пролетариату нет никакой необходимости деятельно участвовать в нынешней войне». И заключает: «Но я твердо уверен в том, что этого не будет, и что в призывах Ленина к братанию с немцами, к низвержению Временного правительства, к захвату власти и так далее, и так далее наши рабочие увидят именно то, что они представляют собой в действительности, то есть — *безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту на Русской Земле*»¹.

Стоит привести строчки Гоголя, дающие представление о мании величия, которую увидел Плеханов в тезисах Ленина: «Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною всё открыто. Теперь я вижу всё как

¹ Плеханов Г.В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен // Революция 1917 года глазами ее руководителей. М.: Центрполиграф, 2017. С. 105–107, 114.

¹ Керенский А.Ф. Издалёка. Дневник политика // Керенский А.Ф. Дневник политика. М.: Интелвак, 2007. С. 300–301.

на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде всё было передо мною в каком-то тумане. И это всё происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях».

Классика всплывала в сознании делателей революции. Но в том же 17-м году Мандельштам написал о жизни как бреде, призывая древнюю чуму как разрешительницу нынешних противоречий, страшные стихи:

Но если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома, —
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!

Новая война и массовый суицид народа (Булдаков)

«Общество всегда охотно осуждает убийц, оплакивает их жертв, но суеверно шарахается от анализа поступков самоубийц. Поведение последних пугает куда больше, ибо за ним кроется генетически обусловленная суицидальность человека. Революцию можно рассматривать как массово-историческое проявление этой склонности»¹. Суицидальность была у либералов, а у наступавшего охлоса была необузданная злость и стремление унижить оппонентов, пока нет возможности убить. Хотя и убивали. «Человек с ружьем», как нежно называл дезертиров Ленин, постоянно держали русскую интеллигенцию в прорези прицела. Под стать жестокости и безумию вождя были и его сподвижники.

Удивительно, как точно угадал Достоевский в «Бесах» безумие бала «ради гувернанток нашей губернии». Замысливавшийся как культурный вечер европейского типа, который почти сразу перерос

¹ Булдаков В.П. Красная смута. М.: РОССПЭН, 1997. С. 6.

в гнусный дебош с дикими криками, похабщиной и т.п. Примерно так же прошел первый день самого европейского за всю историю России Учредительного собрания, где хулиганили и неистовствовали люди образованнее и интеллигентнее. Вот мемуарное свидетельство: «Стенографический отчет отмечает кратко и сдержанно: *Шум слева*. Голоса: “Долой”. “Самозванец”. Продолжительный шум и свист слева. На самом деле было много ужаснее, гнуснее и томительнее. С выкриками и свистом слились вой и улюлюканье, топание, хлопанье пюпитрами и по пюпитрам. Это была бесновавшаяся, потерявшая человеческий облик и разум толпа. Особо выделялись своим неистовством Крыленко, Луначарский, Степанов-Скворцов, Спиридонова, Камков. Видны открытые пасти, сжатые и потрясаемые кулаки, заложенные в рот для свиста пальцы. С хор усердно аккомпанируют. Весь левый сектор являл собою зрелище бесноватых, сорвавшихся с цепи. Не то сумасшедший дом, не то цирк или зверинец, обращенные в лобное место»¹. Замечу, что в сознании советской интеллигенции, например, Луначарский воплощал в себе хранителя культуры. А Скворцов-Степанов — лучший переводчик экономических трудов Маркса, историк, первый министр финансов у большевиков. Трудно представить их бесами, носителями дьявольского безумия, однако слова из этой песни не выкинешь.

Надо подчеркнуть, что революцию делали и власть устанавливали вооруженные люди. В первый и последний день Учредительного собрания вооруженные солдаты и матросы грозили делегатам пристрелить их и держали на прицеле, обстановка, скажем, не для политических дискуссий. Поэтому мне хотелось бы привести весьма точные слова Евг. Трубецкого: «Несмотря на лицемерный пацифизм большевизма, война составляет его сущность, его душу. У него нет никакой другой программы, кроме войны против имущих классов, и никакого иного способа действия, кроме вооруженного насилия»².

Начало апокалипсиса (соединение войны и безумия)

Василий Розанов на следующий год революции писал страшную книгу: «Мною с 15 ноября будут печататься двухнедельные или еже-

¹ Вишняк М.В. Созыв и разгон Учредительного собрания // Революция 1917 года глазами ее руководителей. М.: Центрполиграф, 2017. С. 313–314.

² Трубецкой Е. Великая революция и кризис патриотизма // Трубецкой Е. Смысл жизни. М.: АСТ, 2000. С. 563.

месячные выпуски под общим заголовком: “Апокалипсис нашего времени”. Заглавие, не требующее объяснения, ввиду событий, носящих не мнимо апокалипсический характер, но действительно апокалипсический характер. Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясено, все потрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания»¹.

Вообще, XX век — век торжества мифологического сознания. Самые разительные примеры такого господства — нацистский и коммунистический мифы. М.К. Мамардашвили называл это господством «алхимической идеи»². Я хотел бы предложить свое, рабочее толкование мифа. Оно мне важно, ибо помогает мне рассуждать в пределах той проблематики, которой я занимаюсь. Миф, на мой взгляд, **это воображаемое представление о реальности, которое воспринимается как реальность**. Но, как писал Пауль Тиллих, «Величие Вселенной состоит в ее силе сопротивляться постоянно грозящему хаосу, ясное осознание которого заключено в мифах (включая и библейские повествования)»³. Мифы необходимо ясно осознавать, тогда уходит хаос.

Мы могли не принимать идеи советского социализма, это было воображаемое представление о реальности, которое все жители страны были обязаны воспринимать, а многие и воспринимали, как самую что ни на есть реальность. Мы жили вне истории, ибо миф не знает истории, его время — вечность, он цикличен. Но еще стоит отметить одну важную особенность мифа, которая понятна прошедшим советскую жизнь, о которой написал М.К. Мамардашвили: «Миф, ритуал и т.д. отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала есть такой мир, в котором нет непонятого, нет проблем. А когда появляются проблемы и непонятное — появляются философия и наука»⁴. «Клячу истории загоним», — писал Маяковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из «царства необходимости» в «царство свободы». На самом деле историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось:

¹ Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 5.

² Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995. С. 113.

³ Тиллих П. Систематическая теология. Т. 3. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 84.

⁴ Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию. М.: Лабиринт. 1996. С. 13.

уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс. Те деспотии, которые вернулись к мифологическому сознанию, выпали из исторического поля. Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отгородилась от истории.

Что же можно противопоставить мифу? Миф делает мир беспроblemным. Каждое движение, каждый жест находится в мифологической системе. Очевидно только понимание того, что миф есть миф. Сделать мир непонятным. Тогда возникает поле для борьбы с мифом. Пусть снова зло будет называться злом, а не прятаться в мифологические одежды. Как писал великий современный поэт Наум Коржавин:

Мы были разбиты. В Москве и в Мадриде.
Но я благодарен печальной Планиде,
За то, что мы так, а не иначе жили,
На чем-то сгорели, зачем-то дружили...

...

Да! Зло развернется... Но, честное слово,
Наткнется оно на препятствие снова,
Схлестнется... И наше с тобой нетерпенье
Еще посетит не одно поколение.

...

Вновь будут несхожи мечты и свершенья,
Но будет трагедия значить движенье.
Есть Зло и Добро. И их бой — нескончаем.
Мы место свое на земле занимаем.



Наум Коржавин

На каждом историческом этапе человечество вынуждено снова и снова будить свой разум, чтобы не убаюкивать себя словами чудовищ, которые кружатся вокруг головы сонного мыслителя.

Революция как сон разума

Осмысливая большие социальные потрясения, можно увидеть, как в эти эпохи исчезает из общества разум, как он засыпает, как сон рождает чудовищ, которые требуют вожака. А вождь сообщает толпе, что все позволено, обещая сначала золотой сон, а затем золотой век. Гуссерль увидел первопричину европейского кризиса в закате разума. Революционный 1917 год в России, начиная с февральской катастрофы, поражает оцепенелостью сторонников власти, они словно заморожены неведомой силой. Наступил «оцепенелый покой» (Хайдеггер). Исчезает личность, исчезает разум, является масса. После отречения императора жившие «узкой действительностью настоящего» (Шопенгауэр), потерявшие способность рассуждать и оценивать последствия событий элитарные части русской армии, по наблюдению французского посла, шли присягнуть революционной власти, «названия которой они даже и не знали». Как понятно, разум уснул не только у власти, но и у ее противников. Наступил «великий дурман» (Бунин). Приехавшего в plombированном вагоне через враждебную Германию названного немецким шпионом, говорящего о необходимости гражданской войны Ленина практически зомбированные массы принимают с восторгом.

Напомню испанскую пословицу «Сон разума рождает чудовищ», которую использовал Гойя для названия одного из своих гениальных офортов в серии «Капричос». Там изображен заснувший у стола мыслитель, над головой которого кружатся летучие мыши, нетопыри и разные бесы, персонафицированные облики зла, или, точнее, воплощенное в их облике Ничто. Гойя сопроводил этот рисунок («Сон разума») следующим пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений». И в самом деле, если продолжить пословицу, то в ней сказано, что в момент сна необходима фантазия, которая поможет гению

создать нечто замечательное. Но Гойя, похоже, вполне сознательно словно забыл о фантазии, а в каждом из следующих офортов изобразил метафизические ужасы человеческой жизни.

Хайдеггер задавал вопрос: «Бывает ли в нашем бытии такая настроенность, которая способна приблизить к самому Ничто?». И сам отвечал на него: «Это может происходить и действительно происходит — хотя достаточно редко, только на мгновения, — в фундаментальной настроенности ужаса»¹. Это чувство стало определяющим в XX столетии. Не случайно Хайдеггер делает это понятие одним из основных в своей философской системе: «Ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хотя ужас это всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот определенной угрозы. И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить. <...> Ужасом приоткрывается Ничто»².

Ничто вело смертельную борьбу с людьми, вырезались целые поселения, уничтожались города, деревни, промышленность, нации, прежде всего евреи, родившие Спасителя, хотя апостол Павел сказал, что в христианстве несть ни эллина, ни иудея, а Иоанн утвердил: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум» (1 Ин. 5, 20). Ибо, как было сказано еще древними, кого Господь хочет погубить, того Он лишает разума. А лишённые света и разума люди изничтожали носителей разума под разными предлогами. Чтобы в мире угас свет и воцарился древний ужас.

Евангелие говорит о создании мира мыслью, то есть словом. Бог и есть слово, творящий разум. Напомню начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. <...> В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1: 1, 4). Свет был обращен ко всем людям, но избранных принявших свет было совсем немного. Начиная с рубежа XIX и XX веков Бог, свет и разум стали не в фаворе по всей Европе. Артур Кёстлер написал в своей автобиографии: «Я родился в тот момент (1905 г. — В. К.), когда над веком разума закатилось солнце»³. И вправду — недалеко уже было до большевизма, фашизма и национал-социализма.

Всю историю человечества мы видим, с каким невероятным усилием тянут эти избранные толпу к свету. Как писал прекрасный русский историк и писатель Марк Алданов: «Культурный прогресс сво-

¹ Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 20.

² Там же. С. 21.

³ Koestler A. Arrow in the blue: an autobiography. New York, 1952. P. 9.

дится к уменьшению разницы в умственном росте между “толпой” и “элитой”. Но это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня “элиты”. К сожалению, человечество в последнее время идет по второму пути много охотнее, чем по первому¹. Д.С. Мережковский писал, что обсуждать идеи большевиков и нацистов — все равно что обсуждать идеи саранчи; новое и важное у них это та *температура*, которую они создали.

Гуссерль именно в закате разума увидел первопричину европейского кризиса: «Чтобы постичь противоестественность современного “кризиса”, нужно выработать понятие *Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума*; нужно показать, как европейский «мир» был рожден из идеи разума, т.е. из духа философии. Затем “кризис” может быть объяснен как кажущееся крушение рационализма. Причина затруднений рациональной культуры заключается, как было сказано, не в сущности самого рационализма, но лишь в его *овнешнении*, в его извращении “натурализмом”. <...> Есть два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или же возрождение Европы в духе философии благодаря окончательно преодолевающему натурализм героизму разума»².

Но удар по идее разума был слишком силен, чтобы возрождение Европы состоялось, не пройдя муки ада. Гениальные философы Запада, как сетовал Томас Манн, сдали постыдно разум на милость иррационализма. Но милости со стороны иррационализма быть не могло. Лев Толстой заносил в дневник: «Читал Ницше “Заратустра” и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном»³. И добавляет, что, как во сне, очевидна у немецкого философа бессвязность, перескакивание с одной мысли на другую, сравнение без указаний того, что сравнивается, без конца перепрыгивание с одной мысли на другую по контрасту или созвучию. Любопытна невероятная любовь в России к двум безумным философам Запада — Ницше и Витгенштейну, который восхищался Сталиным и Иваном Грозным. Не говоря уж о том, что его знаменитый «Логико-философский трактат» очень напоминает попытку безумца собрать в ниточку разбega-

ющиеся мысли. Отсюда отказ от метафизики: «Мир распадается на факты»¹. Хотя мистики в трактате было немало. Недаром рефреном и завершением в трактате звучат слова: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»². Приведу слова одного из крупнейших нынешних знатоков австрийской философии: «Философия имеет у Витгенштейна терапевтическую функцию: терапия осуществляется путем составления точной карты языковых значений»³. Терапия не помогала и не помогла. В начале XX века удары по разуму усилились, хотя даже страшные войны были еще в пределах привычной исторической парадигмы.

Революционный 1917 год, начиная с февральской катастрофы, поражает оцепенелостью сторонников власти, они словно заморожены неведомой силой. После отречения императора будто не в своем уме, потерявшие способность рассуждать, элитарные части русской армии, по наблюдению французского посла, пошли присягнуть революционной власти, «названия которой они даже и не знали». После Февраля, когда стало понятно, что Временное правительство не владеет ситуацией, а Советы и большевики очевидно усиливаются, им не пытались противостоять. Военные говорили, что достаточно одного полка, чтобы разогнать бунтовщиков. Но воля властей была просто парализована. Их охватил, пользуясь выражением Хайдеггера, «оцепенелый покой». Пример — Верховный Главнокомандующий генерал Н.Н. Духонин, который вместо борьбы с большевиками оцепенело медлит, потом принимает условия Ленина о передаче власти прапорщику Н.В. Крыленко. Незадолго до приезда Крыленко, дабы не пролилась кровь, он отпускает верные ему войска во главе с командирами ударных батальонов, которые вполне могли бы противостоять большевикам, еще не осознавшими всей полноты своей победы. В момент передачи документов он был растерзан матросами, которые потом почти сутки глумились над мертвым телом. В результате возникло у красных выражение: «отправить в штаб к Духонину», то есть расстрелять.

Это было своего рода оцепенение ума, разум сменился безумием, как структурообразующей линией в развитии истории. Ведь основное отличие разума человека от, скажем, ума животного это умение видеть ситуацию во времени и в пространстве, умение выйти за пределы факта. Стоит вспомнить любимого философа Льва Толстого — Шопенгауэра, писавшего: «Мы заметили в общих чертах,

¹ Алданов М. Картины Октябрьской революции. Исторические портреты. Портреты современников. Загадка Толстого. СПб.: РХГИ, 1999. С. 234.

² Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 115.

³ Толстой Л.Н. [Из дневника, 29 декабря 1900] // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. XXII. С. 128–129.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Канон+, 2008. С. 36.

² Там же. С. 218.

³ Жеребин А.И. Вертикальная линия. Венский модерн в смысловом пространстве русской культуры. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова. 2011. С. 345.

как сильно отличается человек от животного в своей деятельности и поведении, и мы видели, что это различие надо считать лишь результатом присутствия в сознании абстрактных понятий. Влияние их на все наше существо столь глубоко и значительно, что оно до известной степени ставит нас в такое же отношение к животным, в каком зрячие животные находятся к не имеющим глаз (некоторые личинки, черви, зоофиты): последние познают на ощупь только то, что находится в пространстве непосредственно около них, соприкасается с ними; для первых, напротив, открыт широкий круг близкого и дальнего. Точно так же отсутствие разума ограничивает животных непосредственно имеющимися у них в данный момент наглядными представлениями, т.е. реальными объектами; мы же, наоборот, в силу познания *in abstracto*, кроме узкой действительности настоящего охватываем еще и все прошлое и будущее вместе с широкой областью возможного: мы свободно обзираем жизнь по всем направлениям, выходя далеко за пределы настоящего и действительного»¹.

Именно это умение выйти за пределы настоящего вдруг исчезло. И возникло у людей, одаренных чувством истории, ощущение разверзшейся бездны, «срыв в преисподнюю небытия»², по выражению Ф. Степуна.



Военная
фотография
1915 года

А преисподняя — это то место, где угасает божественный свет разума. Навсегда или нет — трудно судить. Но большинство творцов русской революции, потеряв свет разума, как слепые в картине Брейгеля, шли к пропасти. Приведу слова великого русского фи-

¹ Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М.: Московский клуб, 1992. С. 120–121.

² Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 248.

лософа Семена Франка: «Настала пора безумия, в течение которой охватившее всех на несколько дней настроение радости и надежд сразу же стало отравляться жутким ощущением надвинувшейся анархии; чернь, расхватывавшая разбросанное по городу оружие, солдаты, нагло разгуливавшие с сознанием совершенного ими “геройства” революции, освободившего их и от страха наказания, и от обязанности служебной дисциплины, страшные вести о зверских убийствах в Финляндии матросами офицеров — все это создавало неотразимое впечатление, что Россия катится в бездну»¹. Животное, по словам Шопенгауэра, не может сойти с ума, поскольку не имеет разума. А у людей разум мог заснуть.

Массовые злодеяния возможны только с тотальной утратой понимания сложности жизни, в состоянии безумия. А безумие беззаботно и беспроблемно, ему все ясно, как и мифу. Напомню стихотворение Федора Тютчева «Безумие» (1829):

Там, где с Землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Земля обгорела, а безумие веселится. Строчки страшноватые. Бог дал свет и разум. Разум не возражает безумию, он спит. Хотя бывает и страшнее: как писал Степун, в революциях сам разум сходит с ума. И превратившиеся в чудовищ люди потрясают нас. Потеря света и нравственности ведет к суициду, к самоубийству, ибо утерян критерий здоровой жизни. Революция по сути дела предполагает массовый суицид, ибо безумие стало массовым. XX век не раз определялся как век массового безумия, коллективного психоза. Словно исполнились мрачные предчувствия Достоевского: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» («Преступление и наказание»).

Индивид боится потерять разум, ибо боится потерять свет. Пушкин писал:

Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!

¹ Франк С.Л. Непрочитанное. С. 481.

Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Для толпы гений – сумасшедший, безумец, все пророки – безумны. Но пророк – это посланец Божий, то есть послан Высшим Светом. А вот толпа боится света. И нападает на разум, носителю разума в этом мире – всегда горе («горе от ума», как написал русский поэт). Как получилось так, что безумной стала масса? Но задумаемся: может, так было всегда? «Святая простота», подкидывавшая дровишек в костер, на котором сжигали мудреца, существовала всегда. Просто этой «святой простоты» стало слишком много. Толпа легко теряет свет, разум ее засыпает. Наступает тьма разума. А мир и без того, как сказал апостол, во тьме лежит. Тьма порождает безумный страх. Свет, конечно, по словам Евангелия, и во тьме светит, и тьма не объяла его. Но этот свет не более чем надежда.

В 1895 году Горький написал «Песню о Соколе». Там звучали страшные и бессмысленные слова: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время – и капли крови твоей горячее, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!». Восторг радикальной молодежи можно вообразить, хотя сегодня после десятка школьных пародий и «Сокол» и «Буревестник» вызывают только иронию. Но тогда Горький буквально задавил своей энергетикой читающую Россию. Хотя были сравнительно трезвые голоса, но принадлежали они тем критикам, которых называли реакционерами. Резко написал об этих текстах друг Чехова критик Михаил Меньшиков, расстрелянный большевиками после революции. Он писал: «Эта “Песня о Соколе” очень многим нравится, многие из молодежи от нее в восторге. Но мне эта вещь кажется необыкновенно фальшивой и слабой. Не говоря о том, что она плохо написана, кричащими красками, – она насквозь фальшива по нравственному замыслу. Хороша аллегория – лететь к небу, чтобы там подраться, раскровянить и себя, и врага, повишипывать перья друг у друга, поломать крылья! Прежние поэты небу давали другое употребление. Вспомните: “По небу полноточи ангел летел и тихую песню он пел”. Та старая песня была не о Соколе или другой птице, а о “Боге великом...” Маленькая разница! Современный поэт заменяет ангела хищной птицей и поет “безумство храбрых”. Но даже и с птичьей точки зрения – в чем же хра-

брость безумного Сокола? Как известно, соколы нападают не Бог весть на каких страшных врагов – всего лишь на диких уток, гусей, куропаток и т.п. По аллегории г. Горького выходит, что утки и куропатки тиранят соколов, и тем приходится отстаивать свою свободу и “жажду к свету”. Забавно это очень. Но публика и молодежь не замечают комических черт “Песни” и бешено аплодируют ей, когда слышат со сцены. Тут, видите ли, “борьба”, а уж если борьба, то все равно для какой цели и какими средствами – от одного звука “борьба” в кое-каких слоях принято приходиться в восторг¹».

С легкой руки Горького в пьесе «На дне» (1902) устами актера, процитировавшего стих Беранже, его строчки в каком-то смысле определили духовное состояние эпохи.

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет –
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

К правде святой дороги не нашли, но появился безумец, который навеял сон золотой, назвав его научной истиной по Марксу. Наука ведь истина мира сего. И толпа пошла за ним. Ленин полагал, что учение Маркса всесильно, а потому рассчитано на века. Более того, с победой марксизма история мира сего завершится. А потом наступит царство свободы, когда времени не будет. Но время есть, и пока есть Бог, история длится. Очевидно, прав Василий Розанов: «Евангелие бессрочно. А все другое срочно – вот в чем дело»². Но сонный бред о преодолении истории был («Клячу истории загоним», – писал Маяковский), и имя Маркса наполнилось невиданными энергиями. Социалистическое дело – разумно, считал Степун, а здесь, в России, произошло противное разуму: «Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи сходит с ума сам разум»³ (разрядка моя. – В. К.).

В одной из последних повестей Герцена «APHORISMATA, сочинение ученика доктора Крупова прозектора Тита Левиафанского» (очевиден намек на Гоббса), написано: «Умом и словом человек отличается от всех животных. **И так, как безумие есть творчество ума,**

¹ Меньшиков М. Красивый цинизм // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С. 450.

² Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй // Розанов В.В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 611.

³ Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 386

так вымысел — творчество слова. Одно животное пребывает в бедной правдивости своей и в жалком здравом смысле»¹.

Русские мыслители видели этот катастрофизм безумия, может, и не раньше Запада, но социально точнее. Война с Японией вызвала к жизни у Леонида Андреева образ «красного смеха», вырастающего из безумия и ужаса. И вот еще не началась Первая мировая война, а в 1910 году Лев Толстой уже писал: «...для меня стало очевидно, что большинство человечества, в особенности христианского мира, живет в наше время жизнью прямо противоположной и разуму, и чувству, и самым очевидным выгодам, удобствам всех людей — находится в состоянии, вероятно, временного, но полного сумасшествия, безумия. <...> Казалось бы ясно, что миллионы людей, т.е. существ, одаренных разумом и нравственным чувством, не могут, не зная зачем и для чего, с готовностью на величайшие лишения всего дорогого людям, идти убивать тех неизвестных им людей, которых велит им убивать какие-то неизвестные им люди, называемые правительством»². Но идут, в этом ужас жизни массы.

Таким образом, безумие стало фактом жизни миллионов. Владимир Соловьёв написал в «Трех разговорах» на заре века (1900), что XX век будет веком невероятных мировых войн, катаклизмов, революций, что приведет к появлению антихриста. После двух мировых войн и пяти разрушительных революций: трех русских, итальянской (Муссолини), немецкой (нацисты, Гитлер) — состав мира конечно же изменился. Но эта перемена шла весь XX век. Камю в «Бунтующем человеке» как-то заметил о русских нигилистах, что по чердакам и подвалам, малозаметные, они готовили грядущие социальные катастрофы. Катастрофы, где «правый и виноватый погибли рядом!» Слово в колбах выращивались эти злые идеи-трихины, а в других колбах готовились бомбы, взрывавшие правопорядок. В стихотворении «Трихины» 1917 года Максимилиан Волошин, вспомнив Достоевского, написал:

Исполнилось пророчество: трихины
В тела и в дух вселяются людей.
И каждый мнит, что нет его правей.
Ремесла, земледелие, машины
Оставлены. Народы, племена
Безумствуют, кричат, идут полками,
Но армии себя терзают сами,
Казнят и жгут — мор, голод и война.

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: АН СССР, 1960. Т. XX (1). С. 117.

² Толстой Л. О безумии. URL: https://royallib.com/book/tolstoy_lev/o_bezumii.html (Дата обращения: 11.03.2019.)

Достоевский в сущности дал поразительно точное понимание безумия. Здоровьем заразиться нельзя, но безумие — это болезнь, заразная болезнь, превращающаяся временами в пандемию. Наиболее мудрые современники революций XX века поняли безумие как важнейший момент новой истории, сказав и о трудности исцеления. В 1939 году П.Б. Струве писал Франку о национал-социализме: «Я с самого начала понял, что со стороны немцев это не есть политика, а чистое безумие, индивидуальное и коллективное. И я, вследствие этого, принял в расчет безумие, так сказать, как важнейший исторический фактор. Исцеление от безумия — дело не легкое: оно будет стоить многих человеческих жизней и разбитых существований»¹.

Исторические катаклизмы будили безумие, им инициировались, его питали. Японская война, первая русская революция 1905 года, Первая мировая война, в которую втолкнул начинавшую набирать силы Россию последний царь, — все это будило худшие начала в человеке, усыпляя его разумное отношение к миру. Напомню наблюдение Бердяева: «Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Ни малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, готовившей революцию. Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашистский»². Национализм был подкладкой не только войны, но даже большевизма, который воспринимался как русский вариант марксизма. Он и породил русскую революцию. По словам Владимира Эрна, «время славянофильствовало»³, результат этого славянофильского воздействия на жизнь не заставил себя ждать, приведя к падению Российской империи. На арену истории вышли массы, очень поверхностно христианизированные, уж во всяком случае лишенные света христианского разума, не обладавшие нравственным императивом, данным Христом, может, и не знавшие о нем. Конечно, у массы были вожаки.

В книге «Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution» Степун как бы продолжал беседу со своим ближайшим другом дрезденских лет, великим теологом Паулем Тиллихом, который в своей работе 1926 года «Демоническое» писал о специфике демонических

¹ Франк С.Л. Непрочитанное. М.: Московская школа политических исследований, 2001. С. 532.

² Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 230.

³ Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 371.

стихий, которые могут вести к творчеству (как в эпоху Возрождения), а могут и к тотальному разрушению (в своем сатанинском обличье). Будучи убежденным рационалистом, Тиллих тем не менее как философ понимал, что если существует «рациональное», то по закону диалектики существует и его антиномия — «иррациональное», с которым он боролся. И, как он писал, в эпохи повышенного социально-религиозного брожения «демоническое так сближается с сатанинским, что вся его творческая потенция исчезает»¹. В книге Степуна о России тема простая — почему там победило демонически-сатанинское начало. Он пишет: «Привычная религиозная позиция была еще во всем ощутима, но все же сильнее было отрицание традиционного содержания. Время было религиозное и антихристианское одновременно, оно было в полном смысле слова демоническим. Из самого себя русское крестьянство эту демонию родить не могло. Но с Достоевского ясно, что замешанные в русскую революцию демоны не чужие и не анонимные силы»². Тиллих назвал одним из самых опасных демонов XX века — демона национализма. Демоны и впрямь были свои!

Как писал Элиас Канетти, осмысливая XX век, «масса живет простейшими мифологическими представлениями, простейшими потребностями, которые она желает осуществить (Еда, Любовь), но становится активной силой, когда попадает в силовое поле смерти. <...> Масса уже готова к бунту, но нужен вождь, человек, который способен сознательно перешагнуть запрет убийства»³. О механизмах власти написано немало. Но, пожалуй, текст Канетти можно сравнить лишь с одной книгой, написанной столь же свободно — и не как роман, и не как научное исследование. Я имею в виду «Государя» Макиавелли. Именно великий итальянец показал, что приход к власти любого государя (или вождя) требует массовых казней, ибо «гораздо надежнее внушать страх, чем любовь»⁴. Трактат Макиавелли похож на книгу рекомендаций, но по сути дела он был анализом эпохи.

Но кто может быть таким государем или вождем? Очевидно, прежде всего, — реальный уголовный преступник, т.е. не в юридической сегодняшней терминологии, а тот человек, который без колебаний переступает мистическую черту, отделяющую жизнь от смерти.

¹ *Tillich P. Das Dämonische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte* (1926) // *Tillich P. Ausgewählte Texte*. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. S. 142.

² *Stepun F. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution*. Bern; Leipzig. Gotthelf-Verlag, 1934. S. 20.

³ *Канетти Э. Масса и власть*. М.: Ad Marginem, 1997. С. 503.

⁴ *Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия*. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 407.

Таким был Чезаре Борджиа, которого приводит в пример Макиавелли. Именно о таком думал Достоевский, когда создавал Петра Верховенского из «Бесов». В народном восприятии прообраз Верховенского Сергей Нечаев воспринимался вполне в духе языческих поверий как олицетворение моровой язвы. Единственное, что отличало Нечаева от вождя массы, заключается в том, что масса была не готова. Как писал Пушкин о «пугачёвщине»: окраины волновались, не хватало вождя, он нашелся. Им оказался каторжник Пугачёв. Но всего более подходит на роль вожака человек, потерявший свет разума, то есть безумец. Трудно не согласиться с Гюставом Лебоном, что чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия. Как бы ни была нелепа идея, которую они защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя поколебать никакими доводами рассудка. Рождался страшный мир, и рождался он страшно. Чтобы достигнуть огромной власти, писал Бунин, нужна «...великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колению ходить в крови. Главное же надо лишить толпу “опиума религии”, дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? <...> Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографии снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! Соратники его, так те прямо пишут: “Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!”»¹. Характерно повторение Буниным определение революции — «великий дурман». То есть отсутствие сознания, наркотический сон.

Масса способна действовать без вожака, но, однако, недолго и бесцельно. Вспомним Февральскую революцию 1917 г., *когда вожди были в отсутствии*. Правда, устроение масс подействовало на правящую элиту и привело к отречению царя. Воцарился хаос. Хаосом воспользовались наиболее безнравственные деятели.

¹ *Бунин И. Великий дурман*. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 132.

Ленин писал, что в период после Февральской революции Россия стала самой свободной страной. На самом деле она стала самой неуправляемой.

Здесь стоит остановиться и повторить вопрос: а что же себе думала власть? Почему она на предприняла никаких решительных действий? Я бы добавил к характеристике охватившего страну безумия понятие — *оцепенелость*. В апреле с броневика произнес речь приехавший в запломбированном вагоне Ленин. Казалось бы, в состоянии войны толпа должна была растерзать потенциального немецкого шпиона. Но в ситуации полного безвластия сознание словно оцепенело, никто не понимал, что надо делать. И призыв Ленина к перерастанию буржуазной революции в социалистическую, а мировой войны в войну гражданскую мало кто понял. Словно животные, люди потеряли разум, и, если воспользоваться словами Шопенгауэра, их понимание стало ограничено имеющимися у них в данный момент наглядными представлениями, вообразить возможное будущее они уже не могли. Эта свобода и воля давала возможность безумным захватить власть, пусть их взгляд на мир и был безумным, но он был. А сон золотой, который обещали безумцы, вызывал воодушевление массы. Почему-то послефевральская ситуация в России напоминает мне рассказ Эдгара По «Система доктора Смоля и профессора Перро». Сюжет прост, но важен для моего изложения. В сумасшедшем доме эти два ученых мужа ввели «систему поблажек», чем воспользовались сумасшедшие, захватили власть, заперли врачей и санитаров в подвал и принялись изображать нормальных людей. Приехавший путешественник беседует с изображающим врача сумасшедшим и тот с хитростью безумца пересказывает как некую шутку то, что случилось в этом врачебном заведении. И так длится до того момента, пока один из якобы врачей не начинает свою речь. Он вскакивает на стол (или броневик, если угодно), далее цитата из Эдгара По: «Тем временем на главный обеденный стол вскочил, опрокидывая бутылки и стаканы, тот самый господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого поступка. Устроившись поудобнее, он начал произносить речь, и она, несомненно, оказалась бы блестящей, если бы только была малейшая возможность ее услышать. В ту же минуту человек, питавший пристрастие к волчкам, принялся с неисчерпаемой энергией кружиться по комнате, вытянув руки под прямым углом к туловищу, так что он, и правда, в точности походил на волчок и сшибал с ног всех, кто попадался ему на пути. А тут еще, услышав бешеное хлопанье пробки и шипение шампанского, я обнаружил в конце концов, что оно исходит от того субъекта, который во время обеда изображал бутылку этого

благородного напитка. Затем и человек-лягушка принялся квакать с таким усердием, как будто от каждого издаваемого им звука зависело спасение его души. Вдобавок ко всему, над этой дикой какофонией раздавался неумолкающий рев осла. Что касается моей старой приятельницы мадам Жуаез, то мне было от души жаль бедняжку, до того она была потрясена: она стояла в углу у камина и беспрерывно кукарекала во весь голос “Ку-ка-ре-е-е-ку-у-у-у!”».

Поразительно, что безумным Ленина называл поначалу лишь Плеханов в связи с так называемыми «Апрельскими тезисами», текст которых он увидел как парафраз чеховской «Палаты № 6» о сумасшедшем доме. Действительно перевод мировой войны в гражданскую, о которой мечтал и осуществил главный большевик, — это почти вампирическое упоение реками крови, которые должны пролиться. Сам Ленин, по воспоминаниям сестры, прочитав повесть Чехова, почувствовал себя запертым в этой палате, выскочил на улицу и бегал по улицам. Продолжая игру с этой темой, можно вообразить безумного доктора, вырвавшегося из палаты № 6 и всю Россию поместивший в эту палату, где сторож Никита жестоко избивал больных. Плеханов писал: «Кто-то из наших товарищей, оспаривавших тезисы Ленина на Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, напомнил ему глубоко истинные слова Энгельса о том, что для данного класса не может быть большего исторического несчастья, как захват власти в такую пору, когда его конечная цель остается недостижимой по непреодолимым объективным условиям. <...> Я твердо уверен в том, <...> что в призывах Ленина <...> к захвату власти и так далее, и так далее, наши рабочие увидят именно то, что они представляют собой в действительности, то есть — безумную и крайне вредную попытку посеять анархическую смуту на Русской Земле»¹.



Владимир Ильич
Ленин.

Одна из последних фотографий

¹ Плеханов Г.В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен // Революция глазами ее руководителей. М.: Центрполиграф, 2017. С. 113–114.

В античной Греции был бог сна Гипноз, который был сильнее даже владык Олимпа. В дальнейшей истории Европы гипноз стал орудием, побеждающим человека на подсознательном уровне. Томас Манн, не раз говоривший о гипнотической силе тоталитарных режимов, написал в 1929 году гениальную новеллу «Марио и волшебник», где иллюзионист и гипнотизер Чиполло из Италии (страна, где победила первая фашистская революция) дает представление на итальянском курорте в Торре ди Венере и усыпляет и ломает волю молодого парня, буфетчика Марио, издевается над ним, полагая, что тот абсолютно безволен. Но издевательства пробуждают Марио, он просыпается и убивает гипнотизера. Тайная надежда Томаса Манна была на то, что так же проснется Европа. Но, увы, революция ширилась, захватывая все новые страны. Но и в ситуации безумия оставался инстинкт выживания.

Опираясь на этот инстинкт, временами преодолевая его, к власти и пришли большевики. Как замечал Федор Степун, большевизм — это не большевики, это умонастроение масс, большевики же сумели его использовать. В хаосе разума нет, но Ленин как истинный фюрер этот хаос использовал. Бунин в своем гениальном и страшном рассказе про «окаенные дни» не выделял Ленина из череды привычных для России разбойников, хитровцев и босяков, *он тот самый, кого и ждала эта масса*. Степун замечал: «Как прирожденный вождь он инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции, он сразу же овладел ее верховным догматом — догматом о тождестве разрушения и созидания и сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра, хотя бы в целях наиболее правильного разрешения вопроса. На этом внутреннем понимании зудящего “невтерпеж” и окончательного “сокрушай” русской революционной темы он и вырос в ту страшную фигуру, которая в свое время с такой силою надежд и проклятий приковала к себе глаза всего мира»¹. Именно Ленин создал в России первые концентрационные лагеря с их чудовищными пытками и убийствами. Достаточно почитать книгу русского социалиста Сергея Мельгунова «Красный террор». Цитировать ее невозможно, ибо описанные ужасы превосходят даже ужасы инквизиции. Как писал Евг. Трубецкой: «Россия — страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних

¹ *Степун Ф.А.* Мысли о России // *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 342.

отношениях, эта кровавая классовая борьба, возведенная в принцип, это всеобщее человеконенавистничество, как не практическое отрицание самого начала христианского общежития, более того, — самой сути религии вообще!»¹

Справедливо написал Мережковский: «Мировая война слишком глубоко вдвинула Россию в Европу, чтобы можно было их разделить. Должно учесть, как следует, безмерность того, что сейчас происходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае, безумно надеяться, что зазиявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездна эта не втянет в себя и другие народы. Мы — первые, но не последние»². Так долго подражавшая Германии Россия после Октября вырвалась вперед и стала своего рода педагогом немецкого национал-социализма. Ленин четко сформулировал новую структуру общества: массы, класс, партия, вождь («Детская болезнь “левизны” в коммунизме»). Гитлер, говорят, знал эту книгу. Во всяком случае несомненно, что национал-социалист Гитлер подражал социалисту Ленину, опиравшемуся на национальные инстинкты русских. Немецкая революция стоила революции большевистской.



Адольф Гитлер

В Германии еще в конце XIX века немецкий философ Вильгельм Виндельбанд обратил внимание на рост узколобых, назвав их дилетантами, то есть людьми имеющими обо всем поверхностное представление, но рвущимся к руководству миром: «Не будучи в состоянии овладеть внутренними, специфическими элементами культурного содержания этих чуждых областей, современный человек прибегает к поверхностному дилетантизму, который снимает со всего пену и забывает о внутреннем содержании»³. Неудачливый художник Адольф Гитлер, обожавший популярную литературу, не

¹ *Трубецкой Е.Н.* Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 191–192.

² *Мережковский Д.С.* Царство Антихриста. СПб.: РХГИ, 2001. С. 22.

³ *Виндельбанд В.* Прелюдии. М.: Гиперборея, Кучково поле, 2011. С. 152–153.

только счел себя способным переделать Германию, но он ее переделал, пытался уничтожить часть человечества, и, хотя был побежден, отравил сознание миллионов людей в разных странах. С того времени и пошло предсказанное еще в начале XX века, что «массы диктуют правительству его поведение»¹. В Германии горели костры из книг, куда бросались книги великих немцев, в которых была хоть капля еврейской крови или было заметно либеральное умонастроение. Вообще антисемитизм был ударом по наиболее духовно развитой части человечества, давшей миру Библию и Христа. Французский мыслитель Жак Маритен напишет: «В этом и состоит избрание: в лице евреев гонители преследовали Моисея и пророков, стремясь к преследованию Спасителя, вышедшего из среды этого народа. <...> Как христианство ненавидели за его иудейские корни, так и Израиль ненавидели за его веру в первородный грех и искупление и за христианскую жалость, которая вышла из Израиля. Как пронизательно заметил еврейский писатель Морис Сэмьюэл, не из-за того, что евреи убили Христа, а из-за того, что они дали миру Христа, ярость гитлеровского антисемитизма преследовала евреев на всех дорогах Европы»².

Сталин приглядывался к Гитлеру, но хотел «поделить шарик пополам». Такое движение без учета мировых сил и бытия других народов возможно только в кошмарном сне. Результатом соперничества двух идеократий стала последняя война, в испарениях которой до сих пор живет человечество, не отдавая себе в этом отчета.

Жена Ленина Надежда Крупская создала Индекс запрещенных книг, куда попали многие русские классики, в которых не заметно было движение к пролетарскому миропониманию.



Надежда Константиновна
Крупская

¹ Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2016. С. 115.

² Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 418–419.

Современные историки пишут о ее беспощадности к печатному слову. Уже в 1920 году Главполитпросвет Наркомпроса по инициативе **Крупской** разослал на места инструкцию о просмотре каталогов и изъятии из общественных библиотек «идеологически вредной и устаревшей» литературы. В 1924 году она включила в эти списки Платона, Канта, Шопенгауэра, Лескова, и других весьма знаменитых авторов, что шокировало даже Горького. Особенно сильно пострадали детские библиотеки. По приказу Крупской из них были изъяты народные сказки и «Аленький цветочек» Аксакова. Ее инструкция содержала 97 имен детских писателей, в том числе Чуковского, чьи стихи она назвала «буржуазной мутью». Циркуляр, подписанный Крупской, запрещал выдавать читателям «Библию и любую другую религиозную литературу». То есть свет и разум, полученные от Христа, оказались под запретом.

Ужас нашего бытия стал понятен, когда вышли из тайны Освенцим и ГУЛАГ, когда выяснилось, что жертвы были бессмысленны, приносились во имя Ничто. А личностное начало исчезло. Разум по-прежнему спал, ибо не было света. Как с тоской говорили герои гениального романа Ремарка «Время жить и время умирать»: «— Затемнена почти вся Европа, — сказал он. — Говорят, только в Швейцарии по ночам еще горят огни. Это делается специально для летчиков, пусть видят, что летят над нейтральной страной. Мне рассказывал один, он побывал со своей эскадрильей во Франции и в Италии, что Швейцария — какой-то остров света — света и мира, — одно ведь связано с другим. И тем мрачнее, точно окутанные черными саванами, лежали позади и вокруг этого острова Германия, Франция, Италия, Балканы, Австрия и все остальные страны, участвующие в войне.

— Нам был дан свет, и он сделал нас людьми. А мы его убили и стали опять пещерными жителями, — резко сказала Элизабет».

Именно эта война родила ядерное оружие. Великие ученые создавали страшные бомбы под присмотром дьявольской военщины. Это и Оппенгеймер в США, Андрей Сахаров в России, да и много других. Как выяснилось, разум может работать над сумасшедшими проектами, подчиняясь властному безумцу. Это самый большой ужас — разум на службе безумия.

После Второй мировой войны показалось, что христианство потерпело катастрофический крах. Возник знаменитый вопрос: можно ли верить в Бога после Освенцима? Затем вроде бы победило христианское начало Европы, европейцы вроде бы вернулись к христианскому свету. Но несмотря на слова Яспера: «Для

западного сознания ось истории — Христос»¹ — сегодня виден закат христианской идеи, ибо европейцы забыли о ее жесткости и строгости. Запад ныне идет по сути дела в объятия Ислама, объясняя это необходимостью толерантности. Хотя известна притча о засохшей смоковнице: «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21, 18–22). Казалось бы, это надо помнить, но идеи перестали работать, их заменили политика и финансы, о чем прямо говорят сегодняшние мыслители. Философы констатируют отсутствие интеллектуально-нравственного начала в Европе. Великую западноевропейскую философию сменил постмодерн, наиболее влиятелен сейчас прагматизм американской школы. Так называемые локальные войны, гомосексуальные браки, трансгендерное бушевание — все это заставляет вспомнить Содом и Гоморру. И ждать гнева Божьего! Похоже, что человечество терпит поражение. Но так ли?

Все же остается просвет, о котором написал русский мыслитель Федор Степун: «Как безвыходна была бы история человечества, если бы она почти 2000 лет тому назад не осветилась бы светом христианства. Отменив богооткровенною истиною все “только” человеческие мудрствования и навеки победив тишайшею тайною Вифлеемской ночи все титанические замыслы безбожного самоуправства, христианство призвало всех нас, юных и старых, здоровых и больных, богатых талантами и нищих духом к столь великому преобразению мира, перед которым распадаются в прах самые смелые мечты о революционном переустройстве человеческой жизни. Не потерять даже и в наши дни веры, что всех борющихся между собою “героев” в конце концов победит Бог, не так трудно, как оно на первый взгляд кажется. Чтобы не соблазниться всемогуществом зла, надо лишь понять, что истина побеждает и там, где отрицающая ее ложь, пытаясь на свой лад строить нашу жизнь, изо дня в день только разрушает ее»². Только это требует духовных усилий. После сталинского кошмара Россия родила не одного гения, пы-

тавшегося вытащить свою страну к свету. Раскался великий физик Андрей Сахаров, ставши непоколебимым борцом с тоталитарным режимом, преодолевал сервильное христианство в России священник отец Александр Мень. Бог для немногих снова стал ориентиром жизни. Как пел великий бард Владимир Высоцкий, обращаясь к своей возлюбленной Марине Влади:

Мне меньше полувека — сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.



Владимир
Высоцкий
и Марина Влади

**Избранных всегда было мало. Но именно они несут свет в мир.
В такой позиции есть надежда.**

И гениальный безумец Лев Толстой в конце жизни, в 1910 году, перед уходом от себя прежнего, наиболее внятно сказал, как преодолеть безумие: «И как для того, чтобы избавиться во сне от ужаса к тому, что происходит с нами, и, главное, к тому, что мы сами делаем, надо сознать себя, понять, что это сон и тогда проснуться, так и для того, чтобы избавиться от того ужаса, среди которого мы живем и в котором участвуем, надо сознать себя и вызвать в себе то нравственное чувство и нравственное усилие, которое свойственно разумному существу, человеку»¹. Должно проснуться личностное самосознание. Революция, «великий дурман», пользуясь выражением Бунина, в очередной раз должна замениться Просвещением, требующим от человека умения пользоваться собственным бодрствующим разумом. Собственно во всех перипетиях движения человечества — и в худые, и в хорошие времена — эта задача была основной в созидании нормального человеческого бытия.

¹ Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 82.

² Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетей, 2000. С. 292–293.

¹ Толстой Л. О безумии. URL: https://royallib.com/book/tolstoy_lev/o_bezumii.html (Дата обращения: 11.03.2019.)

Миф Ставрогина. Бакунин или Герцен?

Начну с простой констатации проблемы. Исследователи Достоевского возводят, как правило, образ Ставрогина к Бакунину. Этому есть серьезные причины. Начну с того, что знаменитый «Катехизис революционера» Нечаев (прототип Петра Верховенского) писал вместе с Бакуниным, в романе соавтором «Катехизиса» мимоходом называется Ставрогин. То есть отсылка к Бакунину вроде бы очевидна. Об этом в 1923 году состоялся спор между Л.П. Гроссманом и В.П. Полонским. Для Гроссмана очевиден Бакунин как прототип Ставрогина, он даже делает Бакунина «скопцом», как Катков назвал Бакунина. В статье «Бакунин и Достоевский» Гроссман пишет: «Достоевский с большой смелостью для русского романа отмечает в своем герое физическую ущербность, органическое бессилие, сексуальную дефективность: “принц Гарри” истощил свои силы в извращениях огромного разврата. Об этом заявляют в лицо ему различные герои романа. После проведенной с ним ночи, Лиза в своем смятом платье и растрепанной прическе злобно кричит ему: “Вы всякого безногого и безрукого стоите”. Петр Верховенский клеймит его с таким же ожесточением: “...старая вы, дырявая, дрянная барка на слом”. Этот смелый штрих в характеристике Ставрогина был зорко подмечен и зафиксирован в замечательных статьях А.Л. Волынского. Один из лучших исследователей Достоевского категорически говорит по поводу Ставрогина “о физическом вырождении его мужской личности, об его полном органическом бессилии”: “в нем подорван принцип жизни, истощены все непосредственные инстинкты”. Так раскрывает Достоевский великую тайну пола в Ставрогине». При этом нельзя забывать о беременности женщин, скажем, жены Шатова от Ставрогина. Видели прототипом Ставрогина и петрашевца Спешнева, тоже нетвердого в своей сексуально-

сти. Но стоит поставить персонажа, который в неменьшей степени чем Бакунин находился в центре русского революционного движения. Я говорю о друге Бакунина – Герцене.

Роман «Бесы» пропитан темами и образами, связанными с деятельностью Герцена. Идеи Герцена, упоминания о нем многократно встречаются в текстах Достоевского, в его публицистике. Об этом писали неоднократно – прежде всего российские литературоведы. Но в основном они рассматривали, так сказать, «диапазон творческих контактов»¹, то есть публицистические и жизненные пересечения писателей. Однако нигде, пожалуй, не говорится о нем как прототипе того или иного образа Достоевского. То, что Достоевский в создании своих образов опирался на свое понимание современников, достаточно известно. Среди прототипов его героев называли и Гоголя (Фома Опискин), Нечаева (Петр Верховенский), Грановского (Верховенский-старший), Тютчева (Версиков), Тургенева (Кармазинов), Лизу Герцен (Кроткая), но Герцен в этом контексте был упомянут лишь однажды в моей статье 2009 года². Здесь я хотел бы развить высказанные некогда соображения.

Напомню слова А. Долинина, писавшего, что в «Бесах» очевидно «злое, насмешливое отношение ко всей политической деятельности недавно скончавшегося Герцена, имя которого несколько раз упоминается в романе в сочетании всегда обидном и злобном»³. Он поминается ровно 11 раз, причем чаще всего как человек, на которого ориентируются и опираются бесы. Даже авторство стихотворения «Студент», которое Нечаев относил к себе, приписывает бес Верховенский Герцену (под названием «Светлая личность»).

Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.
И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие края
Из царева каземата,
От кнута, щипцов и ката.

¹ Гурвич-Лицинер С. Герцен и русская художественная культура 1860-х годов. Тель-Авив: Тель-Авивский университет; М.: ИМЛИ РАН, 1997. С. 126–175.

² Кантор В. Пути и катастрофы русской мысли: кого будил А.И. Герцен? // Вопросы литературы. 2009. № 4. С. 291–348.

³ Долинин А.С. «Исповедь Ставрогина» // «Бесы»: антология русской критики / Сост., подготовка текста, послесловие и комментарии Л.И. Сараскиной. М.: Согласие, 1996. С. 541.

А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпением ждал студента.

«Опять с минуту помолчали. Шатов брезгливо и раздражительно ухмылялся.

— А эта ваша подлая “Светлая личность”, которую я не хотел здесь печатать, напечатана?

— Напечатана.

— Гимназистов уверять, что вам сам Герцен в альбом написал?

— Сам Герцен».

Могу предположить, что такое настойчивое упоминание имени зарубежного пропагатора можно объяснить двумя причинами. Во-первых, ввести в происходящую бесовщину в некий реальный контекст идей. Во-вторых, завуалировать связь реального деятеля с романном образом.

Хорошее напоминание Долинина, что в момент писания романа Герцен уже ушел из жизни. Смерть ставит предел, который позволяет не просто полемизировать с кем-то, но подвести итог его жизни, превратив в персонажа своего произведения. Уже при жизни Герцен становится предметом интереса художников. Его портреты рисуют живописцы, намеками проскакивает его образ в «Загадочном человеке» Н. Лескова, какие-то оттенки его образа художественно переосмыслены в образе Версилова у Достоевского («Подросток»). Но там лишь можно угадывать, да и многое не сходилось, хотя достоеведы писали об этом не раз. Впрочем, после работы А. Гачевой, убедительно соотнесшей образ Версилова с Тютчевым как реальным прототипом, можно считать тему прототипа главного героя «Подростка» решенной. Более того, стоит отметить, что роман Достоевский начал в 1869 году, практически сразу после рассказа брата Анны Григорьевны о событиях в Петровской академии. 21 ноября 1869 года произошло убийство студента Иванова. 25 ноября тело случайно было обнаружено в проруби пруда. Убийцы были арестованы, кроме инициатора убийства Нечаева, успевшего уехать за границу. Поначалу Достоевский думал о Нечаеве как прототипе главного героя. Но роман долго не шел. Пока к середине 1870 года не возникает в тексте фигура Ставрогина.

Надо сказать, сам Герцен был не против увидеть себя героем художественного произведения, но именно Героем. Он поверял жизнь искусством, а искусство жизнью в ее революционном раз-

витии. Все образы русской литературы от Чацкого и Онегина до Обломова и Базарова воспринимались им лишь как этапы революционного развития общества. Не случаен его упрек Тургеневу по поводу образа «отцов», Кирсановых. Основной смысл этого упрека в том, что писатель не выбрал для изображения отцов подлинных деятелей 40-х годов, настоящих революционеров, отсылает Тургенева к опыту биографии Огарёва и своей: «Кирсановы — самые стертые и пошлые представители отцов... Что бы ему (Тургеневу. — В. К.) было прислать Базарова в Лондон?.. Мы, может быть, доказали бы ему на берегах Темзы, что <...> у Рудинных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали *многое*, уезжали на чужбину и заводили, “не метавшись и не суетясь”, русскую книгопечатню и русскую пропаганду»¹. В требовании изображать жизнь в ее *революционном* развитии виден прямой путь, если говорить об общественно-эстетических традициях, к идеям социалистического реализма, коего Герцен в XIX веке, похоже, был крупнейший теоретический предшественник.

Он хотел стать героическим персонажем, но стал трагическим героем. «По классическому определению трагедия включает и трагическую вину. Герой сталкивается с последствиями своих поступков, не свершать которых он не мог. <...> Это относится и к встрече с Нечаевым и к опрометчивому второму браку и к судьбе детей; шестьдесят девятый год был тем годом, когда Герцен непосредственно столкнулся с последствиями своей жизни. Увидел в Нечаеве, — пусть и страшно искривленное, исковерканное, — но тоже последствие. И нашел в себе силу — понять, противостоять и не проклясть все то, чему поклонялся недавно сам и звал поклоняться других»².

Акцентирую: Герцен как прототип стал героем трагедии. Речь о романе «Бесы», который много раз именовали романом-трагедией, и его герое — Ставрогине. Нельзя, видимо, забывать, что Ставрогин был гражданином швейцарского кантона Ури. Герцен, будучи лишенным в 1851 году прав состояния, принял швейцарское подданство, став гражданином кантона Фрейбург. Ставрогин в предсмертном письме сравнивает себя с Герценом (спутав, правда, название кантона): «Прошлого года я, как Герцен, запи-

¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. XX. Кн. 1. С. 339–340.

² Орлова Р. Последний год жизни Герцена. New York: Chalidze Publications, 1982. С. 85–86.

сался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедem и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать». Это напоминает жест императора Диоклетиана, много нагрешившего, а конец жизни проведенного в горной Иллирии за выращиванием капусты. Впрочем, императорскую мантию примеривал на себя и Герцен.

*Стоит напомнить постоянное сравнение Ставрогина персонажами романа с королем. То его сравнивают с шекспировским принцем Гарри, будущим королем Англии, то с принцем Гамлетом. Бес Верховенский пытается обрядить его в костюм Ивана-царевича. Правда, все время Достоевский показывает и иные коннотации: либо самозванничества, когда Хромоножка кричит Ставрогину, что он Гришка Отрепьев, либо разбойничьего атамана Степана Разина. Но вернемся к Герцену, который без конца писал о своей гамлетовской рефлексии, его называли то «северным Гамлетом», то «Гамлетом революции». Но дело даже не в шекспировском образе, а в фантазмагорическом сознании себя своего рода императором. Сама биография обозначила особенности его взгляда на мир. Родился 25 марта 1812 года у богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева. Это был год оккупации Москвы Наполеоном. Наполеон велел представить себе отца Герцена и под условием, что тот доставит его письмо с предложением о мире русскому императору, дал ему пропуск для выезда из Москвы. Не ошибусь, предположив, что для становления юношеского самосознания Герцена был важен этот эпизод, не случаен рассказ о нем на первых страницах «Былого и дум». Получалось, что с самого рождения он оказался в центре исторических событий. Уже незадолго до смерти он запишет в дневнике: «20 декабря 1866, Nizza. <...> Избалованные средой — сознанием своей силы — мы твердо верили, что будем жить на особых правах»¹. Стоит добавить, что Яковлевы состояли в дальнем родстве с царствующим домом Романовых. Разумеется, это не могло не давать Герцену представления о значительности его собственной персоны. Свое царское достоинство он обозначил псевдонимом — *Искандер*, то есть *Александр Македонский*. В этом контексте любопытна «аннибалова клятва», данная друг другу двумя мальчиками на Воробьевых горах — посвятить жизнь ниспровержению империи. Два будущих Ганнибалы хотели в своих глазах выглядеть героями. Ниспровергнуть империю — не слабо! Но надо было уметь*

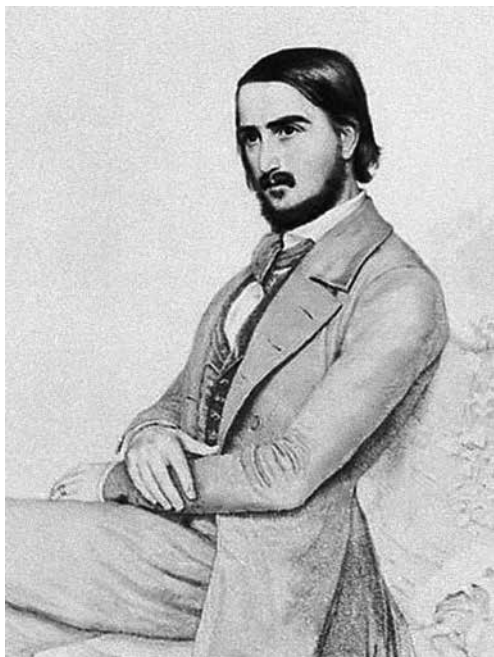
раскрутить никому не известную клятву, произнесенную четырнадцатилетними мальчишками, чтобы весь мир услышал ее и с восхищением воззрился на двух героев.

Эстеты Серебряного века обожали Герцена. Знаменитый Айхенвальд писал о нем: «Всегда блистательный и духовно-роскошный, князь эмиграции, властелин, которому недоставало только престола, Александр Великолепный, король в изгнании»¹. Айхенвальд словно не читал «Бесов» Достоевского и не помнил разговор Петра Верховенского со Ставрогиным: «Ставрогин, вы красавец! <...> Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк. <...> вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, “скрывающийся”. Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и “скрывается”». А ведь и Герцен был в эмиграции, то есть «скрывался». Слова Айхенвальда почти парафраз речи беса, надевающего на голову Ставрогина корону «Ивана-царевича».

Герценовская публицистика, построенная как диалоги вполне в контексте художественно-философских диалогов Платона, как и проза Достоевского. Скажем, в письмах «С того берега», пожалуй, одной из важнейших его книг, даже собеседник известен — И.П. Галахов, социалист, публицист, любовник Марии Львовны, первой жены Огарёва. Особое место в его прозе занимают его мемуары, пожалуй, главная книга его жизни, где он не только защищал себя от наветов, но и строил свой образ, каким романтический автор хотел явиться миру. Эта книга — удивительный сплав реальности и мифа, действительно, как в платоновских диалогах. Только искал автор не истину, а себя. Обычно мемуарист описывает себя, чтобы рассказать о других, система герценовских мемуаров иная: он рассказывает о других, чтобы рассказать о себе. Мемуары Герцена начинаются с истории семейной драмы, романа поэта Гервега и Натальи Герцен.

¹ Айхенвальд Ю. Герцен // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 517.

¹ Герцен А.И. Собр. соч. Т. XX. Кн. 2. С. 608–609.



Георг Гервей



Наталья Герцен

Каждый текст Герцена – это создание мифа своей жизни, мифа, ориентированного на западного читателя. Здесь и преувеличение своего антиправительственного поведения и тяжести наказания (хотя в ссылке он был на вполне приличных чиновных местах, мог писать и писал). Но перед западным читателем надо было предстать более несгибаемым, да и режим представить более жестоким, чем он был на самом деле, необходимо было самосозидание образа героя. Стоит привести его слова, где он с мушкетерской легкостью персонажа Дюма как бы между прочим приписывает себе тот приговор, который на самом деле пережили петрашевцы и великий писатель Достоевский: «Нас обвинили в намерении создать тайное общество и желании пропагандировать сен-симонистские идеи; нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор, а затем объявили, что император по своей поистине непростительной доброте, приказал подвергнуть нас лишь исправительному наказанию – ссылке»¹. Это непростительное заимствование чужой трагедии, при этом он совсем не чувствует реальный ужас действительного ожидания казни на плацу, а потом многолетней каторги и солдатчины!.. Это не может не выглядеть кощунством. Герцен – один из первых удачливых шоуменов, создавших миф своей жизни. Интересно, заметил ли это присвоение его судьбы Достоевский?

В контексте герценовского сотворения мифа о себе уже не покажется случайной легенда Нечаева, с которой он явился на Запад к Герцену, Бакунину, Огарёву, «предварительно распространив слух, что он арестован и заключен в Петропавловскую крепость. А затем из-за границы он написал товарищам, что ему при отправке из Петропавловской крепости в Сибирь удалось бежать. Этим он хотел, во-первых, поднять свой революционный престиж среди студентов, надеть на себя корону героя и мученика»². Бакунина и Огарёва он пленил своей решительностью, Бакунин называл его «тигренок» и создал еще одну мифологему. Стихотворение Огарёва «Студент» было первоначально посвящено «Памяти Сергея Астракова». Бакунин похвалил стихи, но заметил, что было бы полезнее для дела «посвятить молодому другу Нечаеву»³. Стихи эти вошли в «Бесы» под названием «Светлая личность». Любопытно, как проявляется это делание из себя легенды в «Бесах». Перед визитом к «нашим»

¹ Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VII. М.: АН СССР, 1956. С. 218.

² Шуб Д.Н. Политические деятели России (1850–1920-х гг.). Гл. вторая. III. Михаил Бакунин и Сергей Нечаев. URL: <https://history.wikireading.ru/414661> (Дата обращения: 11.03.2019.)

³ Письма М.Бакунина Герцену и Огарёву. 1907. С. 372–377.

бес Верховенский говорит Ставрогину: «Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин. Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только» (курсив мой. – В. К).

После смерти Герцена Нечаев продолжал действовать, используя все так же – миф, ложь, шантаж. Запугивал Наташу, дочь Герцена, желая герценовских денег, угрожая, что если она вернется в Россию, «нашим придется так или иначе с вами покончить»¹. Эти мифические «наши» (термин из «Былого и дум», в уголовно-революционном варианте использованный Достоевским в «Бесах») были продолжением нечаевской легенды. То, что можно было объяснить писательской фантазией Герцена, в устах Нечаева приобретало дьявольский оттенок провокации стремящегося к власти деспота. Более того, в словах Лопатина о Нечаеве можно невольно разглядеть парафраз к «Запискам сумасшедшего» Гоголя: «Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». Королем, точнее, императором, властелином чувствует себя и Нечаев. Лопатин пишет: «И почему это Нечаев воображает, что каждый человек, подобно ему, должен говорить про себя непременно “мы”? Смею его уверить, что, кроме его, только одни императоры выражаются так глупо! И почему Нечаев вообразил также себя, что все люди, подобно ему, только и думают что о том, как бы им держать других людей “в руках”? Еще раз смею уверить Нечаева, что это опять-таки императорская замашка; большинство порядочных людей хлопочет только о том, чтобы их самих никто в руках не держал»². Впрочем, первым испанским королем все же был Герцен. Именно он (повторю это) назвал себя *Искандером*, то есть Александром Македонским. Ставрогину, как я уже упоминал, все время примеряют королевскую корону. Он знает это, но не возражает.

Какие мотивы «Былого и дум» можно увидеть в «Бесах»? Тема Герцена видна даже в образе Степана Трофимовича Верховенского, прототипом которого обычно называют Грановского: «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!». Конечно, фантастически обыграно местоимение «наши». Герцен в

¹ Дневник Н.А. Герцен // Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. М.: Наука, 1985. С. 454.

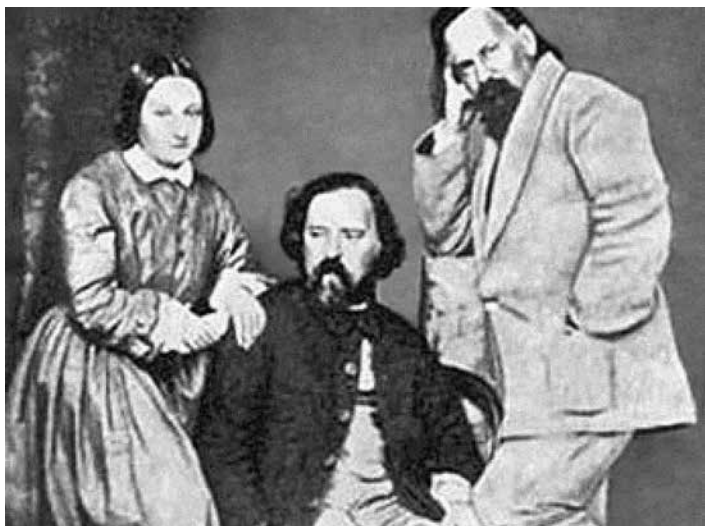
² Г.А. Лопатин – М.А. Бакунину (20 мая 1870) // Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. М.: Наука, 1985. С. 485.

своих мемуарах «нашими» называл своих союзников (либералов и западников). «Не наши» были очень долго для него славянофилы. И поначалу наши – это спутники Степана Трофимовича. Например: «Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех». Да и стиль жизни кружка Степана Трофимовича почти буквально списан с времяпрепровождения кружка Герцена. Вот «Бесы»: «Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. <...> А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России». А вот «Былое и думы»: «Наш небольшой кружок собирался часто, то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, *ужинном и вином* шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанные каждым делались достоянием всех. <...> Вот этот характер наших сходов не понимали тупые педанты и тупые школяры»¹. Но далее Достоевский показывает страшную эволюцию герценовских «наших» в нечаевских бесов, тоже «наших».

Что касается любовных историй Ставрогина, то из русских радикалов с ним посоперничать мог, разумеется, не Бакунин, в этом смысле имевший проблемы, а только Герцен. Его эксгибиционистские мемуары вполне соотносимы с исповедью Ставрогина, которая тоже не есть подлинная исповедь, ибо обращена не к Богу (о чем деликатно все время сообщает Тихон), как, скажем, у Августина, а рассчитана на публику, как и у Руссо (упоминание его «Исповеди» Ставрогиным в контексте онанизма героя издевательски говорящее). Характерна и ремарка, описывающая принесенные Тихону странички ставрогинского текста: «Печать была действительно заграничная – три отпечатанных и сброшюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию». Очевидный намек на лондонскую типографию, где

¹ Герцен А.И. Былое и думы (глава «Наши») // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. IX. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 113–114. В дальнейшем ссылки в тексте даны на это издание.

печатались герценовские мемуары и прокламации. Все петербургские приятели Ставрогина, кормившиеся за его счет, потакавшие его распутству, в сущности, были приживалы, вроде обедневшего за рубежом Огарёва, который жил приживалом при Герцене. Вряд ли самостоятельно живший отдельным домом дворянин с такой легкостью уступил бы другу-хозяину свою жену.



Н. Тучкова, А. Герцен и Н. Огарёв

Но неужели Достоевский так не любил Герцена, что изобразил его в романе как «медиума зла» (С. Булгаков о Ставрогине)? Думаю, что любил. Ведь вот как воспринимал его: «Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный»¹. Именно частица этой любви досталась и Ставрогину, что позволило Бердяеву написать: «Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен

¹ *Достоевский Ф.М.* Старые люди. Дневник 1873 г. // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 9.

им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского»¹. И прельщение – одна из важнейших тем «Бесов», начиная с политических соблазнов и кончая любовными.

Я бы сказал, что тема любовной исповеди лежала в основе мемуаров Герцена. Если бы не измена его жены Наташи с поэтом Гервегом, он бы не взялся за откровенный рассказ о своей жизни, рассказ-самооправдание, должный показать его значительность и ничтожество Гервега. Об этом романе одна из самых ярких страниц «Былого и дум». Речь идет о теме, названной им «Рассказ о семейной драме», поразительный по своей искренности и незащитности, но направленный на самооправдание. И по сути, это рассказ о том, как миллионер, изменяя жене, узнав, что жена полюбила другого, практически зашелмовал ее до смерти². То есть рассказ об убийстве женщины. Конечно, в чем-то он равен «Исповеди» Ставрогина. Этот текст равен откровенности Руссо, рассказавшего в своей «Исповеди» о своем онанизме. То есть человек так велик, что позволяет о себе писать все. Позднее на такое решился, пожалуй, только Август Стриндберг в автобиографическом романе «Слово безумца в свою защиту». Сам же Герцен писал раньше (как бы развязывая себе руки): «В будущую эпоху нет брака, жена освободится от рабства, да и что за слово жена?.. Женщина до того унижена, что, как животное, называется именем хозяина. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, со-

¹ *Бердяев Н.А.* Ставрогин // Н.А. Бердяев о русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 46.

² «Всю свою жизнь Герцен воспринимал внешний мир отчетливо, в должных пропорциях, хотя и через призму своей романтической личности, в соответствии со своим впечатлительным, болезненно организованным Я, находящимся в центре его вселенной. Независимо от того, как велики его страдания, он как художник сохраняет полный контроль над трагедией, которую переживает, да при этом еще и описывает ее. Может быть, эгоизм художника, который демонстрирует все его творчество, является отчасти причиной того удушья, которое испытывала Натали, и причиной отсутствия каких-либо умалчиваний в его описании происшедших событий: Герцен нисколько не сомневается в том, что читатель поймет его правильно, более того, что читатель искренне интересуется каждой подробностью его – писателя – умственной и эмоциональной жизни. Письма Натали и ее отчаянное стремление к Гервегу показывают меру все более разрушительного воздействия герценовского самоослепления на ее хрупкую и экзальтированную натуру. Мы знаем сравнительно немного об отношениях Натали с Гервегом: вполне возможно, что между нею и Гервегом была физическая близость, – напыщенный литературный стиль этих писем больше скрывает, чем обнаруживает; но одно несомненно – она чувствовала себя несчастной, загнанной в тупик и неодолимо влекла к себе своего возлюбленного. Герцен если и чувствовал это, то понимал очень смутно» (*Берлин И.* Александр Герцен и его мемуары // *Берлин И.* Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. С. 610).

весть, а не полиция, общественное мнение определяет подробности сношений» (I, 290). А затем без зазрения совести увел жену друга, прямо из супружеской постели, которая находилась в его, Герцена, доме. Чем не Ставрогин? Это тема художественного восприятия Достоевским идей Герцена.

Сексуальные отношения Ставрогина с горничной Дашей Шатовой («чужие грехи» вряд ли можно назвать любовью) имеют параллель в мемуарах Герцена, я имею в виду его грех с горничной Катериной:

«Мы переехали в Москву. Пирывали за пирами... Возвратившись раз поздно ночью домой, мне приходилось идти задними комнатами. Катерина отворила мне дверь. Видно было, что она только что оставила постель, щеки ее разгорелись ото сна; на ней была наброшена шаль; едва подвязанная густая коса готова была упасть тяжелой волной... Дело было на рассвете. Она взглянула на меня и, улыбаясь, сказала:

— Как вы поздно.

Я смотрел на нее, упиваясь ее красотой, и инстинктивно, полусознательно положил руку на ее плечо, шаль упала... она ахнула... ее грудь была обнажена.

— Что вы это? — прошептала она, взглянула взволнованно мне в глаза и отвернулась, словно для того, чтоб оставить меня без свидетеля... Рука моя коснулась разгоряченного сном тела... Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдается ей, теряется в ней...».

Поразительное самолюбование, подробности реального сексуального приключения (это же не роман), причем он изменяет в момент, когда жена только что потеряла младенца. Да и обстановка: жена страдает, а он ходит на дружеские посиделки с выпивкой. И здесь не безумная страсть как у Достоевского к Аполлинарии Суловой, а просто развлечение, приключение. Жалости нет, ибо тут же рассказывает все жене. Есть, правда, трусость: а вдруг она все слышала. И из трусости добывает большую психику женщины: «Мне показалось, что Н что-то слышала, что-то подозревала, я решился рассказать ей, что было. **Трудны такие исповеди, но мне казалось это необходимым очищением** (выделено мной. — В. К.), экспиацией, восстановлением той откровенной чистоты отношений, которую молчание с моей стороны могло потрясти, испугать. Я считал, что самая откровенность смягчит удар, но он поразил сильно и глубоко; она была сильно огорчена, ей казалось, что я пал и ее увлек с собой в какое-то падение. <...> Она все поняла, и удар был неожидан и силен; вера в меня поколебалась, **идол был разрушен**, фантастические

мучения уступали факту. Разве случившееся не подтверждало праздность сердца?»¹ Ставрогин ведет себя иначе. Все знали, что Даша его любовница, но он никому не говорил об этом, даже пощечину снес от Ивана Шатова. И тем не менее его листки в каком-то смысле равновелики мемуарам эмигранта Герцена (кстати, его часто называют изгнанником, но таковым он не был. Он именно эмигрировал, сумев остаться и на Западе миллионером). Так вот в листках Ставрогина есть такая странная фраза: «У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла». Что за эпизод из жизни нам известного прототипа кроется за этими словами?

Скорее всего, здесь параллель с иным спонтанным сексуальным приключением, но уже не с горничной Катериной, а с одной дамой в Вятке, которую Герцен в своих мемуарах называет инициалом «Р». Он пишет, что начал даже писать повесть об оставленной женщине, которая от несчастной любви чахнет, умирает и ее хоронят в Девичьем монастыре (речь о повести «Елена»). Уже в эмиграции в 1860 году Герцен узнает о ее кончине. И почти с суеверным удивлением пишет: «...мой брат ее похоронил в Новодевичьем монастыре!»². Не мог ли Достоевский здесь вспомнить и свою вину перед первой женой, бросив которую тяжело больной и умирающей, он уехал в Европу за любовницей? Однако нигде он в этом публично не исповедуется, если не считать его записей в тетрадках: «Маша лежит на столе...». И т.д. Но он чувствовал невозможность вынести это на публичное торжище. Недаром Тихон советует Ставрогину не печатать его записки: «Покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше».

Тихон читает на память Ставрогину из слова ангела Лаодикийской церкви Апокалипсиса: «Но поскольку ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих». Так оно и происходит. Самоубийство и есть, можно сказать, блевотина ангела, отдача души человека в лапы дьявола (или беса).

Бесов вокруг Герцена было немало, как и вокруг Ставрогина.

* * *

Герцен очень противоречив в своих писаниях. Вспомним. 1. Здесь и проповедь силы индивида и смерти, как высшего смысла человеческого волеизъявления. 2. Пропаганда русской общинно-

¹ Герцен А.И. Былое и думы (глава XXXVIII) // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. IX. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 97–98.

² Герцен А.И. Былое и думы (глава «Разлука») // Там же. Т. VIII. С. 350.

сти, русского народа, который по природе социалист, а социализм и есть современное христианство. Тут почти прямая перекличка с идеей народа-богоносца. 3. Надежда на разбойника как единственного активного врага самодержавия, высказанная им в 1850 году¹. 4. Наконец, поддержка молодых радикалов вместо постепеновца Чернышевского, поддержка Нечаева (вместе со старыми друзьями — Бакуниным и Огарёвым).

Но вот «Бесы». Пойдем по пунктам. 1. Проповедующий бешеный индивидуализм и смерть Кириллов произносит: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин». 2. Исповедующий идеи величия русского народа-богоносца как спасителя мира Шатов тоже произносит слова о Ставрогине как вожде: «Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!». Но добавляет: «Когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом». Интересен искренний ответ Ставрогина: «Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал». 3. Федька Каторжный тоже считает Ставрогина своим вожаком, ждет его указаний. И Ставрогин удивлен: «Почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы “поднять у них знамя”, по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина “по необыкновенной способности к преступлению”, — тоже его слова». Упаси Бог обвинить Герцена в преступлениях, речь идет о последствиях идей. Достоевский показывает, как человек агитирует и убеждает других в самых противоположных установках. 4. Важнейшее — это социализм, это Верховенский-Нечаев, к которому сам Ставрогин относится с безразличностью, как Герцен к Нечаеву (Достоевский мог об этом знать по «Письмам старому товарищу»). Но Верховенский мечтает о вожде революции — аристократе. А это именно Герцен.

¹ «Бродяжничество и разбой необычайно усилились в годы междоусобицы и в начале XVII столетия. Память о Стеньке Разине сохранилась во множестве песен, сложенных в его честь народом. Обычай разбойничества дожил до времен Пугачёва, и весьма вероятно, что своим широким распространением он обязан именно глухой борьбе, начатой крестьянами, протестовавшими против закрепощения. Известно, что в песнях разбойнику отводится благородная роль, что все симпатии обращены к нему, а не к его жертвам; с тайной радостью превозносятся его подвиги и его удали. Народный певец, казалось, понимал, что самый большой его враг — не этот разбойник» (Герцен А.И. Собр. соч. Т. VII. С. 186–187). А в 1869 году Бакунин эту мысль в «Постановке революционного вопроса» развил: «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни» (Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М., 1997. С. 217).

Все эти противоречивые идеи Герцена исповедуют герои «Бесов», приписывая их авторство Ставрогину, желая видеть его своим вождем. Бердяев замечал: «Ставрогин — творческий, гениальный человек. Все последние и крайние идеи родились в нем: идея русского народа-богоносца, идея человекобога, идея социальной революции и человеческого муравейника. Великие идеи вышли из него, породили других людей, в других людей перешли. Из духа Ставрогина вышел и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действующие лица “Бесов”»¹. Но Ставрогин, как и Герцен, не желает возглавить ни одно из инициированных им движений. Конечно, литературный герой никогда не равен живому прототипу. Ставрогин в одиночестве кончает с собой, повесившись на шнурке за дверь, самоубийство — это путь в ад. Бесы остались существовать. Герцен тоже умирает почти в одиночестве, но в борьбе, борьбе с разными бесами, которые явились в мир не без его вины. И тем не менее находит силы для борьбы. Покончила с собой дочь Лиза, с ее матерью, Натальей Тучковой-Огарёвой, шли постоянные нелады. Он умер после того, как боролся почти два месяца за жизнь дочери Наташи. Болезнь дочери он победил, но сам умер. Умер, в сущности, от усталости и разочарования в своей прежней жизни, хотя и оставил свое предсмертное завещание — письма «К старому товарищу», в которых пытался предостеречь Россию о надвигающемся на нее зле. И в этом он совпал не со Ставрогиным, а с Достоевским, написавшим именно о наступавших на мир бесах свой великий роман.

В последнем своем трактате Герцен выступил в защиту цивилизации, но, похоже, что поздно. Его никто не слышал и не хотел слышать. Он писал: «То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам»². Разбудить зло легко, усыпить практически невозможно. Ирония истории в данном случае сыграла шутку с человеком, который пытался преодолеть ее законы в надежде на революционное переустройство мира. Лишь под занавес своей жизни он пришел к тому же, что и Достоевский. История его метаний и заблуждений послужила материалом для великого романа, который дал человечеству модель появления в человеческом пространстве бесовщины.

¹ Бердяев Н.А. Ставрогин // Н.А. Бердяев о русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 48.

² Герцен А.И. К старому товарищу // Герцен А.И. Избранные труды / Сост., автор вступ. ст., коммент. В.К. Кантор. М.: РОССПЭН, 2010. С. 707.

Керенский как фантом русских революций 1917 года

(Глазами русских поэтов и писателей)

1917 год был одним самых страшных в русской истории первой четверти XX века. Хотя ужасов хватало: и невероятно разрушительная война, распад империй, массовые убийства на войне, убийства заложников, десятки и сотни тысяч погибших, мировая война, которая переросла в России, по замыслу Ленина, в гражданскую, возникновение страшных тоталитарных режимов, вырвавшихся на фоне поиска мирового и народного счастья (прежде всего в России и Германии). В результате случился, как справедливо написал Эрнест Нольте в своей книге «Европейская гражданская война (1917–1945), национал-социализм и большевизм», в Европе странный симбиоз национал-социализма и большевизма, а затем распадение этого симбиоза на части, что едва не обрушило человечество в апокалипсис. Но это потом. Поначалу практический путь к попыткам революционного преобразования мира шел от русских революционеров, желавших одним махом разрешить весь невероятный узел противоречий, в котором запуталась Россия. Еще Достоевский писал, что русский человек желает все беды преодолеть одним махом, одним разом.

В этой ситуации начинают возникать фантомы, которые кажутся публике, обществу, да и народу (солдатам прежде всего) путеводными звездами во мраке военной катастрофы. Им верят, причины их популярности просты: они кажутся самостоятельными, а потому видящими сквозь мрак, видящими, куда можно вести страну, ее будущий путь. А для населения это важнее всего. После политических

лидеров стоят те, кого называют властителями душ, духовности, как хотите назовите. Русские писатели, особенно крупные, всегда пытались угадать героя, который определил бы собой тип человека, могущего обустроить Россию. Гоголь в «Мертвых душах» (т. 2) вопрошал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека?.. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово»¹.



Ф. Моллер.
Портрет Н.В. Гоголя.
1841

Фраза эта была весьма популярна в публицистике 50–60-х годов XIX века. Конечно, Гоголь не ожидал, не звал революции, но проблему задал. И тут пришла февральско-мартовская смута, отрекся от престола царь, в сущности совершив во время войны предательство страны, это радикалы назвали революцией. Хотя как пишут все исследователи, революционеры не сделали ничего. По замечательно точному наблюдению Солженицына, «в совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или оцарапан в уличных боях. <...> Так революция началась без революционеров»². Карнавально-бесовское на-

¹ Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1978. С. 255.

² Солженицын А.И. Размышления над Февральской революцией. М.: Колибри, 2016. С. 10.

чало, дьяволов водевиль, где лица заменены личинами, увидел Федор Степун в революции 1917 года. В эту оргиастическую эпоху, писал он, «начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. <...> Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными комиссаршами. <...> Развертывается страшный революционный маскарад. Журналисты становятся красными генералами, поэтессы – военморами... <...> В этой демонической игре, в этом страшном революционно-метафизическом актерстве разлагается лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться невероятные, несовместимые личины»¹. А как писал современный исследователь: «Демонизм заразителен, потому что масса менее креативна, нежели индивид»². Но в эту эпоху креативные личности тоже оказывались демонической породы. В сущности, они были фантомами, убивавшими самих себя. Но главные фантомы появились на сцене позже. Это Керенский и Ленин.

Стоит отметить литературный контекст их малой родины. Это волжский город Симбирск, откуда родом Николай Карамзин, Иван Гончаров, Николай Языков, Денис Давыдов, Сергей Аксаков, Дмитрий Григорович. Да и Ленин в графе «Профессия» писал о себе: литератор. Карамзин пытался выстроить историю России, вписав ее в контекст европейских. А два симбирских гимназиста, Владимир, брат террориста Саши Ульянова, и сын директора гимназии Федора Керенского Александр, думали реально строить русскую историю. Отец последнего выдал Владимиру золотой аттестат, несмотря на казненного брата.



Гимназист
Саша Керенский

¹ Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 394.

² Смирнов И.П. Превращения смысла. М.: НЛО, 2015. С. 265.

Как и Владимир Ульянов, сын директора гимназии поступил в юристы, но в отличие от Владимира закончил полный курс, стал успешным и прогрессивным адвокатом, защищал оклеветанного еврея Бейлиса против кровавого навета, чем приобрел сторонников среди либералов, восхитившихся смелым адвокатом. Революция вроде готовила ему лавры Робеспьера.

Поразительно не то, что царя вынудили отречься буржуа – члены Госдумы, но и ведущие генералы русской армии: Рузский, Алексеев, Колчак, Брусилов, убежденные интеллектуалами – Родзянко, Милуков, Гучков. Даже монархист В.В. Шульгин был среди принимавших отречение. В сущности, это было военным преступлением – заставить царя и главнокомандующего во время страшной войны бросить страну и армию. Армия без военачальника распадается. Но словно ослепление и давно тлевшее раздражение ударили по императору. Давления генералитета император не выдержал. 2 марта он подписал отречение в пользу брата Михаила. Кстати, возмездие за это непонимание ситуации не заставило себя долго ждать. Скажем, генерал Рузский, похвалившийся перед темным сбродом солдат, что заставил императора отречься, был убит (зарублен) большевиками 19 октября 1918 года в составе группы заложников на краю Машука.

Но еще оставался шанс – Временное правительство. Хотя революционная Франция показала, что подобное объединение начинает раздираться внутренней борьбой: поначалу уничтожается королевская семья и дворянство, потом объявляется террор и гильотина начинает казнить всех подряд, пока не наводит в стране порядок генерал Бонапарт. И все же состав интеллектуалов – единомышленников, людей высокой культуры казался гарантией против повторения катастроф Французской революции.

В первый состав Временного правительства вошли министр – председатель и министр внутренних дел князь Г.Е. Львов (лидер земства), министры: иностранных дел – П.Н. Милуков (кадет), военный и морской – А.И. Гучков (октябрист), путей сообщения – Н.В. Некрасов (кадет), торговли и промышленности – А.И. Коновалов (прогрессист), финансов – М.И. Терещенко, просвещения – А.Ап. Мануйлов (кадет), земледелия – А.И. Шингарев (кадет), юстиции – А.Ф. Керенский (трудолик, с марта эсер), обер-прокурор Синода – В.Н. Львов (центр), государственный контролер – И.В. Годнев (октябрист).

Формальное председательство, как быстро выяснилось, немного стоило. Ищут реального лидера. Керенский сразу выделился. Он был среди тех, кто подхватил идею отречения и, более того, поддер-

жал отказ великого князя Михаила, которому император во время войны отдавал власть, чтобы страна не осталась без правителя. По словам писателя и ученого Тана-Богораза (в очерке о Керенском «Любовь русской революции»): «Делегаты Временного правительства вели с Михаилом Романовым переговоры по двойственной линии. Керенский твердо боролся против регентства и всякой монархической кандидатуры. И когда, наконец, Михаил, устранившись от ответственности, подписал отречение, с виду условное, а на деле окончательное, Керенский вспыхнул, подошел к нему и сказал: “Вы поступили, как честный человек!”»¹.

Остальные на такие жесты не были способны. Это четко зафиксировала блистательная поэтесса, писательница и публицист Зинаида Гиппиус: «Как личности – все честные люди, но не крупные, решительно. Милоков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горячей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда – если он в несвойственной ему среде будет вертеться?»

Вот Керенский – другое дело. Но он один»².

Итак он – один!

В.Г. Тан-Богораз писал в том же тексте: «Керенскому давали различные определения. В первые дни переворота его называли “Светлым юношей Революции”. Кстати же, ему всего 36 лет от роду, а выглядит он лет на 10 моложе. И 29 апреля, на заседании съезда делегатов с фронта, во время его поистине трагической речи, один из солдат в страшном возбуждении воскликнул: “Да здравствует гордость России”»³.

Поначалу писатели упоены Керенским.



Первая любовь
революции

¹ А.Ф. Керенский: pro et contra. СПб.: РХГА, 2016. С. 100.

² Гиппиус З. Дневники. Минск: Харвест, 2004. С. 108.

³ А.Ф. Керенский: pro et contra. С. 95.

Куприн, писатель временами жестокий и тяжелый, скорее из глубины своего травмированного ужасами русской жизни сердца увидел в Керенском почти сказочного народного героя, несущего стране свободу и величие. Недаром он свой текст назвал «Керенский – наш ходок», то есть народный предстатель. Это желание писателя в каждой его строчке о лидере Временного правительства:

«Да. Он свой. Свой вне партий, подпартий, мнений, толков, сплетен, интриг и борьбы низких властолюбивых интересов. <....> Он рекомендовал наступление. И наступление будет. Будет не оттого, что этого хочет Керенский. А оттого, что этого хочет народ. Во все времена и у всех народов в години тяжелых испытаний всегда находился тот непостижимый и непосредственный душевный преемник, тот божественный резонатор, тот таинственный выявитель воли народной, что я и называю живым, бьющимся сердцем народа. Керенским руководит его сердце, сердце народа, коллективная воля. Лениным – его личный сухой ум, ум озлобленного теоретика»¹.

Но сильнее прочих, с профетическим пафосом написала стихи Марина Цветаева:

И кто-то, упав на карту,
не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране.
Кому-то гремят раскаты:
– Гряди, жених!
Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.
Глаза над улыбкой шалой –
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом –
Солдатский крест.
Народы призвал к покою,
Смирил озноб –
И дышит, зажав рукою
Вселенский лоб.

21 мая 1917, Троицын день

¹ А.Ф. Керенский: pro et contra. С. 234.



Стоит отметить, что в русской литературе, помимо восхищавшегося Наполеоном Пушкина, который видел в нем гения, указавшего России ее «высокий жребий» (*Хвала! он русскому народу / Высокий жребий указал*), были и резкие антагонисты Бонапарта. Пушкин восторгается французским императором:

Чудесный жребий совершился:
Угас великой человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед,
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

Трагический герой Германн из «Пиковой дамы» имеет черты Наполеона. Цветаева следует Пушкину. Но уже у Гоголя с Наполеоном сравнивают Чичикова, убийство старухи-процентщицы у Достоевского обыватели называют деянием какого-нибудь русского Наполеона. Затем стало преобладать категорически негативное отношение. Андрей Болконский мечтает о своем Тулоне, чтобы заявить о себе как генерал Бонапарт. Но Лев Толстой не дает ему бонапартовской победы, а сам Наполеон в «Войне и мире» изображен как французский лавочник. Это двойственное

отношение к Наполеону сказалось и в понимании Керенского как Бонапарта.

Но Керенский видит только положительный смысл этого наименования. Фантом, поскольку он фантом, начинает жить и действовать так, как от него ждут поклонники, теряет свое Я. Он окружает себя знаковыми фигурами: военным министром становится знаменитый эсер, террорист и писатель (псевдоним — В. Ропшин) Борис Викторович Савинков. Начальником политотдела армии назначается философ и писатель, прошедший Германскую как артиллерист, Федор Степун. Поэт-эсер юнкер Леонид Каннегисер летом 1917 года был личным секретарем Керенского, а 30 августа 1918 года по заданию Бориса Савинкова застрелил чекиста большевика Моисея Урицкого, прославившегося своими зверствами.



Леонид Каннегисер.
Последняя фотография
из Петроградской ЧК.
1918

О Керенском Каннегисер написал в стихотворении «Смотр»:

На солнце, сверкая штыками —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос! Запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.

Сердца из огня и железа,
А дух — зеленеющий дуб,
И песня-орёл, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.

На битву! — и бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу весёлую смерть.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать —

Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

27 июня 1917. Павловск

«Песня-орел, Марсельеза!» — эти слова говорят о коннотации образа Керенского с Французской революцией. Белый конь вошел в мифологию первых месяцев правления Керенского. По воспоминаниям современников, когда в июне 1917 года новый военный министр задумал организовать в Павловске смотр местного гарнизона, командующий петроградским военным округом генерал П.А. Полковцев убедил его в том, что объезжать строй нужно непременно верхом. Керенскому подвели огромного белого коня, на котором некогда ездил царь. Прямо-таки новый хозяин России. И призывал к войне до победного конца. Есенин, человек иронического склада, в поэме «Анна Снегина» тоже вспомнил белого коня, но уже с усмешкой:

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над страной калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

Строже прочих были философы. По воспоминаниям С. Франка, Струве был резко против: «Многие либеральные деятели в эти дни считали необходимым все же поддерживать Керенского как единственного человека, популярность которого имела, как им казалось, шансы сдержать грозно нараставший поток большевизма; по этим соображениям они находили нужным участвовать в тогдашнем шумном, совершенно безмерном и безвкусном прославлении его имени как вождя и спасителя России. Струве отчетливо сознавал опасность такой позиции. Своим политическим друзьям он неустанно советовал: “Поддерживайте Керенского, но не создавайте ему рекламы”»¹.

Степун, который до конца принимал Керенского со всеми его слабостями, тоже подчеркивал его ориентацию на стиль идеально увиденной им Французской революции: «Описывая выступления Керенского, Суханов в своих “Воспоминаниях” дважды подчеркивает, что Керенский часто бывал на высоте французской революции, но никогда не бывал на высоте русской, что в устах Суханова значит на высоте социальной революции. Этой формуле нельзя отказать в некоторой правильности. В той решительности, с которой Керенский защищал надклассовый, то есть всенародный характер Февральской революции, бесспорно чувствовался чуждый социализму 20-го века пафос. Несмотря на то что гармонирующая формула свободы, равенства и братства подверглась, в связи с обострением социальных взаимоотношений в 19-м веке, жестокой критике, она все еще переживалась Керенским как некая трехипостасная Истина.

В речах Керенского, как это ни странно, часто звучала какая-то, почти шиллеровская восторженность (выделено мной. — В. К.), какая-то юношеская вера в значение личности (а потому и в себя самого) в истории. В сущности социалист Керенский был гораздо большим либералом, чем либерал Милюков, не совсем чуждый марксистской социологии»².

Он вошел в синодик для обязательного портретирования. Самые крупные художники тех лет получили заказ на изображение Керенского. Этот факт тоже попал в литературу, воистину Керенский был литературным человеком, о нем все время писали литераторы. Вот и Маяковский:

¹ Франк С.Л. Воспоминания о П.Б Струве // Франк С.Л. Непрочитанное: Статьи, письма, воспоминания. М.: Моск. школа полит. иссл. 2001. С. 487.

² Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя. 2000. С. 409–410.



И.И. Бродский.
Портрет А.Ф. Керенского.
1917

Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.



И. Репин.
Портрет А.Ф. Керенского

Но самый либеральный его закон, можно сказать, и вправду шиллеровский, оказался самым катастрофическим для России и, естественно, для него самого. Конвент держался террором и гильотиной, а Керенский издал 12 марта указ, отменяющий в России смертную казнь. В военной ситуации, в ситуации разгрома бандитизма, падения и развала армии этот указ оказался страшнее самых страшных указов Петра, на которого временами ориентировался Керенский, поминая его в своих бесконечных речах. Он надеялся на силу слова, которая так помогала ему на заре февральского поворота, но жизнь шла дальше. Его прозвали «**главноуговаривающим**». Но уговоры перестали действовать на толпу. Толпа ждала силы и приказа. В Тулоне, позвавшем на помощь англичан, молодой капитан Наполеон Бонапарт не уговаривал, а ударил по восставшим и по английским кораблям из пушек ядрами и картечью. Революция была спасена. Восстановления смертной казни требовал Корнилов, с которым пытался вступить в союз Керенский. И 12 июля 1917 года смертная казнь была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя и за другие воинские преступления. После Октябрьского переворота II Всероссийским съездом советов рабочих и солдатских депутатов был издан декрет от 28 октября 1917 года, вопрекор Корнилову и Керенскому: «Восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. На фронте восстанавливается полная свобода агитации. Все солдаты и офицеры — революционеры, находящиеся под арестом по так называемым “политическим преступлениям”, освобождаются немедленно»¹. 21 февраля 1918 года СНК РСФСР принимает декрет — Социалистическое отечество в опасности! Декрет провозгласил переход к чрезвычайным мерам и допустил возможность применения расстрела на месте. 16 июня 1918 года вышло постановление о том, что революционные трибуналы в выборе мер борьбы с контрреволюционным саботажем не связаны никакими ограничениями. Трибуналам предоставлялось право выносить приговоры к расстрелу. Первый приговор к расстрелу революционным военным трибуналом был вынесен в отношении бывшего начальника военно-морских сил Балтийского флота контр-адмирала А.М. Щастного, который был признан виновным в подготовке контрреволюционного переворота на Балтийском флоте.

¹ Декрет об отмене смертной казни (принят II Всероссийским съездом Советов 28.10.1917).

* * *

Гениальный Бабель дал свое объяснение этой странности политика, который не чувствовал, практически не видел происходящего, хотя, казалось бы, был в самом центре событий.



Исаак Эммануилович
Бабель

У Бабеля есть небольшой очерк «Линия и цвет», в котором он показал слабость Керенского, вроде бы физиологическую, но это мощная гипербола, объясняющая его постоянное наступание на грабли. Он рассказывает, что познакомился с Керенским в 1916 году в санатории недалеко от Гельсингфорса. И вдруг Бабель замечает близорукость Керенского. И происходит между ними такой разговор:

«— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.

- Вы близоруки, Александр Федорович?
- Да, я близорук.
- Нужны очки, Александр Федорович.
- Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неопишемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там у реки. Плаку-

чая ива, склонившаяся над водопадом — вы не видите ее японской резьбы. <...> Купите очки, Александр Федорович, заклиная вас.

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороку. Полтинник за очки, это — единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. <...> Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник... <...>

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб. В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном Доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа душала его овчинами своих страстей. Что увидел в ошетилившихся овчинах — он, единственный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставившим никакой надежды:

— Товарищи и братья...¹

Возможно, если бы у Керенского были очки, то не случился бы «не оставлявший никакой надежды» голос Троцкого. Речь, конечно, **о духовной слепоте, о нежелании** видеть происходящее вокруг него.

Но почему? Так верил в свою звезду?

Кроме трезвого Бабеля, романтической Цветаевой, личного секретаря премьера Каннегисера был и гениальный Борис Пастернак, к сожалению, сервильный, написавший стихи о всех вождях страны, но так, что это не выглядело прямым подхалимажем. В стихотворении «Весенний дождь» Пастернак описывает концерт-митинг 26 мая 1917 года на Театральной площади в Москве по случаю приезда А.Ф. Керенского.

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

¹ Бабель И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература. 1991. С. 106–107.

Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибор
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Сталин назвал Пастернака «небожителем» в том смысле, что в жизни он ничего не понимает. Всей своей жизнью поэт доказал справедливость этой характеристики. Керенского он не угадал, как не угадал Ленина и Сталина, тоже возвеличив их. Но премьер Временного правительства еще не добрался до самой вершины. А потому ему легче было сломаться. Тем более что в отличие от двух советских вождей в нем еще оставалась совесть, которая ослабляла его, что не мешало ему вкушать радости жизни.

Медные трубы портят всех, даже шиллеровских мальчиков. «Ласковая кобра» Зинаида Гиппиус была зорка и очень приметлива, замечая то, что другие не видели, и кусала беспощадно. В дневниковой записи от 9 августа она описала капуанское разложение Керенского, подтвердив заодно и **наблюдение Бабеля** (которого она, конечно, не знала, но тем интереснее совпадение): «Поразительно: Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом. Завел (живет — в Зимнем Двор-

це!) “придворные” порядки, что отзывается несчастным мещанством, parvenu.

Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснотушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от “успеха” в смысле шалапинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что “идет книзу”. **Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было, а теперь он окончательно ослеп** (выделено мной. — В. К.); теперь, когда ему надо выбирать людей»¹.

Два порока очевидны: слепота (физическая и моральная) и тщеславие (подчеркиваю: не честолюбие, а тщеславие). Два эти порока оказались сплетены в его натуре, видны всем. Особенно после того, как к нему привыкли, эйфория ушла и стали замечать темные пятна. **Княгиня Палей писала о Керенском:** «Он назначил себя военным министром и министром-президентом. Он буквально разрывался, ездил на фронт, говорил там речи, возвращался обратно, опять говорил, уезжая в Москву, в Севастополь, куда его призывало волнение моряков, и производил впечатление белки в колесе.

В это время Ленин не довольствовался разговорами. Он действовал почти открыто, и его приверженцы с каждым днем становились все более многочисленными. Керенский, ослепленный своей мнимой славой, ничего больше не видел и не слышал. Не отказывая себе ни в малейшей фантазии, он поселился в Зимнем дворце и спал на кровати императора Александра III. Этот возмутительный поступок создал ему еще больше врагов, чем раньше. Владимир написал на эту тему едкую сатиру в стихах под названием “Зеркала”, где он огненными словами клеймил Керенского. <...> Многие монархисты начинали желать захвата власти Лениным и его сторонниками, для того только, чтобы свергнуть ненавистного Керенского. Они исходили из принципа: “Чем хуже, тем лучше”. Наконец, 4 июля большевики “испробовали свои силы”, напав на Временное правительство; нападение на этот раз не имело успеха, потому что массы, хотя и развращенные, не доросли еще до большевизма»².

Приведу стихи, написанные, предположительно, сыном княгини Палей:

Зеркала в тиши печальной
Зимнего дворца
Отражают взгляд нахальный
Бритого лица.

¹ Гиппиус З. Дневники. Минск: Харвест, 2004. С. 159.

² Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М.: Книга, 1991. С. 203–204.

В каждом зале без отличья
 В каждом уголке
 Смотрит на своё величье
 Некто в пиджаке.
 И предавшись ослеплению
 Мнит герой страны,
 Что затмит своею тенью
 Тени старины,
 Что дорога власти
 Пышной перед ним легла...
 Но в ответ ему чуть слышно
 Шепчут зеркала:
 «Что твои пустые речи,
 Дерзостный пришлец,
 Торжеством былых столетий
 Защищён дворец».

Известнейшая революционерка Лариса Рейснер, поэтесса, комиссар большевиков на флоте и т.п., героиня пьесы В. Вишневского «Оптимистическая трагедия», почти в унисон с княгиней Палей писала о бытовом поведении премьер-министра: «О частной жизни Керенского во дворце, о бесчисленных признаках бестактности по отношению к собственности Романова мы не станем здесь говорить. Бог с ним. Все это дурно пахнет. Но вот мелочь, пустяк, а какой характерный. У Николая II был собственный бильярд. При отъезде в Тобольск шары слоновой кости, как личное имущество, были уложены и приготовлены к отправке. Министр приказал их вернуть и, как говорят сторожа, “собственноручно изволили забавляться”.

И так во всем. Начиная с уборной и кончая библиотекой. Мы бы хотели знать, зачем вообще нужно было вселяться в Зимний дворец? Зачем нужно было есть и спать по-царски: попирать ногами изящество и роскошь, которыми имеет право распоряжаться только народ, которые принадлежат будущему, как музей Александра III, как Эрмитаж и Третьяковская галерея¹. Уже потом революционный поэт Маяковский в поэме «Хорошо!» об этом же, эта позиция мещанина во дворянстве, игравшего немножко в Бонапарта, раздражала всех:

Царям
 дворец
 построил Растрелли.

¹ А.Ф. Керенский: pro et contra. С. 343.

Цари рождались,
 жили,
 старели.
 Дворец
 не думал
 о вертлявом постреле,
 не гадал,
 что в кровати,
 царицам вверенной,
 раскинется
 какой-то
 присяжный поверенный.
 От орлов,
 от власти,
 одеял
 и кружевца
 голова
 присяжного поверенного
 кружится.
 Забывши
 и классы
 и партии,
 идет
 на дежурную речь.
 Глаза
 у него
 бонапартьи
 и цвета
 защитного
 френч.



Александр Федорович
 Керенский

3—4 июля большевики пытаются совершить государственный переворот, бунт подавлен, но Ленин скрылся.

Развал армии и тыла требовал решительных наполеоновских мер. Керенский соглашается с Савинковым и 19 июля приглашает в Питер Корнилова на должность Верховного главнокомандующего. Но Корнилов требует возвращения смертной казни. Поначалу Керенский вроде бы соглашается, но тут же берет свое согласие обратно.



А.Ф. Керенский
и генерал
Л.Г. Корнилов

Савинков говорит ему, что его слабование губит Россию. Но Керенский тянет время. В результате Корнилов поднимает восстание ради спасения России. Восстание подавлено, Корнилов объявлен мятежником. Савинков сказал ему, что «армия после удара нанесенного ей погибнет. Керенский мне ответил, что армия не погибнет и что, напротив, воодушевленная победой над контрреволюцией, она ринется на германцев и победит»¹. Все вышло наоборот, силу набрали большевики, солдаты на улицах города расправлялись с офицерами, грабежи стали нормой жизни. Корнилов заключен в тюрьму.

«Запирайте этажи, / нынче будут грабежи», — констатировал Блок в поэме «Двенадцать».

Деникин в «Очерках русской смуты» писал: «Керенский, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: не мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти армию, освободить окончательно

власть от советской зависимости, и установить внутренний порядок в стране. Но добровольное принятие указанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая, невзирая на сказанное, все же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но единственной опорой»¹. Несомненно, Керенский боялся, что генерал создаст новую точку власти, станет явным лидером типа реального Бонапарта, хотя Корнилов думал лишь обеспечить народу путь к Учредительному собранию и сохранить его, пока не случатся реальные выборы. И победа над Корниловым Керенского, который организовал сопротивление генералу, вооружив даже большевиков, бесспорно вела к преобладанию большевиков, для которых Корнилов стал жупелом, символом восстановления царского режима.

Но кроме предательства генерала Корнилова было пятно на совести, особенно у человека, живущего отныне в царской опочивальне. Думаю, совесть постоянно ему твердила о предательстве царя и его семьи, в чем он бесконечно оправдывался: «Правда ли, что мы могли и не захотели спасти жизнь царской семьи своевременной отправкой ее за границу вообще и в Англию в частности? Этот вопрос интересовал очень многих; обсуждался в иностранной печати, и я считаю своевременным теперь объяснить, почему в конце лета 1917 года Николай II и его семья оказались не в Англии, а в Тобольске.

Вопреки всем сплетням и инсинуациям, Временное правительство не только *смело*, но и решило еще в самом начале марта отправить царскую семью за границу. Я сам 7 марта в заседании московского Совета, отвечая на яростные крики: «Смерть царю, казните царя», сказал: «Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам доведу его до Мурманска». Это мое заявление вызвало в некоторых советских кругах обеих столиц взрыв возмущения. Не успел еще я вернуться в Петроград, как глубокой ночью вооруженная, с броневиком, как потом оказалось, самозванная советская делегация ворвалась в Царскосельский дворец и требовала предьявления ей царя с явной целью его увоза. Сделать это ей не удалось.

Но Временное правительство после этого изъяло охрану царя из ведения военного министерства и командующего войсками генерала Корнилова и возложило эту тягчайшую обязанность на меня — министра юстиции.

¹ Савинков Б. Воспоминания террориста. М.: Вагриус, 2006. С. 384.

¹ А.Ф. Керенский: pro et contra. С. 401—402.

Впредь случаев, подобных описанному, не повторялось. Однако, признавая пребывание царской семьи у самой столицы и вообще в России не обеспеченным от всяких случайностей при всяких возможных политических потрясениях и переменах, Временное правительство озабочено было подготовкой выезда обитателей Александровского дворца за границу и вело соответствующие дипломатические переговоры с лондонским кабинетом.

Однако уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы, *Временное правительство*, получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен.

Утверждаю, что если бы не было этого отказа, то Временное правительство не только “посмело”, но и вывезло бы благополучно Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы вывезли его в самое тогда в России *безопасное место* — в Тобольск. Несомненно, что если бы корниловский мятеж или октябрьский переворот застали бы царя в Царском, то он бы погиб не менее ужасно, но почти на год раньше»¹.

Разумеется, если бы Керенский не боялся поспорить с Советами (повторю наблюдение Деникина), то он мог бы призвать обожавших его солдат и проводить царя и его семью, как и обещал, до границы. Но есть не физическая трусость, а гражданская. Та трусость, которой от Керенского не ожидали, верили ему. Но именно она сыграла решающую роль. А потом много лет он придумывал себе разнообразные оправдания. А потом кстати оказался и отказ английского правительства. Что касается Англии, то еще Столыпин предупреждал, что надо относиться к Великобритании с опаской. Родственница царской семьи княгиня О.В. Палей писала: «В Петербурге в начале революции рассказывали, что Ллойд-Джордж, узнав о падении царизма в России, сказал потирая руки: “Одна из целей, которую преследовала Англия, ведя войну, достигнута...” Странная союзница Великобритании, которой всегда надо было бы опасаться, потому что на протяжении трех веков русской истории враждебность Англии проходит красной чертой»². Но Керенский делал вид, что удивлен, хотя дружил с английским послом Дж. Бьюкененом, который не последнюю роль сыграл в судьбе русской монархии.

Но все оправдания снимаются рассказом, КАК он отправлял царя и его семью в Тобольск: «Керенский сначала убедил царскую семью

в том, что они, согласно собственному желанию, поедут в Крым. Этот человек был воплощением лживости! Каково же было изумление царской фамилии, когда им посоветовали “взять как можно больше мехов и зимней обуви”! И только в день, назначенный для отъезда, им объявили, что Совет рабочих и солдатских депутатов избрал местом их пребывания город Тобольск в Сибири! Отчаяние семьи было безгранично. Все они обожали Крым и надеялись, что южное солнце и прекрасная природа заставят их, если не забыть, то, по крайней мере, легче перенести их мучительные испытания. А отъезд в Сибирь был ссылкой и низкой мстостью жалких и злобных людей, которые посылали их туда, где раньше жили каторжники...



Николай II
с женой
Александрой
Федоровной.
Фотограф
А. Пазетти. 1894

Отъезд был назначен на час ночи с 31 июля на 1 августа. Керенский суетился и бегал, приказывал подавать поезд и отменял приказание, проявляя свою обычную бестолковость. Государь и его семья попросили придворного священника отслужить молебен и, поцеловав в последний раз икону Пресвятой Девы, принесенную для этого из церкви Знаменья, сидели, одетые, терпеливо ожидая часа отъезда. Государь, привыкший повелевать, подчинялся силе событий. Изнемогая от усталости и волнения, они оставались гото-

¹ Керенский А.Ф. Дневник политика. М.: Интелвак, 2007. С. 300–301.

² Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М.: Книга, 1991. С. 183.

выми к отъезду до шести часов утра. Наконец, они покинули дом, в котором жили с первого дня брака, где родились их дети и где они были счастливы; они разлучились с верными слугами, которые горько плакали, прощаясь с ними. Они покидали все это счастливое прошлое для того, чтобы отправиться в неведомую страну, которая казалась им далекой, холодной и печальной... Наконец, в шесть часов утра Керенский с важным видом объявил, что “все готово”. <...> Прибыв на вокзал, их величества заметили, что поезда у платформы не было, а он стоял так далеко на путях, что его едва было видно. Керенский объяснил этот факт как меру предосторожности. И бедная государыня с больным сердцем должна была идти в течение десяти минут по насыпи, увязая в песке. Подойдя к вагону — это не был уже царский вагон, — государыня не могла достать ступеньки, так велико было расстояние между ней и землей! Не могли даже подумать о том, чтобы принести складную лестницу для того, чтобы облегчить ей этот подъем! После больших усилий бедная женщина взобралась и, бессильная, всей своей тяжестью упала на площадку вагона¹.



Слева направо: полковник Барановский, генерал-майор Якубович, Б.В.Савинков, А.Ф. Керенский и полковник Туманов в библиотеке Николая II

Расплата пришла скоро. Наступило 25 октября, и Керенский из Зимнего сбежал в машине американского посла, пообещав привести подмогу. Разумеется, подмоги не было. Даже когда 31 октября Савинков звал его собрать сопротивление большевикам, он был совершенно ничтожен:

«Вечером я прошел попрощаться с Керенским и напомнить ему его обещание подождать от меня известий и воздержаться пока от

¹ Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М.: Книга, 1991. С. 205–207.

переговоров с большевиками. Керенский лежал на диване в одной из комнат Гатчинского дворца. В камине горел огонь. У камина, опустив головы, молча, в креслах сидели его адъютанты поручик Виннер и капитан второго ранга Кованько.

Керенский не встал, когда я вошел. Он продолжал лежать и, увидев меня, сказал:

- Не ездите.
- Почему?
- Вы никуда не доедете. Мы окружены.
- Я в этом не уверен.
- Я имею сведения.
- Я все-таки поеду.
- Не нужно. Оставайтесь здесь. Всё пропало.

Тогда я сказал:

— А Россия?

Он закрыл глаза и почти прошептал:

— Россия? Если России суждено погибнуть, она погибнет.. Россия погибнет.. Россия погибнет...»¹

Россия погибла. Но поэты, лучшие наши поэты, не знавшие всех хитросплетений его поступков, видели в нем теперь трагического героя, который идет в ад и ведет туда за собой Россию. Мандельштам воспринимал Керенского как противостоящего московско-азиатской дикости, ему угрожают почти доисторические рыла, — «на скифском празднике, на берегу Невы, при звуках омерзительного бала» — почти Спасителя, которого, как и Христа, ненавидит чернь.

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы
И ошетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый, —

— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало.

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
— Вязать его, щенка Петрова!

¹ Савинков Б. Воспоминания террориста. С. 396.

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламеня,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые, —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Ноябрь 1914

Был в России весьма умный французский посол Морис Палеолог, человек без иллюзий и оболещений. В самом начале возвышения Керенского он записал: «В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина»¹.



В.И. Ленин

К этому стоит добавить еще один взгляд со стороны: британского дипломата и писателя Роберта Локкарта, отбившего у Горького его любовницу Марию Будберг: «Керенский явился символом необходимой интермедии между царской войной и большевистским миром. Его поражение было неизбежно»². Его близость к русской верхушке была очевидна. Впоследствии Локкарт попал в историю с так называемым «заговором послов», устроенным чекистами.

Уже позже, в 1918 году, описанном Михаилом Булгаковым в «Белой гвардии», имя Керенского произносилось русскими офицерами, еще желавшими сохранения русской государственности, с нескрываемым презрением. Главный герой романа говорит: «Я, —

¹ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.: Политиздат, 1991. С. 466.

² А.Ф. Керенский: pro et contra. С. 191.

вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, — к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова “социалист”. А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского»¹.

России не хватало Столыпина, которого Николай II в сущности сдал террористам. Столыпин — это особый тип человека, способного держать государство. Такие люди как Столыпин в мировой истории единичны. Жизнь их особая Великий русский философ и писатель Василий Розанов написал о трагически погибшем премьер-министре: «“Политика” — это не мудрость. Политика — это ярость. <...> Кто это может понять? Никто! <...> Екатерина понимала. Понимал Шешковский. Понимал вот Столыпин. Понимал Цезарь. Понимают люди каких-то совсем не наших “измерений” — не тех добрых и милых “измерений”, в которых люди пьют чай с сахаром, ходят в гости друг к другу, пишут статьи в газетах и журналах. Ум их, душа их, сердце — из какой-то темной бронзы, как и их памятники»². Темной бронзы в душе и сердце Керенского не было. Но со смертью не договоришься. С бандитами, наводнившими Россию, это тоже было практически невозможно. Словоговорением Керенский замещал дела. Та Россия, которую он думал защитить, в результате пропала. В русской литературе образ слабовольного интеллигента от Алексея Спиридоновича Тишина (Эренбург) до Васисуалия Лоханкина (Ильф и Петров) не случаен.

Сбежавший вначале в Европу, потом в США Керенский много писал, сотрудничал в газетах и журналах, выпустил несколько книг. У него было две задачи.

Первая: показать губительность для России правления Ленина. Вот как он оценивал его: «Государственная измена Ленина, совершенная им в самый разгар войны, исторически бесспорный и несомненный факт.

Конечно, Ленин не был вульгарным, в обычном смысле слова, агентом Германии. Буржуазное отечество он не считал своим отечеством и никаких по отношению к нему обязательств в себе не чувствовал. Измышленная же им теория поражения вообще и поражение царской монархии “в первую очередь” психологически вполне подготовила его к осуществлению его теорий путями, которые на обычном языке “буржуазной” государственности именуются предательством и изменой.

¹ Булгаков М. Белая гвардия // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 246.

² Розанов В.В. Перед гробом Столыпина // Розанов В.В. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.: Республика, 2011. С. 268.

Нужно сказать, что самая чудовищность преступления Ленина сделала его настолько невероятным в сознании обыкновенного честного человека, что до сих пор еще огромное большинство людей не может поверить в факт. А между тем он подтвержден сейчас уже и совершенно определенными признаниями в воспоминаниях Гинденбурга, Людендорфа и генерала Гофмана, ближайшего руководителя всех немецких операций на русском фронте, и разоблачением Эдуарда Бернштейна.

Я не буду здесь приводить всех соответствующих выдержек из опубликованных работ упомянутых только что трех немецких генералов. Достаточно следующих немногих слов генерала Людендорфа: «Наше правительство, *послав Ленина в Россию*, взяло на себя огромную ответственность. Это путешествие оправдывалось с военной точки зрения: нужно было, чтобы Россия пала»¹.

Вторая: оправдать себя в истории с Корниловым и отправкой царя в Тобольск. Ведь очевидно, что в ситуации массового насилия оставить царя в России значит обречь его на смерть. В порядочность Ленина и большевиков он верить не мог. И все же делал вид, что с царем он поступил правильно.

Но вот отрывок из интервью Марии Городовой с епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым):

«— *Можно ли было избежать победы большевиков в 1917-м?*

— Ровно с этими словами в 1964 году один американский журналист обратился к Александру Федоровичу Керенскому.

Тот ответил: «Можно. Для этого надо было расстрелять всего одного человека». — «Ленина?» — «Нет, Керенского», — ответил Александр Федорович. Это опять к теме позднего раскаяния.

Но на самом деле даже реализация предложения Керенского вряд ли бы что-то решила: общее безумие достигло в те месяцы поистине все поглощающих масштабов².

Это пришедшее на старости лет понимание безумия своих поступков, когда человек, говоря словами Пушкина, «с отвращением читает жизнь свою», уже не может повернуть время вспять и исправить содеянное. Это понимание — расплата за человеческую низость.

Вернемся в заключение к Гоголю, который искал лидера для России, но все лидеры оказывались «ревизорами». Приведу слова городничего из заключительной сцены «Ревизора»: «Вот смотрите,

смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (*Грозит самому себе кулаком.*) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека!»¹

Ошибка вполне человеческая. Но для страны катастрофическая.



Александр Федорович
Керенский в США.
1969 год. Фото: AP

¹ Керенский А.Ф. Потерянная Россия. М.: ПРОЗАиК, 2014. С. 30.

² Городова М. Лента времени. Когда история не разделяет, а объединяет // Российская газета. 2015. 18 ноября. URL: <https://rg.ru/2015/11/19/istoriya.html> (Дата обращения: 11.03.2019.)

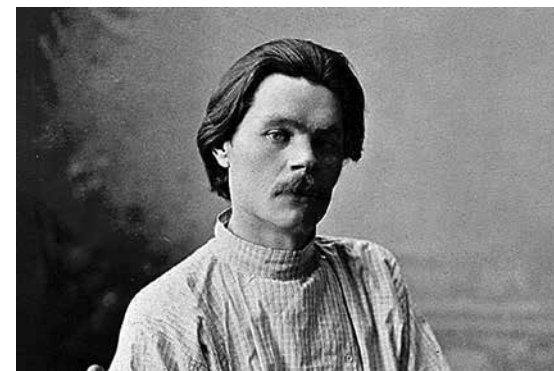
¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. М.: Наука, 2003. С. 83.

«Челкаш» М. Горького: рождение босяка как победителя русской культуры

Из русских писателей, признанных в мире, Горький, пожалуй, самый загадочный. Кажется, славы было больше у Льва Толстого, но она была, как бы это сказать, другого наполнения, в нем искали глубины и учительства. Горький был по популярности, если можно позволить такое сравнение, предшественником поп-звезд. У него не учились (хотя сам он мечтал стать учителем), его изучали. Когда пришла поп-слава, а она быстро пришла к «буревестнику», его начали использовать как рупор радикальных идей. Приведу слова Ходасевича, много лет прожившего рядом с Горьким: «О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег»¹.

Но он любил несогласных с миром, еретиков, а марксисты, которые очень быстро подмяли Горького, стали требовать от него идей строительства нового мира. Ангажированность Горького очевидна, но я хотел бы понять, как из певца босяков, то есть блатных, он попытался стать учителем России. Сам он творил миф своей жизни.

Над этим многие подшучивали. Однако обнаружить, где кончается его реальная жизнь и начинается сотворение мифа, поначалу сложно. Любопытно, что проведя в Европе в общей сложности более 18 лет, Горький при этом не овладел ни одним иностранным языком, в отличие от русских классиков, знавших по несколько языков. В эти годы в связи с развитием России русский язык стал одним из языков, на котором шли важнейшие для мира сообщения.



Максим Горький

Чрезвычайно образованная и писавшая в мужском роде Зинаида Гиппиус дала жесткую характеристику писателю в статье 1907 года: «О литературе Максима Горького почти нечего говорить. Как я уже сказал — *писатель* Горький для нас давно заслонен *деятелем* Горьким. Потерявшие, в огне общественных страстей, всякое понятие о литературной перспективе, наши критики и читатели привыкли говорить: “Горький и Толстой, Горький и Чехов, Гёте и Горький”. Достоевского упоминают реже: не очень верят, что он равен Горькому. Это все, конечно, не важно. Толстой остается со своей Анной Карениной, а Горький с собственным Фомой Гордеевым, и при том не перестает быть Максимом Горьким, чрезвычайно интересным знаменем своего времени. О писательстве его скажем кратко несколько слов, с которыми согласится каждый спокойный и разумно-культурный человек: писатель, конечно, с большими способностями, даже с талантом; язык небрежен, однообразен, выразителен — в одном тоне; природу Максим Горький чувствует грубо и мало; описывает, придумывая слова, и не заботится о промахах, заставляя героев в один и тот же день собирать яблоки и слушать соловья. Романтизм его и лирика — банальны, детски-неумелы, смешноваты. “Старухи Изергили” его нравятся гимназистам и провинциальным студентам-первокурсникам. “Типов” художествен-

¹ Ходасевич В.Ф. Перед зеркалом. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 238.

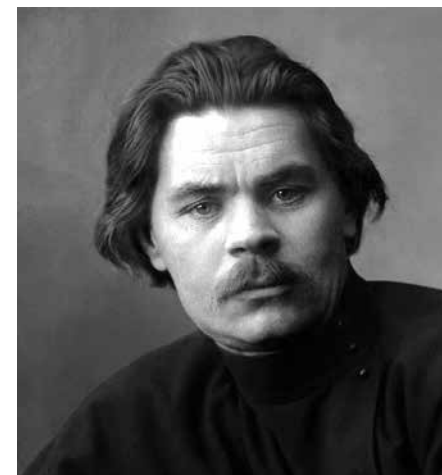
ных у Горького тоже никаких нет. У лиц его не видно лиц. Все один и тот же Челкаш или Фома, или Илья, — Челкашо-Фома-Илья, он же “супруг Орлов”. Удачные словечки и сюжетики показывают, что у автора есть наблюдательность. К художественному развитию Горький неспособен: его последние рассказы приблизительно равны первым, если не хуже их»¹.

Но Горький, конечно, не был простым бытописателем, срисовавшим картинку жизни, хотя основания для такого умозаключения он давал. У него была идея, не энергично-учительская, как у Толстого и Достоевского, не такая мудрая, основанная на преодолении реальности, как у Чехова, его идея, заложенная в первых же текстах, — скорее «бунтовщицкая», а не учительская. Ведь учить бунту нельзя. Горький же не мог вырваться из этой парадигмы. Как написал один из лучших дореволюционных (что важно) толкователей писателя Н.Я. Стечкин (Стародум), автор знаменитого «Русского вестника»: «В Максиме Горьком вижу я деятеля со стремлениями не лучшими, чем стремления беглого каторжника Емельки Пугачева. На лбу Максима Горького я читаю братоубийственную печать Каина, ибо ему любо возбуждать отбросы общества против общества, ему любо видеть, как одурманенные красными словами его, слепцы из членов этого общества сами лезут в босяцкую пасть, сами готовы вложить топор и лом в руки этого босяка» [12, с. 617]. Согласился бы с этим сам Горький? Он ведь считал себя гуманистом, напал на Достоевского за злое начало «карамазовщины». Он ненавидел русского мужика, обоготворенного Достоевским, написал очень жестокую книгу очерков о русских крестьянах [8], где изобразил этот слой России как сборище страшных монстров. Крестьянину он уже в «Челкаше» противопоставил босяка как героя, можно сказать, героя положительного по сравнению с жадным Гаврилой, готовым ради денег на убийство.

«Я, разумеется, никогда и никого не звал: “идите в босяки”, — писал Горький в 1910 году, — а любил и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшают жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни»². Но именно босячество в сочетании с приписанным Горькому ницшеанством до сих пор со-

ставляет нерв интереса к нему. Сквозь два этих концепта смотрят на все его тексты от «Челкаша», «На дне» до «Матери» и «Клима Самгина». Как пишет Павел Басинский в своем блестящем романе-исследовании «Горький», Толстой, например, всерьез сердился и ревновал Горького, если тот не отвечал его априорным представлениям о «писателе из народа». Он скоро обнаружил в нем какую-то морально-эстетическую порчу и записал автора «Челкаша» и «На дне» в ницшеанцы. А потом его записали в ленинцы.

Вряд ли верно и то и другое. Смешно сказать, но ответом на эти представления о Горьком может стать его писательская визитная карточка — гениальный рассказ «Челкаш». Я вынужден здесь процитировать высказывание Бунина о Горьком, к нему я еще вернусь, пока же оно обозначит проблематику горьковской новеллы: «Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между “народниками” и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал “Челкашей”, на которых марксисты в своих революционных надеждах и планах ставили такую крупную ставку»¹. Но можно ли увидеть в раннем Горьком попутчика ранних марксистов? Кажется, здесь стоит подумать о другом раскладе интеллектуальных идей конца XIX — начала XX века в России.



М. Горький

¹ Гиппиус З. Выбор мешка. Углекислота. URL: <http://gippius.com/doc/articles/vybor-meshka.html> (Дата обращения: 11.03.2019.)

² Горький М. Письмо П.Х. Максимова 10 [25] декабря 1910 // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. М.: Гослитиздат, 1955. С. 147–148.

¹ Бунин И.А. Горький // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С. 109.

Рассказ «Челкаш», предмет моего сообщения, быть может лучшее из написанного Горьким. Сюжет прост, акценты расставлены с самого начала. С одной стороны Гаврила, парень от земли, здоровый, но абсолютно без всякой рефлексии и нравственных устоев, мечтающий только о своем хозяйстве, безлюбый, ибо невеста его лишь ход к богатому тестю. И если получит деньги, то пошлет прочь и невесту и ее отца. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно. Замечу, что фамилии у Гаврилы нет. Это значит – очевидно, он еще как лист на дереве, лицо пока не поименованное. С другой стороны, босяк Гришка Челкаш. Человек с именем и фамилией. Для Гаврилы он как бы двоится, но остается в пределах образа хищного персонажа. Сначала он называется «старым травленным волком, хорошо знакомым гаванскому люду, заядлым пьяницей и ловким, смелым вором». Также Челкаш внешне напоминает хищную птицу, степного ястреба. У Челкаша хищная худоба, а также горбатый, хищный нос и прицеливающаяся, зоркая походка, своего рода птица-охотник.

Гаврила, признаваясь в желании убить Челкаша, говорит: «Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?»

Насколько реалистичен этот образ? В 1891 году Максим Горький попал в больницу в Николаеве. Его соседом по койке оказался босяк, поведавший писателю свою историю, которая впоследствии легла в основу рассказа, написанного всего за два дня (!) в августе 1894 года в Нижнем Новгороде и тут же отданного В. Короленко. Рассказ, названный «Челкаш», был подписан именем, которое было впервые использовано автором в цыганском рассказе «Макар Чудра» – Максим Горький. Он был напечатан в народническом журнале «Русское богатство» в 1895 году (№ 6) при содействии В.Г. Короленко, что говорит о магии Горького, ибо рассказ был откровенно антинароднический. В псевдониме Максим Горький, конечно, много показухи. Конечно, быть Пешковым, сочиняя «Песню о Буревестнике» или «Песню о Соколе», ему казалось эстетически неверно, диссонировало с пафосом рассказов. Разве он пешка?

Это стало знаком времени. Потом уже из Придворова появился Бедный, из Петрова – Скиталец, потом из Эпштейна – Голодный, из Дзюбина – Багрицкий, из Шейнкмана – Светлов, пока не дошло до декадентского Луначарского, фамилия которого была почти на-

стоящей, ее дал ему отчим, Луначарского, умудрившегося над могилой сына читать стихи Бальмонта. И т.д. Но начало этим претенциозным маскам положил Горький. Правда, Андрей Белый и Саша Черный – псевдонимы без претензий. Стоит ли добавлять к этому псевдонимы, которые правили потом десятки лет Советской Россией. А началось все с Горького.

Челкаш является в рассказе как вольный человек: «Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина...» И далее: «Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами».

Я подчеркиваю слово *вольный*, хотя Челкаш все время говорит о свободе. Проблема соотношения свободы и воли очень важна для русской культуры, об этом писали многие, ибо путаница была очевидна. Разинская вольница в чем-то была равна самодержавному произволу, не знавшему юридических преград своим хотениям. Но свобода для Челкаша – иное название воли, он не видит в них разницы. А воля не знает свободы другого, свобода ограничивает человека, отстаивая его личность, не уничтожая других. Горький впервые в русской литературе позволил интеллектуальное прославление разбойничьей воли. Его Челкаш, конечно, сильнее крестьянина Гаврилы. Но почему? Одна из очевидных причин, что из своего представления о воле он вычеркнул понятие Бога. Бог дает свободу, но и ответственность, как писал Достоевский. Воля вне нравственных норм. Это увидел Мережковский: «Босяк ненавидит народ, потому что народ – крестьянство – все еще бессознательное христианство, пока старое, слепое, темное – религия Бога, только Бога, без человечества, но с возможностью путей и к новому христианству, зрячему, светлому – к сознательной религии Богочеловечества. Последняя же сущность босячества – антихристианство...»¹ А вера в Бога требовала борьбы за нее. Проще было от нее отказаться. Любовь Горького к Ницше не случайна.

¹Мережковский Д.С. Чехов и Горький // Мережковский Д.С. Грядущий хам. М.: Республика, 2004. С. 53.

С этого момента, с «Челкаша», «Коновалова», «Песни о Соколе», «Песни о Буревестнике», слава Горького росла не по дням, а буквально по часам: «Успех у Горького, — пишет Философов, вторя Гиппиус, — был совершенно особенный. Такого раболепного преклонения, такой сумасшедшей моды, такой безмерной лести не видали ни Толстой, ни Чехов. Горький был герой дня, “любимец публики”, нечто вроде модного оперного певца, который в течение коротких лет кружит голову своим поклонникам и затем, потеряв голос, сходит со сцены, погружаясь в забвение. Увлечение Горьким психологически понятно, легко объяснимо. Слишком вовремя появился он, слишком глубокие струны задел он, чтобы не встретить отклика во всей новой России, которая только начинает просыпаться. Широкой публике казалось, что дарование Горького неисчерпаемо, что развитию его нет пределов, и она подстегивала Горького, шекотала его самолюбие, сделала его своим кумиром. Она не давала ему возможности сосредоточиться, оглянуться, понять самого себя, меру своих сил, характер своего дарования. Драма “На дне” была высшая точка творчества Горького; после нее начинается падение. По всей Европе, можно сказать по всему земному шару, распространяются произведения Горького, даже самые неудачные, и весь мир видит, как писатель все ниже и ниже падает, как он лежит почти “на дне” невероятной банальности и претенциозной риторики»¹.

Когда-то моя бабушка, кончившая гимназию, влюбленная, как и положено гимназистке, а потом революционерке, в Горького, вспоминала, как молодежь и «старшие» относились к Горькому. Иронически пересказывала она «тупые», по ее определению, слова учителя словесности, который говорил о Горьком, что тот «поставил на пьедестал босяка и им восхищается». Босяк воспринимался молодыми революционерами как прирожденный бунтарь против власти. Попав в тюрьму, она с другими заключенными устроила побег уголовнику, который потом продолжил грабить и убивать, как она с досадой говорила: мол, ошибка вышла.

Стоит, однако, заглянуть в словарь блатного сленга, где дается определение босяка: сообщается, что это блатной пацан, кичащийся тем, что не ценит гроши, у него по жизни то деньги есть, то денег нет, и что раньше босяками называли всех воров. Как помним по новелле Горького, это как раз психология Челкаша. Вспомним птичий ряд Горького, коим он восхищается, — охотничьими бойцовыми птицами, хотя бы «Песню о Соколе». Вот и здесь: «Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу об-

ращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал».



Обычно критики осуждают следом за писателем жадного крестьянина Гаврилу. Достоевский плохо знал крестьян, хотя сделал из них символ правды, нравственности. Он любил бедную интеллигенцию, то есть вроде бы тех же босяков, бедных, но рефлектирующих. Но босяк хоть и не богат, но персонаж вопрекор «Бедным людям» Достоевского. Более того, Горький именно в босяках увидел новый отряд русской интеллигенции, другого интеллектуального уровня, но независимого от власти. Как писал Горький в другом знаменитом рассказе «Коновалов»: «А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом “интеллигент”. Но в устах босяка, — хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босяка странно было слышать эти речи».

¹ Философов Д. В. Конец Горького // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С. 94–95.

В чем же дело? Горький не выдумал свое учение, он был наблюдатель и сопереживатель, но он не был простой зарисовщик быта... В лучших своих вещах он очень идеологичен. Надо вспомнить эпоху. Еще продолжалось народничество, хотя ощущался его закат. К народу отношение писателей менялось. У нас обычно пишут, что народничество сменил марксизм, и Горький стал его адептом. Но, как мы знаем, Маркса будущий пролетарский писатель не читал, с Лениным и его работами он познакомился лишь в 1905 году. А призыв Ленина «грабь награбленное» прозвучал лишь в Октябрьский переворот. О «Нечаевском презрении к народу» уже из опыта XX века писал Федор Степун: «Надо ли доказывать, что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹. И тут мы от марксизма, ленинизма, даже от нищестанства приходим к внутренней борьбе в русской мысли. Нам известно, что Горький читал «Бесов» Достоевского, роман, построенный на полемике с Нечаевым, с его «Катехизисом революционера». Текст Нечаева обсуждался в русской прессе, пока обсуждались «Бесы», а длилось это переживание романа Достоевского долго. Горький успел о нем высказаться, даже дважды, обругав Федора Михайловича.

Необходимо, однако, привести несколько строк из нечаевского (1869) «Катехизиса»: «Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гвардейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»². В те же годы и Бакунин, который и выдвинул идею разбойника, как главного субъекта революции, писал: «Приближаются годовщины Стеньки Разина и Пугачева. Надо будет отпраздновать память народных бойцов... Все должны готовиться к пиру...»³

Характерен рассказ о восприятии босяком, галахом, Коноваловым истории Степана Разина:

¹ *Степун Ф.А.* «Бесы» и большевистская революция // *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 635.

² <Катехизис революционера> Отношение революционера к самому себе [Текст] // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 247–248.

³ *Бакунин М.А.* Постановка революционного вопроса // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 218.

«— Хочешь про Стеньку Разина?»

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи! И вскоре я уже читал ему Костомарова: “Бунт Стеньки Разина”. Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне: — Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и “князь волжской вольницы” выростал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, — теперь потемневшим и суженным, — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай, — тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение. Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. Он него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей

страстью тоскующего без “точки” духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола».

В этом контексте стоит подчеркнуть отличие горьковского босяка от привычных всем «бедных людей». Сошлюсь на Н. Стечкина: «Читатели привыкли смотреть вниз. Они уже забыли, что сверху льются лучи, и искали огоньков внизу. Таким огоньком, все более и более разгорающимся, оказался “босяк” Горького. <...> Если бы Горький вывел своего босяка, испрашивая к нему сострадания, если бы он “милость к падшим призывал”, он, при всей яркости своей кисти, при всем изучении описываемой среды, не имел бы того успеха, каким он пользуется ныне. Если бы Горький говорил о праве “босяка” на место среди людей, под условием его нравственного возрождения, его не стали бы слушать. Тогда поняли бы, что этот новый босяк есть тот самый, от века существующий нищий, которому каждый из нас подавал копейки, тот самый, кого за бродяжничество мы судим и водворяем на место жительства. Этот “тот самый” босяк не интересен. Он так неопрятен, так дурно пахнут его лохмотья, так он некрасив, с бойными знаками на своем лице. Мы, конечно, по человечеству жалеем его и заботимся несколько о нем. Но что же в нем заманчивого?»

Горький поступил иначе. Он снабдил “босяка” гордостью. Он ничего для него не просит, “босяк” сам требует места, и не последнего. Чтобы не быть голословными, мы подтвердим это далее словами самого Горького. Его босяк не угнетен. Ему не надо сострадания. Он бросает вызов самому небу, не говоря уже о вызове обществу, государству, власти, жизненному укладу. “Босяк” — не пролетарий, стремящийся стать собственником. “Босяк”, презрительно, ни к чему не стремится. У него уже есть самое ценное: сознание своей очевидной независимости от всех требований и оков общественности, нравственности, религии»¹.

Горький с самого начала своей деятельности самый ангажированный писатель, встраивающийся в идейные течения конца XIX века. Челкаш — это элегантный удар по народничеству, но не с позиций Ницше, а с точки зрения радикалов нечаевско-ткачевско-бакунинского толка. От них идет воспевание разбойничества. Это, может быть, Ницше, но из популярных брошюр. Когда победили большевики, он начал искать свою идеологию у большевиков. Это началось еще в Лондоне и на Капри. Сошлюсь на Алданова: «Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей

жизни Максима Горького. “Великий революционный писатель”, как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок ему как большинству русских самоучек, была присуща погоня за “самым передовым”, за “самым левым”. На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии, — чего же можно было желать лучше!»¹

Возлюбленная Горького баронесса Будберг предложила ему после смерти Ленина написать очерк о вожде большевиков, апеллируя к большим гонорарам, которые он за него получит. Это был мостик, по которому после «Несвоевременных мыслей», где изображалось варварство революции, можно было попасть в большевистский стан.

Стоит заметить, что босяки все же изображены Горьким в приподнятом шиллеровском духе, как носители благородства. И до поры до времени интеллигентская публика ему верила, поскольку символы Горького (Сокол, Буревестник) он относил к низшему отряду полуобразованных, то есть босяков. Прошедший все круги каторжного ада писатель Варлам Шаламов, имея уже опыт страшной революции, где верховодили эти самые босяки, написал: «Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и герои “Отверженных”. Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. <...> В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы. <...> Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — фраер»².

Задача Челкашей развратить, растлить и без того нетвердую нравственную основу крестьянской души (см.: «Деревня» Бунина,

¹ *Стечкин Н.Я.* Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. С. 69–70.

¹ *Алданов М.* Армагеддон. М.: ИНТЕЛВАК, 2006. С. 426.

² *Шаламов В.* Об одной ошибке художественной литературы. URL: <https://shalamov.ru/library/6/2.html> (Дата обращения: 11.03.2019.)

«В овраге» Чехова). Гаврила пробивает голову Челкаша камнем, растравленный его легкостью грабежа, потом кается, а Челкаш суров: «Уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел!». То есть убивая убивай: «Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш». Этот посыл одним из первых почувствовал А.С. Суворин, в начале сентября 1902 года посетивший Чехова в Ялте, где они говорили о творчестве Горького: «Он <Чехов> удивлялся, что Горького считают за границей предводителем социализма. “Не социализма, а революции”, — заметил я. Чехов этого не понимал. Я, напротив, понимаю. В его повестях везде слышится протест и бодрость. Его босяки как будто говорят: “Мы чувствуем в себе огромную силу и мы победим”»¹.

Любопытно, что завершение горьковской темы челкашей прозвучало в поэме Блока «Двенадцать». Двенадцать каторжников — двенадцать апостолов нового мира — «без имени святого», без Христа:

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

Бубновый туз, нашитый на спину, — знак каторжника. Мимходом двенадцать каторжников-челкашей убивают Катюку, возлюбленную одного из двенадцати. Убить женщину — первый признак разбойника, вспомним Карла Моора, убившего Амалию, или Стеньку Разина, утопившего персидскую княжну. Челкаши стали властью.

Потом писатель Горький дружил с Ягодой и другими чекистами. Он был обласкан большевиками, но, как написал Алданов

о Горьком, «между тем самое имя его, в связи с разными событиями революции, тогда вызывало ужас и отвращение почти у всей интеллигенции»¹.

Учителем людей он стать так и не сумел, а его сказы о птицах быстро прибрала к рукам власть. Которой он вдруг стал преданно служить. Впрочем, это не вина его, а беда.

¹ Суворин А.С. Дневник. М.: Новости, 1992. С. 353.

¹ Алданов М. Армагеддон. М.: ИНТЕЛВАК, 2006. С. 425.

Миф и реальность Серебряного века

Ибо нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным,
ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы.

(Лк. 8, 17)

Весь Серебряный век, в котором каждое движение поэтов, художников, особенно революционеров проникнуто тайной и мифом. Если русская классика — это попытка демифологизации культуры, то Серебряный век все покрывал тайной, создавая мифы.

Что же такое Серебряный век? Его Бердяев назвал Русским Возрождением. Так ли это? Или это была игра, был миф?

Эпоха канунов.
Культурный синтез
или предвестие Апокалипсиса?

Пожалуй, не было в XX веке периода, который вызывал бы столько разноречивых оценок и суждений, как начало нашего столетия. Даже те российские художники и мыслители, которые в результате произошедшей катастрофы лишились Родины и обеспеченного существования, испытывали в свою эмигрантскую пору ностальгию, вспоминая дореволюционные годы как период невероятного духовного взлета, расцвета искусства и науки, *едва ли не нового Ренессанса*. Сошлюсь хотя бы на Бердяева: словно забыв о своих апокалиптиче-

ских предчувствиях в начале века, он так сказал о своей молодости: «У нас был культурный ренессанс»¹. Интересно, что главу «Россия накануне 1914 года» своих знаменитых мемуаров о так называемом «русском ренессансе», созданную в разгар Второй мировой войны, Степун закончил словами: «Час исполнения страшных русских предчувствий настал»². Появление мирового ужаса было для него неразрывно связано с эпохой «творческого досуга»³. Стоит сравнить это высказывание с наблюдением Бориса Зайцева: «А Россия, несмотря на явно неудачное правительство и вымирание ведущего слоя, росла бурно и пышно (тая все же в себе отраву) — росла и в промышленности, земледелии, и торговле, народном образовании. Все это на наших глазах, хотя тогда, по беспечности наших юных лет, мало мы этим занимались. <...> Некоторые называли даже начало века русским “ренессансом”. Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья — напротив, зерно болезни. Все-таки, в своем роде полоса замечательная»⁴.

Почему? — в этом и стоит разобраться.

Мы упиваемся этим русским Ренессансом начала XX века, восхищаемся им, забывая, что Ренессанс этот вырос из трагического ощущения русскими мыслителями наступающей эпохи. Миропонимание их было вполне эсхатологическим, а не ренессансным. Эта тональность была задана творчеством Достоевского и последним самым знаменитым трактатом Вл. Соловьёва «Три разговора». К сожалению, это обстоятельство крайне редко становится предметом научной рефлексии. Хочется обратить еще внимание на происхождение понятия «Серебряный век». Обычно его относят к известным строчкам Анны Ахматовой из «Поэмы без героя» («И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл»). Но ахматовская поэма построена на центонах. И в данном случае, если говорить о необозначенной ссылке, — это поэт Николай Оцуп, впервые в 1933 году употребивший это словосочетание.

Он писал: «В серебряном веке русской поэзии есть несколько главных особенностей, отличающих его от века золотого.

Меняется русская действительность.

¹ Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 237.

² Степун Ф. Бывшее и несбывшееся: В 2 т. Т. I. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. С. 326.

³ Степун Ф. Встречи и размышления. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 171. В дальнейшем ссылки на эту книгу даны в тексте: ВиР, а затем номер страницы.

⁴ Зайцев Б.К. Молодость — Россия // Зайцев Б.К. В пути. Париж: Книгоиздательство Возрождение — La Renaissance, 1951 С. 18.

Меняется состав, так сказать, классовый, социальный русских писателей.

Меняется сам писатель как человек.

К худшему или к лучшему все эти изменения?

В русской действительности перестает быть тайным тайное: при ярком беспощадном свете событий резче, чем когда-нибудь, виден разрыв в сознании двух России. Это не столько Россия красная и белая, сколько Россия духовная и Россия телесная¹. Стоит, пожалуй, привести соображение современного западного исследователя в связи со статьей Оцуца о бытовании термина «Серебряный век»: «Это обманчивое понятие и нечеткое выражение безоговорочно укоренилось в читательском сознании и, принятое на веру без какой-либо критики, со временем вошло в исследовательский лексикон, став причиной ряда широко распространенных заблуждений². Спорить о прижившихся терминах, как сегодня мне представляется, дело достаточно бесперспективное. Надо исследователю помнить об их происхождении, наполняя этот термин своим содержанием.

Сегодня ученые скорее позитивно оценивают этот период: «Серебряный Век, — пишет С.С. Хоружий. — Недолгая, но блестящая — как и требует имя! — эпоха русской культуры. Из ее богатейшего наследия, из необозримой литературы о ней явственно выступает, заставляя задуматься, одна важная черта: некий новый уровень и новый облик, который приобретает здесь извечный конфликт российского культурного развития — конфликт Востока и Запада, славянофильской и западнической установок. Живой материал культуры, равно как и выводы культурологов, согласно нам говорят, что культура Серебряного Века в немалой степени сумела осуществить сочетание и сотрудничество, “синергию” соперничавших установок и благодаря этому явила собою новый культурный феномен, даже культурный тип — некий духовный Востоко-Запад³. Этот период сравнивали не только с Ренессансом, но и с Античностью, и

¹ Оцуц Н. «Серебряный век» русской поэзии // Числа. Кн. 7–8. Париж, 1933. С. 176.

² Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: О.Г.И., 2000. С. 84. Автор настоящей книги попытался дать свое название этой эпохи в статье, на основе которой построена эта глава: Кантор В. Артистическая эпоха и ее последствия (По страницам Федора Степуна) // Вопросы литературы. 1997. № 2. С. 124–165. Статья была переведена на немецкий: Kantor V. Die artistische Epoche und ihre Folgen. Gedanken beim Lesen von Fedor Stepun // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 9. Jahrgang. Köln: Böhlau Verlag, 2005. Heft 2. S. 11–38.

³ Хоружий С.С. Жизнь и учение Льва Карсавина // Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. М.: Ренессанс, 1992. С. V.

с александрийской эпохой, тоже осуществлявшей западно-восточный синтез.

Откуда такое ощущение? Нельзя забывать, что в этот момент, несмотря на социально-политический кризис (все же «между двух революций!»), Россия переживала «культурный и экономический подъем» (ВиР, 195). Но подъем этот затронул только узкий слой, русская элита получила возможность относительной материальной независимости (впервые не на основе крепостничества), а стало быть, и духовной свободы. «У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, <...> было очень много свободного времени» (ВиР, 171), — замечал Степун. Границы между странами стали открытыми, межкультурное общение — нормой. Этот фактор свободы, как и всегда бывало, пробудил и в России, и в Западной Европе творческую энергию не только в искусстве, но и в науке, что привело к невероятным открытиям, совершившим переворот в жизни человечества. В общественном сознании господствовала идея освобождения всех сословий и классов. Неизбежность выхода на историческую сцену огромного количества людей, не прошедших школу личностной самодеятельности, рождала, однако, ощущение «заката Европы» (Шпенглер), разрушающего цивилизацию «восстания масс» (Ортега-и-Гассет), наступающего «возмездия» (А. Блок) и «нового Средневековья» (Бердяев). Ощущение понятное. В самой своей глубине народные массы не прошли действительной христианизации, отсюда поднявшиеся языческие мифы, созидание по их образцу новых мифов, приводящих к созданию антихристианской реальности (тоталитарные режимы в России, Италии, Германии).

Но при этом русская духовная элита существовала в своеобразной изоляции, фантазмогорическом мире, где наслаждались мимолетной в предчувствии неизбежной катастрофы. Это было странное и удивительное сообщество людей, воспринявших духовные достижения мировой культуры, глубоко переживавших смыслы прошедших эпох, с постоянной игрой понятий, где одно переливалось, нечувствительно переходило в другое, где самые неистовые споры вскрывали относительность позиций, где вместо крови лился «клюквенный сок» (как показал Блок в «Балаганчике»), где казалось возможным произнести все, не боясь, что оно воплотится в жизнь¹, где в комнатах поэтов и художников этого времени висел декадентский «Остров мертвых» А. Бёклина.

¹ «Скажите мне что-нибудь для меня интересное и страшное», — любила озвучивать собеседника Зинаида Гиппиус (Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.: РИК, Культура, 1992. С. 33).



А. Бёклин.
Остров мертвых

А даже апокалиптические предвестия драпировались в «масочку с черною бородой» и «пышное ярко-красное домино» (в «Петербурге» А. Белого). Не «шигалевщину», как Достоевский, не будущего русско-немецкого нациста, как Тургенев (г. Ратч в повести «Несчастливая»), не явленного во плоти Антихриста, как Вл. Соловьёв, но вполне маскарадно-условную «тень Люциферова крыла» видел Блок простертой над XX веком, который

Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслышанные перемены,
Невиданные мятежи...

(«Возмездие»)

А рядом еще более приподнято:

В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

(В. Маяковский. «Облако в штанах»)

Я не хочу сказать, что за этими строками не стояло реальности, реальных ощущений. Конечно, они были. Однако *слишком близко подошли кануны, новое унездилося уже настолько рядом, что его контуры оказались размытыми* («большое видится на расстоянии»), поэтому даже трагические слова Блока звучали *неконкретно и как-то общо*. Но — звучали. За вроде бы удавшимся синтезом коренились неуверенность, страх и понимание временности, а потому и неподлинности этого синтеза. Так оно и случилось. Изысканный, карнавальный, почти «парковый», ухоженный мир людей искусства раскололся на непримиримые группы с самого начала Первой ми-

ровой, а затем рухнул в пропасть революции, смуты Гражданской войны и всероссийского ГУЛАГА, который даже в самых страшных своих снах не мог бы предугадать Алексей Ремизов. Взамен картонных, театрально устрашающих декораций был явлен настоящий ужас реальной жизни. Этот фантастический перепад судеб прозвучал в «Реквиеме» Анны Ахматовой.



А. Модильяни.
А. Ахматова



Н. Альтман.
А. Ахматова



А. Модильяни.
А. Ахматова

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачей,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизнью кончается...



Г.С. Верейский.
А. Ахматова. 1929

Всепримиряющий духовный синтез, все тревоги претворявший в игру, распался и прекратил свое существование. «Царскосельская веселая грешница», изображавшая пантомимические фигуры на вечерах в «Башне» у Вяч. Иванова, выдержала удар демонических сил, преобразивших Россию в один из департаментов ада. Ахматова выстояла. Но далеко не у всех хватило на это сил. К примеру, Валерий Брюсов, считавшийся самым европейским, самым культурным, введившим в свои стихи реалии практически всех цивилизаций, завораживавший своей образованностью сотни поклонниц и поклонников, как выяснилось, не случайно приветствовал «грядущих гуннов». С победой большевиков он вступил в ВКП(б), стал цензором, возглавив Комитет по регистрации печати, желая стать «главным поэтом» при новом режиме. В своих мемуарах Степун приводит его стихи (из переписки с Луначарским), задолго до гитлеровцев призывавшие к кострам из книг, прославлявшие варварство и полные «погромных желаний»:

В руинах, звавшихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободный крик,
Как будет весело дробить останки статуй
И складывать костер из бесконечных книг¹.

Что же, по справедливому выражению Л.М. Баткина, культура «неуютна». А если говорить об игровой ситуации, в которой жил Серебряный век, то вспомним когда-то замеченное, что человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым. Вроде бы и так: веселая карнавальная игра есть признак смены эпох, она выводит человечество из языческого кошмара неистовства, подчинения человека стабильному чувству, отпуская на это чувство короткий отрезок времени и превращая серьезные и страшные обычаи прошлого в шутку. Скажем, играя в ритуализированные жертвоприношения: жгут чучело вместо человека, надевают маски, когда-то значившие слияние с духом данной личины (дьявола, ведьмы, красавицы, разбойника, животного и т.п.), а теперь вызывающие лишь смех. Но есть в истории и другие периоды, когда игра и весьма своеобразное веселье приобретает характер дьявольской шутки, возникает как попытка скрыть тревожный и страшный смысл происходящего, а то и просто утаить его: такова была функция смеха в Древней Руси — пугающие «машкерыды» Ивана Грозного служили предвестием его кровавых оргий. Как видим, вполне двусмысленной была и игровая ситуация в Се-

¹ *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 225.

ребряном веке; не случайно «высокий духовный синтез» перерос в Апокалипсис. Впрочем, подобную ситуацию пережила в эти годы не только Россия. Западная Европа осмыслила свой опыт *элитарной игры в проблемы* в двух, по крайней мере, выдающихся сочинениях: «Игра в бисер» Г. Гессе и «Номо ludens» Й. Хейзинги. Интересно, что писались они, когда игра из феномена элитарной жизни стала реальностью многомиллионных масс. Только ставкой в этой игре стало само человеческое существование.

Художественная модель как предсказание будущего

Всякое явление действительности антиномично. Элита была вроде бы далека от действительности, во всяком случае от ее конкретики. Однако придуманные ею художественные и теоретические конструкции и построения неожиданно оказались угодными реальности и были воплощены в жизнь, но — *в формах самой жизни*. В этом нет никакого парадокса. Художник может ошибаться, когда сознательным усилием старается угадать будущее, но оно само говорит через него, когда он и не подозревает об этом. Это очень хорошо понимал и четко формулировал Степун — современник многих революций XX века (эстетической, научно-технической, большевистской в России, фашистской в Италии, нацистской в Германии): «Готовящиеся в истории сдвиги всегда пророчески намечаются в искусстве»¹. Причем часто намеки эти проскальзывают в творчестве поэтов и мыслителей вроде бы наиболее далеких от социально-политических споров своего времени. Уж куда дальше многих был от злободневности Вячеслав Иванов, погруженный в созерцание Античности и русской классики, продуманно архаизировавший свой поэтический слог. Но, по словам Степуна, именно «*Вячеслав Иванов является одним из наиболее значительных провозвестников той новой “органической эпохи”, которую мы ныне переживаем в уродливых формах всевозможных революционно-тоталитарных мирозозерцаний*» (ВиР, 173; курсив мой. — В. К.).

В чем это проявилось?

Скорее всего, среди прочего Степун имел в виду статью поэта-мистагага «Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего». В этой статье Вяч. Иванов называл *новое искусство* начала века «одним из динамических типов культурно-энергетизма»². Поэт восторгался не личностным, не аполлонов-

ским, но дионисийским архаичным искусством Античности, когда «каждый участник литургического кругового хора — действенная молекула оргийной жизни Дионисова тела, его религиозной общины»¹. Именно там существовала «реальная жертва» (впоследствии — фиктивная, далее превратившаяся в театрального протагониста, героя), а хоровод — «первоначально община жертвоприносителей и причастников жертвенного таинства»². В дальнейшем, уже с Эсхила, закрепившись в творчестве Шекспира, рождается новая форма — театр, т.е. «только зрелище»³. В результате, сожалеет поэт, люди лишились подлинной причастности к почве и бытию, потеряли соборность, утратив возможность участия в оргийном действе. Отныне толпа — лишь зритель, она «расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной»⁴. Любопытно, что поэт не ограничивается теоретическими построениями, он вдруг выкрикивает лозунги, напоминающие футуристические (от фашиста Маринетти до коммуниста Маяковского): «Довольно зрелищ... Мы хотим собираться, чтобы творить — “деять” — соборно, а не созерцать только... Довольно лицедейства, мы хотим действия. Зритель должен стать деятелем, соучастником действия. Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних “оргий” и “мистерий”»⁵. Любопытно, что здесь Вяч. Иванов совпадал с другими, магически и мистическими настроенными творцами Серебряного века. Известный поэт и теоретик символизма Эллис писал: «Последняя и сокровенная цель символизма — живая мистерия. Здесь именно он втягивается в роковой круг вечных и неразрешимых теоретически, иррационально-изначальных вопросов. <...> В нас всего слышнее говорят голоса старых богов, первые мы увидели свет древних мистерий и правду мертвых культур»⁶. Хотя мертвые эти культуры были не так уж и мертвы, что показал XX век.

Призыв к мистерии был, казалось бы, сугубо эстетический, к тому же высмеянный Андреем Белым⁷. Уж во всяком случае, никакого отношения не имевший к жизни социальной, к политике, к

¹ Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 43.

² Там же.

³ Там же. Курсив Вяч. Иванова.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 44.

⁶ Эллис. Vigilemus! Трактат // Эллис. Неизданное и несобранное. Томск: Водолей, 2000. С. 250.

⁷ «Почему хоровод в любом селе не оркестра? О бедная Россия, — ее грозят покрыть оркестрами, когда она издавна ими покрыта. <...> Вот что значат выводы из теории, не считающейся с конкретными формами жизни» (Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. Т. II. М.: Искусство, 1994. С. 32).

¹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 125.

² Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 37.

общественному бытию России. Но поразительная вещь – в новую «органическую эпоху» большевистского тоталитаризма оргийное, мистериальное действо стало фактом реальной жизни, воплощаясь не художниками, а – партийными функционерами и диктаторами. В бесконечных политических процессах, *которые лишь внешне напоминали театр*, зрителей больше не осталось, *все стали участниками и соучастниками дионисийской драмы тоталитаризма*. И кровь полилась настоящая, и ее было много, а общинный хор по указке его руководителя выкрикивал имена все новых жертв. Йохан Хейзинга, размышляя о специфике фашисткоидных режимов, покрывших к середине тридцатых годов Европу, писал: «Самым существенным признаком всякой настоящей игры, будь то культ, представление, состязание, празднество, является то, что она к определенному моменту *кончается*. Зрители идут домой, исполнители снимают маски, представление кончилось. И здесь выявляется зло нашего времени: игра теперь во многих случаях никогда *не кончается*, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились»¹.

Итак, по наблюдению Хейзинги, тоталитаризм по форме – игра, но по сути – мистериальное действо, в отличие от игры не имеющее завершения, длящееся, пока существует данная мифологическая структура. Теория Вячеслава Иванова, сочиненная как игра ума по поводу театра, вдруг оказалась формулирующей принципы не игры, но жизни. Это в «Мистерии-буфф» подтвердил Маяковский: «Былью сменится театральный сор». Отказ от идеи театра на самом деле значил много больше, чем простой эстетический эпатаж. И вот почему.

В эпоху Ренессанса произошла своего рода культурная революция: *роль была отделена от человека и формализована*, человек мог роль играть, но уже не жить ею. Произошло это сначала в искусстве. Возник тип плута пикаро, проходящего все социальные слои. Дон Кихот и Алонсо Кихана разделены как роль и ее носитель. Фигаро выше социальной роли слуги. Но, быть может, ярче всего эта революция проявилась именно в театральном искусстве. «Театральная рампа, – возмущался Вяч. Иванов, – разлучила общину, уже не создающую себя, как таковую, от тех, кто создают себя только “лицедеями”»². Но именно благодаря такому возникшему взаимоотношению между людьми пропала обязательность общинно-хорового действия, личность получила свободу и право быть не участником, а

зрителем, от одобрения или неодобрения которого зависит судьба актера.

В данном случае речь идет уже и об общественной жизни. Эта утвердившаяся в Возрождение оценка жизни со стороны (так сказать, зрительская оценка) позволили человеку быть ее разумным строителем, не просто в ней участвовать, но понимать ее, и, следовательно, исправлять, пересоздавать. На этом начале строится принцип парламентаризма: парламент – это театр, наблюдаемый и оцениваемый обществом со стороны, в качестве зрителя, который, однако, платил деньги за вход, отделен от лицедеев рампой и может ошибаться и прогнать неугодного актера со сцены.

Разумеется, и в поствозрожденческий период кровь лилась, в войны втягивались десятки тысяч людей, но все эти ситуации уже были как бы нарушением объявленной, утверждавшейся в культуре и зафиксированной искусством свободы личности, ее права на невовлеченность в то или иное действо. Усвоить это право, этот принцип было *исторической задачей* взрослеющего человечества, научающегося, по словам Канта, «*пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого*»¹.

Возрождение не было простым воскрешением языческих античных тем и сюжетов. Такого рода реминисценции, как замечал Й. Хейзинга в «Осени Средневековья», существовали и раньше. В самом средневековом христианстве содержалось много языческих элементов, в том числе и мистериальных, которые либо изживались, либо получали иное значение. Событие было в другом: опять – после Платона и Аристотеля – основой взаимоотношения человека с миром стал его разум, опора на себя. Все откровения и открытия ренессансного искусства как бы вписывались в парадигму проснувшейся в культуре независимой личности, подготовленной тысячелетней борьбой христианства с антиличностными принципами варварского и дионисийского язычества. Понимание самоопределяющегося человека гениальный Пико делла Мирандола вкладывает в уста христианского Бога: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочитаешь»².

¹Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 27.

²Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса: В 2 т. Т. I. М.: Искусство, 1981. С. 249.

¹Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992. С. 332. Курсив Й. Хейзинги.

²Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 45.



Джованни Пико делла
Мирандола.
Художник Cristofano
dell'Altissimo.
Из серии Джовио
Galleria degli Uffizi, Firenze

Это и была новая логика, которой следовало новое искусство. Как пример можно вспомнить возрожденческое открытие «прямой перспективы», *оставлявшей зрителя вне картины*, но позволявшей ему глубже заглянуть в отделенный от него мир: нечто вроде театральной рампы. За зрителем оставалась свобода оценки, *свобода отношения к миру*. Выступивший против принципа «прямой перспективы» русский философ Серебряного века П.А. Флоренский тем не менее оценивал ее вполне точно: «Задачей перспективы, наряду с другими средствами искусства, может быть только известное **духовное возбуждение**, толчок, пробуждающий внимание к самой реальности»¹.

Флоренский противопоставлял возрожденческому открытию идею «обратной перспективы», как естественную, как ту, которой — в отличие от «прямой перспективы» — *не надо учиться*. Но процесс исторического взросления, становления человека как человека цивилизованного, *его выход из варварства* требует столетий культуры и самообучения. Именно на обучении основана возрожденческая живопись — и художника, и зрителя. «Потребовалось **более пятисот** лет социального воспитания, — писал Флоренский, — чтобы приучить глаз и руку к перспективе; но ни глаз, ни рука ребенка, а также и взрослого, без нарочитого обучения не подчиняются этой тренировке и не считаются с правилами перспективного единства»². Начиная с Льва Толстого, значительная часть русских философов

¹ Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 81.

² Там же. С. 77. Выделено Флоренским.

Серебряного века пыталась отказаться от возрожденческих принципов искусства и науки, ибо они ведут к цивилизации, чуждой почвенной культуре народа. Да и в Западной Европе надолго самой модной стала книга Шпенглера, проклявшая цивилизацию и объявившая о закате европейских ценностей. На этот испуг перед сложностью человеческого пути к зрелости отозвался великий писатель Томас Манн, жестоко назвав Шпенглера «пораженцем рода человеческого»¹.

Отказ Толстого от достижений цивилизации вместе с тем понятен. Ему чудилось, что он и другие представители высших классов, воспитанные на западноевропейских ценностях, обречены гибели: «Мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция (т.е. по Толстому, — революция работников, в том числе и крестьян. — В. К.) с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв... <...> таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов»². Весь ужас от того, что европейское образование не может по вполне понятным материально-практическим причинам, по причинам бедности, быть усвоено русским народом, полагал Толстой.

К тому же гуманистическое воспитание требует долгого исторического времени и больших усилий. Толстой встал перед проблемой пробудившихся масс, желающих самостоятельности. Но как? Какой? Пока в добытое усилиями христианских гуманистов *поле свободы* входили небольшие социальные слои, цивилизующие их механизмы действовали. Когда в это поле начали входить многомиллионные массы, оно не выдержало, произошел слом, цивилизационные механизмы дали сбой. Это недоверие к результативности гуманистических ценностей и сказалось в концепциях, призывавших отказаться от трудности гуманистического воспитания и вернуться к общинно-хоровому типу жизни. Не случайно народ, совершивший в 1917 году Октябрьскую революцию, поддержал разгон Учредительного собрания. Механизм *парламентарной* демократии не был ему внятен, хотя, как точно заметил С.Л. Франк, «русская революция есть демократическое движение в совершенно ином смысле: это есть движение народных масс, руководимое смутным, политически

¹ Манн Т. Об учении Шпенглера // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1960. С. 613.

² Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XVI. М.: Художественная литература, 1983. С. 378–379.

не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности. По объективному своему содержанию *это есть проникновение низших слоев во все области государственно-общественной жизни и культуры* и переход их из состояния пассивного объекта воздействия в состояние активного субъекта строительства жизни»¹ (курсив мой. — В. К.).

Прозвучавшие в Серебряном веке призывы к «симфонической личности» (вместо гуманистической; Л. Карсавин), «обратной перспективе» (П. Флоренский), общинно-хоровому «высвобождению дионисийских энергий» (Вяч. Иванов) стали своеобразной эстетической моделью тех социально-политических структур, что с такой убийственной силой реализовались в историческом пространстве, превращая его в антиисторическое и уничтожая цивилизационно-гуманистические заветы петровско-пушкинской эпохи. Надо сказать, что такую возможность Вяч. Иванов угадывал: «Отрицательный полюс человеческой объективирующей способности, кажется, лежит в сердце нашего народа: этот отрицательный полюс есть нигилизм. *Нигилизм — пафос обесценения и обесформления — вообще характерный признак отрицательной, нетворческой, косной, дурной стихии варварства. <...> Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным*»² (курсив мой. — В. К.). Так оно и произошло. Явился пренебрегший театральной рампой хор и принялся управлять жизнью. Только явился он не в античных одеждах, а в мужицких зипунах, солдатских шинелях и кожанках Чека.

Чрезвычайно интересно, что многие корифеи этого хора были так или иначе связаны с элитой Серебряного века — литературно или дружески³. Значит, все существовала какая-то связь, существовали умы, усвоившие игровые модели, и существовал некий фактор, позволивший превратить игру ума в реальность.

Фактор X (икс)

Назвать таким фактором *рабочее движение?* *Научно-технический прогресс?* Или социалистические идеи? Но все эти факторы работа-

¹ Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 215.

² Иванов Вяч. Спорады // Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 83.

³ Скажем, в богемно-артистическом ресторанчике «Привал комедиантов», пишет Степун, «в 1917-ом году за одним столом сживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троцкий» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 123).

ли и там, где и помину не было о тоталитаризме (в Англии, США). Скорее, речь может идти о «восстании масс» в той исторической ситуации, когда, как говорил Лев Толстой, не возникли «спасительные клапаны» социально-культурной регуляции. Но и это обстоятельство не объясняет, быть может, самого важного — *тип человеческого сознания*, который в годы этого восстания определял социальную и духовную жизнь страны. Он тоже возник сначала в реторте художественных исканий, а точнее, в стиле жизни элиты Серебряного века, чтобы затем проявиться в «воле к власти» новоявленных коммунистических и фашистских лидеров, в деятельности их сподвижников и в умении обывателей приспособиться к «новому порядку».

Какой психологический тип был характерен для большинства в те годы? Сказать, что все жившие при «новом порядке» — прирожденные преступники, извращенцы (сексуальные психопаты, некрофилы, как Гитлер, параноики, как Сталин, и т.п.) было бы, очевидно, сильным преувеличением. Безумцами были скорее персонажи первого ряда, лидеры. Но основная масса? Продолжая тему жизни, долженствующей обратиться в мистериально-игровое действо, стоит прислушаться к одной мысли Ницше, брошенной им как бы мимоходом в «Веселой науке»: «Появляется совершенно новая порода людей, новая флора и фауна, которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие, регламентированные времена — но если бы и взросла, то все равно осталась бы “на дне”, с вечным клеймом чего-то постыдного и позорного, — это означает неизменно, что *наступают самые интересные и самые безрассудные времена истории, когда “актеры”, актеры в с е х мастей, становятся истинными властителями*»¹ (курсив мой. — В. К.). С этой мыслью немецкого философа очень существенно для моей темы сопоставить наблюдение русского консерватора, обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева: «Есть люди умные и значительные, которых нельзя разуметь серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, которые постоянно меняются. <...> Вся жизнь их — игра сменяющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую сторону направится их деятель-

¹ Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Художественная литература, 1993. С. 486.

ность, как выразится их воля, какую окраску примет их слово в решительную минуту...»¹ (курсив мой. — В. К.).

Как видим, тенденция *вмешательства актерства в «действительную жизнь»* чувствовалась многими. Напомню, что Ленина, Муссолини и Гитлера называли поначалу шутами, клоунами, актерами, их перевороты (успеха которых они сами не ожидали), оказавшиеся революциями, выглядели поначалу в глазах обывателей как злодейские буффы, а в глазах сторонников как «мистерия-буфф» (В. Маяковский). Как говорил один из персонажей «Белой гвардии» М. Булгакова — «кровавые оперетки». Таким революционное действие и виделось мирному жителю Российской империи, а руководители революции — «опереточными злодеями»: характерно, что Питирим Сорокин называл Троцкого «театрализованным разбойником»². Сталин свою партийную кличку «Коба» взял в честь романтического разбойника, мелодраматического героя одного из грузинских романов, т.е. играл роль, *актерствовал*. Интересно и то, что победившая тоталитарная диктатура, уничтожая и изгоняя поэтов и мыслителей, принимала актеров, а актеры шли на сговор с тоталитаризмом. Замечательный анализ этого явления дан в романе Клауса Манна «Мефистофель» — о карьере актера в Третьем рейхе. Выразителен эпиграф к роману — из «Вильгельма Мейстера» Гёте: «Все слабости человека прощаю я актеру и ни одной слабости актера не прощаю человеку». В послевоенных мемуарах Клаус Манн так оценивал это свое художественное исследование: «Стоило ли трудиться, чтобы писать роман о такой фигуре? Да; ибо *комедиант становился воплощением, символом насквозь комедиантского, глубоко лживого, нежизнеспособного режима*»³ (курсив мой. — В. К.). В этом контексте название богемного кабачка «Привал комедиантов», где общались деятели будущей социально-политической жизни России, приобретает символический смысл.

Можно сказать, что само время актерствовало. Ведь на самой вершине государства, оказалось, нуждались в *гениальном актере жизни* — Григории Распутине, который изображал из себя святого старца и одновременно распутствовал. Его актерский талант сделал его первым человеком при императорской фамилии, а стало быть, и в России. Он был не одинок. Стоит указать на психологически однородный персонаж из элиты Серебряного века — на Максима Горького (отметим актерский псевдоним, с которым он прошел по жизни, да так, что

люди забыли его настоящее имя: Алексей Пешков). *Из простой пешки этот купеческий внук добрался до роли ферзя* — «величайшего пролетарского писателя первого в мире социалистического государства». Уже упомянутый Клаус Манн вспоминал о своем визите к классику соцреализма после Первого съезда советских писателей: «Прием в доме Горького. Писатель, познавший и изобразивший крайнюю бедность, мрачнейшую нищету, жил в княжеской роскоши; дамы его семьи принимали нас в парижских туалетах; угощение за его столом отличалось азиатской пышностью»¹. Не случайно Иван Бунин самой характерной чертой Горького считал его *бесконечное актерство*: «Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, <...> он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства»².

Эти позы, маски в восприятии современников срастались с образом поэта, как, скажем, «желтая кофта» с ранним Маяковским. Некоторые старательно создавали свой образ, например Валерий Брюсов. Маргарита Волошина вспоминала о нем: «Черные густые брови, широкие скулы — московский купец, стилизующийся под Клингзора»³. Замечу здесь, что Клингзор — Черный маг из цикла средневековых романов о Граале — был весьма популярным персонажем в мифопоэтике Серебряного века, а Брюсов и в жизни изображал мага.



Валерий Яковлевич
Брюсов

¹ *Победоносцев К.П.* Великая ложь нашего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 173—174.

² *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 236.

³ *Манн К.* На повороте. Жизнеописание. М.: Радуга, 1991. С. 346.

¹ *Манн К.* На повороте. Жизнеописание. М.: Радуга, 1991. С. 341.

² *Бунин И.* Автобиографические заметки // *Бунин И.* Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 194.

³ *Волошина М.* Зеленая змея. История одной жизни. М.: Энигма, 1993. С. 116.

Личинность, маска замещала лик человека. Об этом поразительное самоисследование Андрея Белого: «Что-то от “личины” приросло к лику индивидуума; в позднейших символизациях жизни и “Борис Николаевич”, и “Андрей Белый”, и “Унзер Фрейд” вынужден был изживать свое самосознающее “Я” не по прямому поводу, а в диалектике ритмизируемых вариаций “Я” личностей-личин, из которых ни одна не была “Я”; причина, почему “Я” не изживаемо в личности-личине, уже с семилетнего возраста — предмет мучительных раздумий»¹. Вызывая в памяти прошлое, Серебряный век, Анна Ахматова в поэме «Без героя» (кстати, удивительно точное название: там, где все личины, героя быть не может) ждет к себе друзей молодости, и они являются — масками:

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,
Дапертутто, Иоканааном,
Самый скромный — северным Гланом,
Иль убийцею Дорианом,
И все шепчут своим Дианам
Твердо выученный урок.

Вот такая была эта актерская, артистическая эпоха, тигель, в котором много чего плавилось и выплавилось. Разумеется, никакая эпоха не может даже вообразить следующую, идущую ей на смену. Но она придает будущему не просто тон, окраску, стиль. Очень часто стиль прошлой эпохи оказывается сутью, спецификой новой. Современники Серебряного века чувствовали установившийся артистический стиль, не сознавая его как нечто, имеющее сущностное значение. Тем более никто не ставил вопрос *об актерстве как типе сознания, типе души*, типе, имеющем глубоко философский и мировоззренческий смысл. Впрочем, я не прав, это попытался сделать Федор Степун.

Создавая свой трактат «Природа актерской души», Степун, как и положено человеку, прошедшему школу неокантианства и гуссерлианской феноменологии, опирался на свой выстраданный опыт, в духе «строгой науки»: «Я исхожу из самоанализа и стремлюсь не к исторически верному, но лишь к внутренне точному воображаемому портрету. Избранный метод я не только не считаю произвольным, я не считаю его и субъективным. Я уверен даже, что он в скрытом виде неизбежно лежит в основе всякого так называемого научно-объективного исторического исследования. Все науч-

¹Белый А. Почему я стал символистом // Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 420. Курсив А. Белого.

но-объективные ответы истории зависят в конечном счете от наших до-научных, внеисторических, личных убеждений» (ВиР, 38). Вместе с тем он, как видим, полагает, что из его анализа возможны исторические экстраполяции, так сказать, «научно-объективные вопросы к истории». Поэтому все дальнейшее изложение является по сути культурологическим прочтением (или попыткой культурологического прочтения) феноменологического текста. Впрочем, нечто подобное позволял себе и сам Степун, обращаясь к проблеме артистизма в своих историсофских статьях и исследованиях, а также в мемуарах как к историко-культурному явлению.



Ф.А. Степун,
на стене портрет
В.С. Соловьёва

Это тем естественнее, что, хотя эта статья основными теоретическими постулатами восходит к главному философскому труду Степуна «Жизнь и творчество» (1913), но в ней безусловно сказался и его *личный опыт* военных лет. Не случайно, описывая безумие тыла во время войны, полное непонимание высшим начальством того, что происходит на фронте, Степун дает вдруг короткую зарисовку: «Нарядная и веселая толпа густо струилась вверх и вниз по Кузнецкому мосту. Среди нее повсюду мелькали бритые актерские лица»¹ (курсив мой. — В. К.). Вроде как чертики в глаза лезут... И это еще задолго до работы в театре. Почему так?

Статья об «актерской душе» имела подзаголовок: «О мещанстве, мистицизме и артистизме». Степун строит *типологию*, располагая

¹Степун Ф. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. М., 1918. С. 125.

актерскую душу между *мистической* (которую можно понять как *истово религиозную*) и *мещанской* (судя по ее описанию — *вполне буржуазной*). Актерская душа интересуется его как наиболее активно проявляющийся тип сознания, отвечающий творческим задачам человека, которые, по Степуну, являются сущностной особенностью человеческого развития.

Типология Степуна. Многодушие как проблема человеческого существования

Начиная свое рассмотрение типов человеческого сознания, Степун задает, фиксирует определенный уровень, при наличии которого вообще возможен подобный феноменологический анализ. Этот уровень предполагает в качестве объекта человека, *уже вышедшего из природного состояния, самого первичного состояния несвободы*. Вступивший в поток истории испытывает много стеснений, но приобретает свободу и способность многофакторного ответа на эти стеснения, вариативность отношения к миру. Как наказание за выход из первобытной невинности человеку дано, говоря словами Степуна, *много-душие*. Разумеется, свойствен этот тип сознания далеко не всем. «Каждый человек, *осознающий себя на достаточной глубине*, — пишет Степун, — неизбежно сознает себя в раздвоении. Каждый <...> дан себе как хаос и задан себе как космос... <...> Благодаря такому раздвоению своего бытия и сознания, человек неизбежно изживает свою жизнь как борьбу с самим собой за себя самого. В этой борьбе вся сущность человека как совершенно своеобразно поставленного в мире существа. <...> *Вне борьбы возможна или жизнь скотская, или божеская, но невозможна жизнь человеческая*» (ВиР, 40; курсив мой. — В. К.). Иными словами, сложность и хаотичность внутреннего мира человека — расплата за обретенную им возможность свободы.

Появление самосознающей личности есть первый шаг к исторической жизни. Разумеется, поначалу личность появляется в среде социальной элиты, более образованной, а потому соприкоснувшейся с разными смыслами, которые и конструируют зачатки сознания. Но следом за высшими слоями и народ потихоньку втягивается в поле исторической свободы. То же самое происходило и в России. В одной из первых своих статей Степун достаточно категорически заявил, что «эта *злосчастная свобода чувствуется ныне всеми и всюду*. То состояние духовной жизни, которое славянофилы считали характерным только для западноевропейской культуры и безус-

ловно немислимым в России, чувствуется ныне и у нас»¹ (курсив мой. — В. К.).

Стало быть, проблема многодушия стала российской проблемой, и самоанализ философа имеет общезначимый смысл. В своем рассуждении Степун исходит из того, что на данном этапе своего развития человек не способен совладать с разнообразием душ, т.е. с многодушием: «*Положительное богатство человеческого многодушия катастрофически сталкивается с требованием строгого отграничивающего единодушия*» (ВиР, 42; курсив Степуна).

Он рассматривает три возможных типа преодоления многодушия. Первый путь, наименее для него приемлемый, — мещанский. «Мещанское разрешение проблемы единодушия и многодушия <...> сводится к погашению в человеке всякой борьбы, к уничтожению в нем всякого раздвоения путем атрофии в его груди всех душ, кроме одной, житейски наиболее удобной, практически наиболее стойкой» (ВиР, 42). На этом пути, как кажется философу, исчезает сложность личности, а стало быть, и сама личность отчуждается от самой себя: «Мещанская душа <...> всего только осадок земной жизни, порождение ежедневных дел, общественных отношений, бытовых зависимостей, связей с миром внешних отношений, т.е. в конце концов, *вообще не душа, а вещь*» (ВиР, 43; курсив мой. — В. К.). Это вполне романтическое неприятие им мира буржуазных ценностей не означало однако, что его так уж прельщала второй путь — мистический.

Казалось бы, что плохого, если «в мистицизме многодушие не атрофируется, но преобразуется путем его вознесения в царство всеединящего духа» (ВиР, 46). Более того, «единодушие мистическое <...> утверждает полноту и богатство человека, все сложное человеческое многодушие, но лишает это многодушие жала противоречий, ибо связывает его утверждение с подчинением каждой входящей в него души закону духовной установки, чем и достигает своей тайны: полного отождествления единодушия и многодушия, абсолютной целостности» (ВиР, 44). Однако религиозно-мистическое разрешение противоречия кажется Степуну исключительным, т.е. не общезначимым. В пределе — путь мистический ведет к *святости*, а святая полнотью растворяется в Боге, что *лишает человека творческих стремлений*: «Это путь священной пассивности и духовной нищеты», поэтому «мистический строй души враждебен творчеству» (ВиР, 45). А со времен первого грехопадения

¹Степун Ф. Прошлое и будущее славянофильства // Степун Ф.А. Сочинения. Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 828.

именно творчество, преодоление косного мира и себя было задано Богом человеку, как цель жизни. То есть Бог заповедал творчество. Оно может быть трагичным, но это единственно естественное состояние человека.

Какой же тип души наиболее предрасположен к творчеству? И каким путем, стало быть, идти человеку? Для Степуна, без сомнений, артистический. Таким образом, он как бы приходит к решению проблемы творчества, поставленной в двух его ранних программных статьях — «Жизнь и творчество» и «Трагедия творчества (Фр. Шлегель)». Степун формулирует вполне определенно: «Основная черта артистического душевного строя — страстная любовь к творчеству, предопределенность к нему... Радость артистической души — богатство ее многодушия, страдание артистической души — невоплотимость этого богатства в творческом жесте жизни» (ВиР, 48). Но эта невоплотимость побуждает вроде бы все к новым и новым творческим деяниям, ибо «артистизм — предельное утверждение многодушия» (ВиР, 48).

Здесь очевидна полемика с классической эстетикой, отводившей актеру весьма невысокую ступень при характеристике художественной деятельности. Скажем, Гегель полагал, что самость актера совпадает с его личиной, иными словами, отказал актеру в праве на личностную независимость: «Актер должен быть чем-то вроде инструмента, на котором играет автор, губкой, впитывающей все краски и так же, без изменений отдающей их назад»¹. Заметим, что традиционно именно дьявола называли актером, обезьяной Господа Бога, повторяющей его движения, но искажающей суть, ибо дьявол склонен не к творчеству, а к разрушению мира. В христианстве страсть к разрушению никогда не считалась творческой страстью (правда, Мих. Бакунин назвал эту страсть благородной, тем самым поддержав позицию дьявола). Актерский путь воспринимался как свобода от мещанства, не более того — в «Вильгельме Мейстере» Гёте. Он возможен, когда молодой человек находится в поисках себя, своей сущности. Найдя, он становится творцом, деятелем, а не актером. И хотя тот же Гегель считал, что «с точки зрения нашего современного умонастроения быть актером не позорно ни в моральном, ни в социальном отношении»², Степун фиксирует совершенно другую, но весьма реалистическую ситуацию: «В Германии достопочтенные граждане и поныне не сдают им (актерам. — В. К.) комнат и квартир. Все это правильно и в порядке вещей. В настоящем актере всегда должно чувствоваться нечто скитальческое и без-

домное» (ВиР, 67). Надо заметить, что говоря то об актере, то об артисте, Степун поясняет эту смену терминов: «Интересующая меня душа актера, конечно, только разновидность общеартистической души» (ВиР, 42).

Показательно, что в начале века бездомность, беспочвенность, скитальчество артиста — с полной переменой оценок — стали восприниматься прологом пути всего человечества, на котором только и возможно творчество. Ведь Степун объявил, что строит свое исследование на самоанализе, т.е. перед нами своего рода рентгенограмма, но рентгенограмма человека вполне определенной эпохи, а также и страны. Из предъявленного нам рентгеновского снимка понятно, что данному «больному» претит мещански-буржуазное душе-и-мироустройство, что он не испытывает доверия к мистически-религиозной возможности устройства конкретной человеческой жизни, зато именно актерски-артистический путь предоставляет, на его взгляд, человеку шанс сохранить свою душевную сложность, свое многодушие и реализоваться как творческой личности. Если мы вспомним, что даже Павел Флоренский называл свое учение «религиозным эстетизмом»¹, то станет ясно: *перед нами точный отпечаток мироощущений духовной элиты Серебряного века.*

Но вот ведет ли актерство к творчеству? Глубоко пессимистически глядел на ситуацию Серебряного века его прямой провозвестник — Иннокентий Анненский. «Когда миновала пора творчества, — писал он, — **выдвинулись актеры** — век творчества сменился веком *интерпретации*»² (выделено мной. — В. К.; курсив И. Анненского). Ведь творец практически из ничего создает нечто. А актеру дана роль, дана личина, которую он должен оживить. Степун чувствовал свою эпоху и расклад в ней интеллектуальных энергий иначе. «Мистицизм и мещанство, — утверждал феноменолог, — по совершенно разным мотивам, одинаково враждебны творчеству. <...> Всякая артистическая душа живет вечным восторгом о творческом раскрытии своей тайны» (ВиР, 48). Однако он отнюдь не прямолинеен, не публицистичен. С философской объективностью он указывает, как и многие его современники, на связь эстетического созидания с проблемой восхождения к Богу. Еще в «Жизни и творчестве» Степун писал: «*Лишь искковзвив все свое творчество и все творения свои последнюю религиозную тоскою, может человечество оправдать творческий подвиг свой*»³ (курсив мой. — В. К.). Творчеством не создать

¹ Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990 (II). С. 585.

² Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 483.

³ Степун Ф. Жизнь и творчество // Степун Ф.А. Сочинения. С. 126.

¹ Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. М.: Искусство, 1971. С. 568.

² Там же. С. 569.

Бога, но само оно является заданной Богом человеку задачей. Творчество — это создание новых смыслов.

Впрочем, в Бога и творчество играла вся неорелигиозная элита, но когда пришло время испытаний, не нашлось ни у одного ни силы, ни влияния, чтобы явиться Лютером или протопопом Аввакумом, хотя бы Львом Толстым. Именно это актерство неорелигиозной элиты презирал Анненский: «Срывать аплодисменты на Боге... на совести. Искать Бога по пятницам... Какой цинизм!»¹ И вправду неорелигиозное движение, именно как движение, не вышло за пределы элитарных салонов, оказалось абсолютно вне народного восприятия. Степун дал весьма убедительный феноменологический анализ своей, а стало быть, так называемой «русской» души. Ей заказаны мещанские соблазны, ей чужд мистический путь, требующий растворения в Боге, зато открыт путь артистический, ибо он сохраняет все ее многодушие. Напомню, однако, слова одного из персонажей Достоевского: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

Но и Степун задает похожий вопрос, который окончательно смыкает его феноменологический анализ с социокультурной проблематикой: а что если многодушие есть, а творчества нет? Что тогда? На что способна артистическая душа? Да и обладает ли она вообще онтологическим статусом? Вдруг у него вспыхивает эта тема: «Странная, призрачная, химерическая душа, по отношению к которой всегда возможен внезапный вопрос: да существует ли она вообще или ее в сущности нет, т.е. нет в ней подлинного духовного бытия?» (ВиР, 49). И ответ он дает жесткий и определенный: «Нет сомнения, что вне выхода в творчество артистический путь до конца сливается с путем катастрофическим, превращаясь из специфической формы разрешения многодушия в единодушие, в удушение души на безысходных путях многодушия» (ВиР, 56; курсив Степуна). То есть не творчество страшно, а его отсутствие, его имитация, что неминуемо может привести к катастрофе.

Именно эта тревога философа и составляет сегодня для нас главный интерес его феноменологического построения.

Опасности артистизма

Степун начинает с простого хрестоматийного примера. Бывший на грани самоубийства Гёте написал «Вертера», в котором герой стреляется, зато писатель возвратился к жизни. И Степун очень четко

формулирует свою задачу: «Моя проблема артистического творчества, не сопряженного с художественным дарованием, сводится к вопросу: как застрелить в себе Вертера, не имея возможности его написать?» (ВиР, 60). Жажда творчества у актера не случайна. Она предопределена инстинктом самосохранения, ибо «артистизм — предельное утверждение многодушия <...> в эстетически совершенной картине борьбы» (ВиР, 48). Но если не состоится акт творчества, если не будет создана «эстетически совершенная картина», тогда начинается либо коллапс, либо в одном человеке «война всех против всех», а в результате, преодолевая это состояние, актер пытается найти себя в реальности. «Характернейшей чертой подлинного артистизма, — замечает Степун, — является при этом одинаково непреодолимое тяготение *как к действительности, так и к мечте как к двум равноценным полусферам жизни*» (ВиР, 58; курсив мой. — В. К.).

Иногда подлинный актер может и в действительности сыграть некую возвышенную роль по требованию необходимости. Но актерская игра — минута, а жизнь — длительна, держаться игрой не может (речь, разумеется, не об экстремальных ситуациях). «Всякая организованная социальная жизнь, — констатирует философ, — неизбежно требует учитываемости всех поступков своих членов. Но подлинный актер — существо не учитываемое; в его душе всегда слышен глухой анархический гул. Ему часто свойственна высшая нравственность, но всегда чужд устойчивый морализм. Актеры естественны на баррикадах и непонятны в парламентах. *Гении минут и бездарности часов*, они часто талантливые любовники и обыкновенно бездарные мужья» (ВиР, 67; курсив мой. — В. К.). Родовая ошибка актера: преобразая себя, он — выйдя в жизнь — полагает, что так же успешно преобразует и все окружающее. Но человеку, ставшему индивидуальностью, естественно *не поддаваться чуждому влиянию и жить своей собственной жизнью*. Так что даже подлинный актер, на взгляд Степуна, вне сцены не адекватен нормальному процессу жизни.

Актеру свойственно менять роли, и жизненная смена ситуаций вызывает в актере не желание разобраться в сути проблемы, а просто сменить маску. И тут возникает феномен отказа от вчерашних ценностей и вчерашних друзей. Это заложено в самой структуре артиста. «В многодушии артистической души всегда таится такое многообразие эротических возможностей, какого никогда не осуществить жизни. Осуществление какой-либо одной возможности неизбежно превращается потому в артистической душе в предательство всех остальных» (ВиР, 54). Отсюда *«совершенно неизбежный для артистической души, конституирующий ее как таковую, грех — грех*

¹ Анненский И. Книги отражений. С. 485.

предательства» (ВиР, 54; курсив мой. — В. К.). Поневоле захочешь отгородиться от актера театральной рампы, чему, впрочем, настоящий актер и сам рад.

Но гораздо более скверная и опасная ситуация, когда актер лишен дара творчества. «Роковая ошибка творчески бессильного, дилетантствующего артистизма — всегда одна и та же: всегда *попытка оседло построиться на территории мечты*. <...> Результат этих попыток неизбежно один и тот же: убийство мечты реализацией и *взрыв жизни мечтой»* (ВиР, 61; курсив мой. — В. К.). Что значит взорвать жизнь мечтой? Это значит заставить ее актерствовать день и ночь, заставить жизнь потерять свои сущностные основы. Ведь и для актера мечта и творческое деяние разные вещи. «Мечтать для артистической души значит временно передавать ведение своей жизни... — душе-призраку. <...> *Но жизнь, творимая призраком, — неизбежно призрачная жизнь; в сущности, не жизнь, но игра призрака в жизнь»* (ВиР, 64; курсив мой. — В. К.). Пока эта призрачная жизнь существует на сцене, все нормально, но катастрофа, если она шагает в зал и дальше в мир.

Беда и опасность для России в том, что в ней существует некое множество людей, лишенных мещанской души и связанных с нею буржуазных добродетелей, лишенных также и мистически-религиозного горения, зато наделенных артистической душой. Возможно, так случилось потому, что в свое время Россия не прошла через многовековой опыт Западной Европы с его Крестовыми походами, религиозным фанатизмом, а также эпохой бюргерского устройства частной жизни. А вот игровые моменты звучали не раз: тут и небребродившее скоморошье язычество; и игра в любовь к татарскому хану; и «потемкинские деревни»; и генералиссимус Суворов, кричавший петухом; и построение «цивилизованного фасада» варварской империи, да мало ли что еще можно вспомнить. Во всяком случае, тип «актера в жизни» был очень свойственен русской культуре. И Степун это констатирует: «Есть люди безусловно артистического склада, у которых в душе множество возможностей, главная душа которых, однако, всегда почему-то под ногами у множества ее второстепенных душ. <...> В социальной жизни их бросает от журналистики к агрономии и от скрипки к медицине; в личной также, — от жены к демонической актрисе и от актрисы снова к другу-жене. Всюду они отчаянные дилетанты, которым даны “порывы”, но не даны “свершения”, которые ежедневно сжигают то, чему еще вчера поклонялись, т.е. вечно поклоняются праху. В молодости громкие хулители своей среды, революционеры, они к старости всегда ее тайные поклонники, обыватели, ибо только в ощущении

себя “заеденными средой” возможно для них примирение со срывом всей своей жизни. Таковы те *жертвы артистизма*, которых так особенно много среди широких, талантливых, богатых, русских натур. Их тайна разгадана еще Потугиным. *Их тайна — отсутствие творчества»* (ВиР, 56–57; курсив мой. — В. К.).

Выписанные строчки Степуна заслуживают внимательного и медленного чтения, ибо здесь показана питательная среда, из которой формировались русские революционеры. Возможно, эти артистические натуры так бы и составляли некую взвесь в русском обществе, являясь своеобразным дополнением и как бы бытовым снижением артистизма столичной элиты эпохи. Но прогремели одна за другой три русские революции. А по наблюдению Бунина, «одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна»¹.

И тут «жертвы артистизма» удивительно совпали с настроениями поднявшегося, вышедшего к самостоятельности народа. И артистические натуры весьма способствовали организации той жизненной мистерии, где кровь и жертвы были настоящими; они были не только режиссерами и творцами этих зрелищных действий, но не брезговали и исполнением вспомогательных ролей.

В чем же была точка их соприкосновения с народом? Почему и элита Серебряного века создавала столь личинно-маскарадный мир художественных и религиозных идей? Случайно ли прозвучало это предвестие? Или тут простое совпадение?

Артистизм в России как культурно-возрастное явление

Каждый народ, каждая культура проходит этапы своего взросления одним ей свойственным образом. Подростковый фанатизм мог сказаться в Крестовых походах, он же звучит в идее Реформации о приобретении богатства как богоугодном деле.

С какой же идеей выросл русский народ, вступивший всей массой в историческое поле свободы? Разумеется, не с идеями марксизма, которые требуют изощренного ума для их восприятия. Идея была простая, высказанная Лениным в июне 1917 года на первом Всероссийском съезде советов: «Переходя к вопросу внутренней политики, — вспоминает Степун, — Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы

¹ Бунин И. Окаянные дни. С. 91.

сразу прекратить их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками»¹. Тут и представление о жизнедеятельности буржуазии как об «игре», а также расшифровка этой игры — «разбойничество». Если же учесть, как полагал Степун, что «Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией»² (курсив мой. — В. К.), то становится очевидным понимание народом так называемой социалистической революции как грандиозного разбойно-игрового действия, где низы просто должны занять место верхов. Не трудом медленного подъема своего социального и культурного уровня, а — по слову Достоевского — разом, как на театре, сегодня «мужик», а вот к завтраму уже сразу «барин». Такое стремление было вполне в духе сложившейся к XX веку народной психологии. Называя Октябрьскую революцию «нашествием внутреннего варвара», С.Л. Франк отмечал тем не менее, что «нашествие это движимо не одной лишь враждой к культуре и жаждой ее разрушения; основная тенденция его — стать ее хозяином, овладеть ею, напиться ее благами. <...> Отчужденность от “барина” и презрение к нему есть переходящая форма, под которой скрывается зависть к барину, желание самому стать “барином” не только в материальном, но и в духовном отношении»³. *То есть стать не самим собой, а сыграть иную жизненную роль.*

Но, быть может, была более значительная идея? Согласимся, во-первых, что артистическая идея игры в новую социальную роль не такая уж мелкая, а во-вторых, обессиленность и малую продуктивность всех прочих идей прекрасно продемонстрировала война. Наиболее честные из русских мыслителей заговорили о *духовной неподготовленности* России военному противостоянию, ибо российская «общественность во время небывалой мировой катастрофы бедна идеями, недостаточно воодушевлена. Мы расплачиваемся за долгий период равнодушия к идеям»⁴. И это тем прискорбнее, что речь идет о самой идее национального бытия России, о ее самовидении, ведь «война апеллирует не к моральной справедливости, а к онтологической силе»⁵.

Надо сказать, что Степун, несмотря на возгласы патриотических публицистов по обе стороны фронта (в России и в Германии) о пробуждении во время войны национальной (и одновременно все-

мирно значимой) идеи, видел вокруг себя то состояние умов, которое он позднее назовет «*метафизической инфляцией*»¹. Живым примером был его старый оппонент, философ-славянофил Владимир Эрн, кстати, один из ближайших друзей Вяч. Иванова и П. Флоренского. Не участвовавший сам в боевых действиях, но писавший программные антинемецкие статьи, вроде «От Канта к Круппу», «Налет Валькирий» и т.п., В.Ф. Эрн, говоря о страдавших в окопах русских солдатах, торжественно провозглашал: «Вместо людей в серых шинелях мы видим вдруг *живой серый гранит*, который решительно неподвластен обычным законам человеческого существования. <...> Этот момент есть явление народного духа, внезапное вторжение онтологии народного существования»². Этими словами рисуется почти мистериальная ситуация почти хорового Дионисова действия («неподвластность обычным законам человеческого существования»), но сам Эрн этого не замечает, его мышление слишком театрально-героично.

Находившийся в действующей армии Степун писал по поводу этих ура-патриотических философствований: «Ужаснейшая лож нашей идеологии. “Отечественная война”, “Война за освобождение угнетенных народностей”, “Война за культуру и свободу”, “Война и св. София”, “От Канта к Круппу” — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства»³. Поэтому он с иронией замечает о добровольцах, отправившихся на фронт под влиянием этой патриотической публицистики: «Для них театр военных действий в минуту отправления на него *рисовался действительно всего только театром*»⁴ (курсив мой. — В. К.). Между тем эта война «не есть война, а есть *некое теургическое действие*, или называй как-нибудь иначе, это все равно»⁵ (курсив мой. — В. К.). Во всяком случае, в этом действе и жертвы, и кровь были уже настоящие и готовили Россию к большевистским теургическим действиям. Напомню наблюдение Бердяева: «Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры»⁶.

¹ Степун Ф. Путь творческой революции // Степун Ф.А. Сочинения. С. 430. Курсив Ф.А. Степуна.

² Эрн В.Ф. Время славянофильствует // Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 395. Курсив В.Ф. Эрна.

³ Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. С. 76–77.

⁴ Там же. С. 76.

⁵ Там же. С. 70.

⁶ Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 230.

¹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 103–104.

² Там же. С. 69.

³ Франк С.Л. Из размышлений о русской революции. С. 216.

⁴ Бердяев Н. Судьба России. М.: Изд. Г.А. Лемана и Е.И. Сахарова, 1918. С. 89.

⁵ Там же. С. 194.

Свои письма с фронта, производившие большое впечатление, Степун печатал под псевдонимом Н. Лугин в журнале «Северные записки»¹. И при всем, казалось бы, ограниченном кругозоре артиллерийского прапорщика он разглядел нечто, что проморгали многие, связанные либо партийной идеей, либо поисками мистической сущности России. Он понял и указал на *архетипическое, онтологическое состояние русской жизни, русской души*, угадав чудовищность, если оно проявляется в реальности, теургического действия. *Архетипическое*, ибо тянется из языческого прошлого, *онтологическое*, ибо составляет на данный момент суть национального бытия. Он писал: «Очень это странно, но настроение призванных к “наивысшему подвигу” сынов России трагически похоже на настроение изгнанных из России студентов-эмигрантов и политических беглецов. Та же стонущая тоска в настоящем, то же лирическое настроение, как основной душевный колорит, та же поэтизация прошедшего, та же возносящая и развращающая, спасительная и тлетворная мечтательность. Отсюда и наш граммофон, и гитара, и Вяльцева, и Панина, и все застольно-русское, грустно-цыганское, надрывно-самовлюбленное, себя уязвляющее и свои раны лелеющее, все то, к чему все мы так привыкли, что так любим, что знаем с ранней юности, как типично русское настроение. <...> Но разве это настроение, если его даже взять в его мистическом, а не в его кабацком смысле, есть настроение героев и воинов?»² Разумеется, как он впоследствии констатировал, эта мечтательность, пронизавшая все слои русского народа, не могла не взорвать государства, устроив на его обломках «мистерию-буфф».

Степун не раз отмечает у простого солдата желание убежать от своей жизни, заменить ее мечтой, выдумкой, игрой. У Степуна был в этом наблюдении весьма зоркий предшественник — Достоевский, который писал: «И простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительности, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий». И далее пояснял: «Александр Дюма написал <...> гениально, именно так, как нужно для рассказа народу. <...> Мне самому случалось в казармах слышать чтение солдат <...> о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и герцогини де Лявергондьер. <...> Эффект впечатления был

чрезвычайный»¹. Но читать простому мужику сложно, ибо при чтении очевиден ракурс преломления между своей и чужой жизнью. Игра приближает, почти превращает играющего в прельщающий его образ. Уже имея другой, нежели Достоевский, исторический опыт, Степун углубляет это социологическое наблюдение: «Быть может, и та страсть к театру, что залила Россию в первые революционные годы, объясняется той же *народной жаждой быстрого социального восхождения*. За правильность этой гипотезы говорит, во всяком случае, и нелюбовь деревни к пьесам из крестьянского быта и бесспорное пристрастие деревенских лицедеев к ролям из господской жизни»² (курсив мой. — В. К.). Если Степун прав, то можно предположить, что ненависть к высшим слоям на самом деле означала *тайное желание* занять их место. В своем социально-историческом опыте народ опирается на сложившиеся ценности общества. Религиозный пафос был достаточно маргинален (старообрядцы), действующее духовенство — презираемо всеми слоями народа, так что пойти *путем религиозного преобразования* общества (реформаторских, тем более пуританских социальных движений) получавший независимость мужик не мог. *Бюргерский путь*, путь кропотливого труда, экономии, медленного строительства собственного уголка, в России не прижился, ибо не сложилось настоящего, буржуазного, третьего сословия. Заместившее его дворянство получило свои преимущества одним махом — указом за верную службу, это был *путь немедленного возвышения*, который отложился в народной памяти, укоренившись в национальной ментальности. Лишившись традиционных скреп общинно-государственного принуждения, когда не успели сложиться связи социально-экономического правопорядка, народ оказался в ситуации перекасти-поля, беспочвенного героя Достоевского, который, как показал М. Бахтин, способен примерить на себя любую социальную роль, но охотнее ту, где сразу «из грязи — в князи».

Артистическая эпоха есть по сути дела проявление этого «беспочвенного» социального положения людей, причем осязаемого большинства — не только в России, но и в Европе, и в Америке: выхода на историческую арену человека массы, который ощутил себя главным действующим лицом и главным распорядителем всех предшествовавших культурных и цивилизационных ценностей. Но пользоваться ими еще не умел. Разумеется, в каждой культуре это был человек своего, не похожего на соседский исторического и социального опыта: этот диапазон очерчивается двумя литературными

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19. Л.: Наука, 1979. С. 50, 53.

² *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 323.

¹ Журнал этот, вспоминал С.И. Гессен, «очень скоро стал популярен, особенно после публикации в нем “Писем капитана артиллерии” (так у Гессена. — В. К.) Ф.А. Степуна» (*Гессен С.И.* Мое жизнеописание // Вопросы философии. 1994, № 7—8. С. 159).

² *Степун Ф.* Из писем прапорщика-артиллера. С. 79.

персонажами — от Мартина Идена до Павки Корчагина. Отметим житейский «американский» реализм и прагматизм (при всем бес-сребренничестве и романтизации творчества) у героя Джека Лондона и постоянную ориентацию на книжные образцы (Овод и пр.) у героя Николая Островского. Характерно при этом, что оба эти образа в значительной степени автобиографичны.

Мы часто говорим о молодости американской нации. Но там народ был свободен, а потому исходил всегда из своих реальных жизненных возможностей. В России — иное. Долгое социальное рабство (от татаро-монгольского ига до крепостного права) не давало развернуться самостоятельности российского крестьянства, не давало ему повзрослеть. Ребенок, подрастая, осваивает жизнь взрослых при помощи игры. Он целиком перенимает повадки и внешние приметы избранного им для подражания взрослого, но никогда не в состоянии усвоить те реальные проблемы, что стоят за внешним обликом и манерой поведения. Поэтому американец наивнее, ибо не подражает, но умудреннее, взрослее, русский — инфантильнее и по сути дела неопытен в устройстве собственной жизни. Американец и европеец желают театра, зрелищ, могут себя ощутить участниками театрального спектакля, выступающими *на исторической сцене*, окруженными зрителем-миром. Русский народ желает — и это Вяч. Иванов угадал — *мистериальной игры*, с полным перевоплощением, чтоб не временно казаться кем-то, а стать этим, изображаемым. Степун замечает: «Не зрелищ хочет народ, но игры. Наблюдая происходивший в моих деревенских актерах процесс *художественного предвосхищения предстоящего им революционного переселения в высшие слои жизни*, я начал понемногу понимать и то, почему народ не любит народных пьес, и то, в каком настроении играли крепостные актеры... <...> Мне кажется, что *исключительная театральность русского народа есть не только природное, но социально-возрастное явление*. Во всяком случае углубленное постижение этой театральности совершенно необходимо для серьезного социологического анализа *на добрых 50% разыгранной* большевистской революции»¹ (курсив мой. — В. К.).

Конечно, вошедший в историческое пространство человек массы повсюду, в любой культуре, требует зрелищ. Но в одном случае он зритель, в крайнем случае пассивный участник (карнавал), в другом — мистериальная жертва. Чем ближе к востоку Европы, чем меньшую вестернизацию прошли народы (Германия и Франция менее «западные», чем, скажем, Англия), тем больше шансов

на теургическое всеобщее — тотальное, тоталитарное — действо. Французская революция 1789—1793 годов рядились в тоги римских республиканцев и рубила на гильотине многие тысячи голов. Муссолини апеллировал к императорскому Риму, насаждая фашизм. Гитлер возрождал образ древнего германца а-ля Арминий (победитель римских легионов в Тевтобургском лесу). Это был путь самоутверждения европейских стран, вдруг оказавшихся маргиналами в процессе цивилизации, отстаивания своего места наперекор «Западу».

Отсюда еще одно определение. Артистическая эпоха — это реакция на введение в историческое поле свободы огромных свежих масс людей. Старые системы очеловечения, гуманизации, цивилизации (вроде мистически-религиозного и мещански-бюргерского) дают сбои. Тогда включается в действие артистическая система, возвращающая людей в доцивилизованный этап с реальными мистериями и жертвами, таким путем пытаясь помочь сознанию масс справиться с обрушившейся на них свободой. Человечество как бы сызнова проигрывает свое духовное развитие, сызнова дорабатываясь до предохранительных механизмов цивилизации, но уже способных совладать с человеком массы. После катаклизмов XX века Европа, включая и Россию, похоже, возвращается к ренессансной — с опорой на личность — парадигме истории. Соборное сумасшествие эпохи сошло на нет, игра не требует больше материальной крови, не требует жертвы, канализована, формализована, а человек отделен от действия как зритель — рампой: экраном кино, телевизора, трибунами стадионов и т.п.

Конечно, этот Контрренессанс прозвучал в России иначе, нежели в других европейских странах, хотя ко всей европейской жизни можно смело отнести слова Бердяева о конце Ренессанса и о кризисе гуманизма. «Я ощущаю эпоху, в которую мы вступаем, как конец ренессансного периода истории»¹ — так он формулировал центральную тему своей историософии. Россия, в отличие от других стран Европы, имела слишком краткий промежуток ренессансного мироощущения (начиная с Пушкина), чтобы он мог стать защитным слоем против варварства. Ренессанс, понимаемый как *глубоко гуманизированное христианство*, тем менее мог утвердиться в России, что и взлет собственному духовной христианской проповеди, обращенной к личностному смыслу верующих, приходится уже на конец XIX столетия. И проповедники этого христианства сочетали в своем творчестве и ренессансные черты, откровения о душе чело-

¹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 49.

¹ Бердяев Н. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 116.

века, и вызывающе антигуманистические построения. Не случайно возник Великий Отказ великого писателя России Льва Толстого от всего возрожденческого по духу искусства, от науки, от цивилизации. Не случайно самый главный «персоналист» в русской духовности Достоевский выступал с антиличностными призывами: «Смирись, гордый человек!»

Зато традиции дьявольского артистизма, самозванничества, особенно ярко вспыхивавшего в смутные времена России, ох как были сильны. Их силу предсказал в «Бесах» Достоевский устами Верховенского: «И начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой мир еще не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? <...> *Ивана-Царевича*» (курсив мой. — В. К.). Ставрогин догадывается и проясняет этот сказочный образ: «Самозванца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на иступленного. — Э! так вот наконец ваш план». *Самозванец — это актер, вжившийся в чужую личность*, нося ее, однако, как личину. XX век вместо самозванцев подарил, так сказать, *самоназванцев*. Людей псевдонимов. То, что было свойственно для художественной среды, прежде всего для актеров, обрело новую жизнь в революции. *Революцию творили*, ее силы возглавляли — *личины, псевдонимы*, так в личинном своем облике и вошедшие в народное сознание — Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Молотов, Горький, Бедный, Киров. Этими псевдонимами — даже не другими именами, псевдонимами — называли старые города, отнимая с именем и историческую жизнь. Ожившие личины требовали крови, чтобы поддержать свое призрачное существование. И за артистической эпохой, продолжая ее, как закономерное следствие пришла эпоха, когда люди, причем все, *в едином мистериальном действе* не просто играли, а, перевоплощаясь, жили своей ролью.

Это и было то самое теургическое действо, та мистерия, хотя в современном облике, которую призывал на Русь Вяч. Иванов. Не только Степун, но и Бердяев, говоря о конце Ренессанса, о тоске постренессансного человека «по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии», полагал, что «самым блестящим теоретиком этих синтетически-органических стремлений является у нас Вячеслав Иванов»¹. Но именно Вяч. Иванов ужаснулся исполнению в реальности своих предвестий, о чем не без иронии вспоминал Борис Зайцев: «Как будто начали сбываться давнишние его мечты-учения о “соборности”, конце индивидуализма и замкнутости в себе... Вот от этой самой соборности он только и мечтал ку-

да-нибудь “утечь”. <...> Здравый же смысл все-таки взял у “мэтра” верх: в 1921 году Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку <...>, но в 1924 году “утек” в Италию»¹. Где, замечу кстати, в 1926 году принял католичество по стилистической фигуре Вл. Соловьёва. А «дионисийский взрыв» революции, отвергший все защищающие человека социальные структуры, охотно использовал наработанные артистической эпохой личинно-игровые методы освоения и преобразования реальности.

Так что была артистическая эпоха как бы увертюрой надвигавшегося на Россию безумия как образа жизни, как и положено безумию — игрой изживавшему болезнь, в данном случае — *социальную болезнь взросления* оторвавшейся от общинно-государственной и семейно-родовой жизни огромной массы народа.

Артистизм и революция, или Что как называлось

Разбушевавшаяся в Октябре народная стихия была, по мнению одних, обманута большевиками, по мнению других — ими изнасилована, по мнению самих большевиков — верно управляема, по наблюдению же Степуна поставлена судьбой, роком, историей в определенные сценические условия, в которых *приняла предложенные ей роли*. Ибо *хотела принять*. Этого требовала жажда «быстрого социального восхождения» (Степун), а *по правде* так не бывает, *только понарошку*, только в сказке. И народ это в глубине своей души понимал, понимал, что только в сказке Иван-дурак *вдруг* становится Иваном-царевичем. Но *самоназванцы* предложили ему тоже названия, позволяющие не только «грабить награбленное», но *оживив сказку, сделать ее как бы жизнью*. «Воровской идеал, — замечал в своей пореволюционной статье Е.Н. Трубецкой, — находится в самом тесном соприкосновении с специальной мечтой простого народа. Есть эпохи народной жизни, когда все вообще мышление народных масс облекается в сказочные образы. В такие времена сказка — прибежище всех ищущих лучшего места в жизни и является в роли социальной утопии»².

А утопия уже требует своего реального осуществления. Только в данном случае — в сказочной, игровой форме, с переодеванием костюмов и имен (Иван-дурак в роли Ивана-царевича и т.п.). В результате, как замечал Степун, «русский мужик был наречен русской

¹ Зайцев Б. Далекое. М.: Советский писатель, 1991. С. 484—485.

² Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // Литературная учеба. 1990. Кн. 2. С. 103.

революцией пролетарием, пролетарий — сверхчеловеком, Маркс пророком сверхчеловечества, и <...> вся эта фантастика одержала в России столь страшную победу над Россией»¹. Победила фантастика, сказка. Победил Иван-дурак.



Иванушка-дурачок

Причем победившая фольклорная структура сознания и впрямь предполагала, что за словами, за мифическими персонажами существует самая что ни на есть реальность: большевизм, проникший в народ как сила, оправдывающая все народные стремления — даже дикие и темные, разумеется, почти религиозно воспринимал провозглашенные им истины. Не играя, а по системе Станиславского *вживаясь во все слова своей роли*. Не случайно эта система оказалась близка эстетическому мировосприятию большевистских идеологов, именно на нее сделавших упор в художественном воспитании населения. И не только художественном. Партия большевиков, писал Степун, страстно боролась за осуществление своих принципов, «не брезгая никакими средствами, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, слепо веруя, что сущность революции в том “философствовании молотом”, о котором говорил Ницше, что коммунистической вере действительно под силу двигать горами»².

¹ *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк VIII (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция) // *Степун Ф.А.* Сочинения. С. 317.

² Там же. (Кстати, нищешанство русского большевизма заслуживает вполне серьезной разработки).

Это была как бы полуязыческая вера, где реальность замещалась фантастикой, но этой фантастикой жили, чувствуя себя хористами мистериального действия. Ситуацию пробуждения древних — доренессансных и догуманистических — смыслов замечательно описал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус», романе, подытожившем эпоху: «В самом воздухе здесь застоялось что-то от человеческой психологии последних десятилетий пятнадцатого века, *от истерии уходящего средневековья, от его подспудных психических эпидемий*. <...> Пусть это звучит рискованно, но, право же, крестовый поход детей, пляски в честь св. Витта, визионерско-коммунистическая проповедь какого-нибудь “босоногого брата” у костра <...>, — казалось, все это здесь вот-вот разразится. <...> Ведь *наше время* тайно, да нет, какое там тайно, вполне сознательно, с на редкость даже самодовольной сознательностью, поневоле заставляющей усомниться в естественном развитии жизни и насаждающей ложную, дурную историчность, *тяготеет к тем ушедшим эпохам и с энтузиазмом повторяет их символические действия, в которых столько темного, столько смертельно оскорбительного для духа новейшего времени, сожжение книг, например, и многое другое, о чем лучше и вовсе не говорить*»¹ (курсив мой. — В. К.). Но все же — *повторяет*, не просто живет, но еще и играет. Вот это странное мироощущение и пытался угадать Степун. Оно вело в провал тоталитаризма, но оно же давало шанс на то, что рано или поздно игра прекратится, а тогда сам собой угаснет и мистериально-соборный бесовский хоровод.

Каждому «представителю народа» было внушено, что он — член счастливейшего исторического сообщества, которое, конечно, вызывает зависть у врагов. Враги имели *имена-клички*, своего рода *роли* (скажем, «буржуй», «кулак», «вредитель», «попутчик» и т.п.). По ходу мистерии врагов надо было находить и обезвреживать, этим действием увеличивалось счастье оставшихся членов сообщества. Каждый чувствовал, что ему поручена роль спасителя отечества, но может быть поручена и другая роль, он не навечно прикреплен к своей личине, своей маске. Диапазон ролей определен. От «сподвижника» до «жертвы», которая приносится с пролитием ее настоящей крови, чтобы сплотить, склеить общество. Причем жертвы всегда надеялись, что ввдур в какой-то момент их роль из мистериальной станет просто театральной и, осудив их для виду, втайне диктатор их помилует. Поэтому они и «играли честно роль злодеев в спектаклях, выдуманных им» (*Наум Коржавин*). Вот эта вот тонкая, еле уловимая грань между подлинной мистерией и вполне крова-

¹ *Манн Т.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М.: Худ. лит., 1960. С. 50.

вой игрой в мистерию, когда все подлинно должно было выглядеть и происходить, но за этой псевдоподлинностью все же скрывалось тайное ощущение, что когда-нибудь мистерия станет обыкновенным театром, а жертва — лишь театральной жертвой. Исторический опыт не только подсказывал, что так уже однажды произошло, он был все-таки прививкой, не дававшей по крайней мере некоторым, небольшому весьма числу людей самостоятельного духа, принять эту мистерию как историческую заданность жизни.

Им-то казалось, что происходящее в России, Германии, Италии — *кровавый фарс*, всего лишь *попытка* возродить мистерию, но такая попытка, когда грань игры и жизни почти незаметна, хотя есть надежда, что пронизанная личностными смыслами европейская жизнь сызнова цивилизуется и дистанцируется от игры. Вместе с тем если поверить русским мыслителям, выразителям неособорности (Флоренский, Эрн, Вяч. Иванов и др.), то Россия была — в отличие от других европейских стран — обречена на мистериальное существование, в этом ее сущностная особенность. Другие страны Европы слишком заражены возрожденческим пафосом индивидуального самоосуществления, поэтому соборность в них не утвердится, как бы они ни старались. Зато Россия к соборности предназначена едва ли не самой судьбой. Скажем, В.Ф. Эрн был твердо уверен в *антиренессансной направленности русского духа*: «Культура нового Запада с Возрождения идет под знаком откровенного разрыва с Сущим и ставит себе задачей всестороннюю секуляризацию человеческой жизни. <...> Новая культура Запада проникнута пафосом ухода от небесного Отца, пафосом человеческого самоутверждения, принимающего человекобожеские формы, пафосом разрушения всякого трансцендентизма... <...> Русская культура проникнута энергиями полярно иными, ее самый глубинный пафос — пафос мирового возвращения к Отцу, пафос утверждения трансцендентизма, пафос онтологических святых и онтологической Правды»¹.

В социально-политическом плане этот пафос «мирового возвращения к Отцу» моментально выродился в преклонение перед Отцом народа — диктатором, вождем, «корифеем всех наук», а также *корифеем хора*. Вообще, прокламируемое славянофильствующими философами утверждение «онтологической Правды» имело исток идеализированную жизнь Московского царства, из которого когда-то Россия через Смуту, потрясение всех основ, все же вышла к такому типу существования, что позволял хотя бы частично принять

принципы исторического движения. К сожалению, призывы славянофилов всегда осуществлялись, но в такой чудовищной форме, что оказывались страшнее самых мрачных пророчеств их оппонентов.

По схеме теургически-хорового принципа творились театральнo-политические мистерии не только в России, но и в нацистской Германии, фашистской Италии, франкистской Испании и т.п. И, быть может, для нравственного выживания и возрождения чрезвычайно важно было не признать их бытийственно присущими роду человеческому, а лишь этапом, срывом, творимым, по выражению Степуна, «особыми демоническими энергиями человеческой души»¹, а потому объяснимым особыми социоисторическими ситуациями, коих они являются порождением. Для Степуна большевизм — частный случай, *момент российской истории*. А потому от мыслителя требуется не только умение не принять, как говорил Достоевский, существующее за свой идеал, но и умение найти, указать, построить объясняющую модель. Это Степун и пытался сделать. В одной из своих лучших эмигрантских работ он определил феномен революции как сочетание *молодости, преступности* и пробужденной в душах *демонической фантастики*. Все три обозначенных явления несут в себе колоссальной силы игровой элемент. Не говоря уж о молодых людях, через игру входящих в жизнь, напомним свидетельства В. Шаламова и А. Солженицына о склонности блатного мира к романтике, к позе, к актерству. Что касается демонизма, то он по определению предназначен строить на Земле «дьяволов водевиль». Когда случается вдруг революция, тогда оказываются отодвинутыми в сторону и мистические, и мещанские души, но торжествует душа артистическая. Ибо тогда «со дна сотен и тысяч душ одновременно срываются неизжитые мечты, неосуществленные желания, загнанные в подполье страсти. Начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. Все начинают жить ультрафиолетовыми лучами своего жизненного спектра. Мечты о Прекрасной Даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными комиссаршами. Передоновы переходят из среднеучебных заведений в Чеку. Садистические «щипки и единицы» превращаются в террористические акты. Развертывается *страшный революционный маскарад*. Журналисты становятся красными генералами, поэтессы — военморами, священники — конферансье в революционных кабаре.

¹ *Степун Ф.* Религиозный смысл русской революции // *Степун Ф.А.* Сочинения. С. 393.

¹ *Эрн В.Ф.* Время славянофильствует. С. 388. Курсив Эрна.

В этой демонической игре, в этом страшном революционно-метафизическом актерстве разлагается лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться невероятные, несовместимые личности. С этой стихией связано неудержимое влечение революционных толп к праздникам и зрелищам, как и *вся своеобразная театрализация революционных эпох*¹ (курсив мой. — В. К.).

Итак, главное, что происходит в этом актерстве, в этом революционном празднестве, — это «разложение лица», уничтожение личности, растворение ее в хоре, легкая и почти пародийная смена социальных ролей («*поэтессы — военморами*»), человек теряет представление, кто он таков на самом деле, ибо целиком зависит от обряжающей его стихии. А потом и от возглавившей эту безличностную стихию партии. Кстати, *личинность* определяла не только жизнь интеллигенции в советский период, скрывавшей свои мысли под маской преданности, но и жизнь самих партийных работников. И дело тут не в их якобы двоемыслии. Это было их специфическое качество. Ведь член партии работал зачастую не по воле своих способностей или своей специальности, а по прихоти партии, «перелбрасывавшей его на тот или иной участок работ» (термины специальные). С промышленного объекта в колхоз, а оттуда руководить учебным заведением или научным институтом, а потом вдруг — морским промыслом... Так осуществлялась полная потеря личной самоидентичности, когда не суть важно, *кто ты есть* на самом деле, а важно, *как ты называешься*, какую роль тебе «доверили». Вынести такую шизофреническую ситуацию могла только актерская психология, ставшая, как и отмечал Степун, в эту эпоху массовой. Существенно это было и для способности выживать в кровавом хаосе большевистско-мистериальной оргийности. В своих мемуарах Степун отмечал: «Ренегатов было в России немного: примитивный морализм не в русской природе, зато *оборотни вертелись повсюду*. В противоположность ренегату, *оборотень — человек многомерно-артистического сознания*. Поклонение новому не требует от него отречения от старого. *Разнообразные жизненные обличия он так же легко совмещает в себе, как актер разные роли*. С большевиками он большевик, с консерваторами — консерватор. С первыми он проливает кровь, со вторыми — слезы. И то, и другое, *в одинаковой степени лживо, но искренно*»² (курсив мой. — В. К.).

Революционные фанатики и ригористы вымирали в тоталитарно-игровой ситуации (в тотальной игре!) довольно быстро. *Остава-*

лись и выживали — актеры, которые и воплотили в себе тип человека тоталитарной эпохи, эпохи восстания масс. Вот бытовой, но многозначный пример. И Сталин, и его сподвижники являлись народу аскетами, суровыми бойцами и радетелями за счастье людей, хотя на самом деле жили они на спецдачах со спецпайками, участвуя в сталинских воистину лукулловых пирах. Но поразительно то, что двоедушия у этих людей не было, они разрешили это противоречие вживанием в каждую очередную роль. Похоже, Степун прав, что все ими делалось «в одинаковой степени лживо, но искренно».

Преодоление последствий

Разумеется, артистическая эпоха сама по себе, эпоха как таковая не может быть виновата в такого рода последствиях. Она была результатом общеевропейского, если не общемирового кризиса. «Накануне великой войны, — писал Степун, — все мы жили кризисами — кризисом религиозного, политического и эстетически-эротического сознания»¹. Артистизм, театральность характерны, как показывает исторический опыт, для любого слома традиционного мировоззрения. Сложность описываемого периода (начало которого можно увидеть в Великой французской революции) в другом, а именно в том, что кризис коснулся не верхней части населения, как в эпоху Возрождения (когда как противоядие были найдены *мера и перспектива* для нормального существования человека), а многомиллионных масс, соприкоснувшихся с историческим бытием и возможностью свободы. А как известно, количество при своем росте неминуемо переходит в иное качество: масштабы явления придали ему новое качество. Образовались — вместо мелких тираний Ренессанса — невиданные раньше человечеством гигантские тоталитарные общества. Так на антиисторических путях человечество поначалу попыталось справиться со слишком неожиданным расширением поля свободы, как, впрочем, и с увеличением списка действующих лиц на исторической сцене, где каждый, не имея цивилизованной привычки зрителя, хотел сам играть роль главного героя.

Однако парадокс этого контррenessансного движения заключался в том, что претендуя на вечность своего бытия, уверяя, что в основном человечество жило во внерenessансных структурах, что антиличностный период занимает большую часть времени всего существования человечества, *оно не учитывало силы уже запущен-*

¹ Степун Ф. Религиозный смысл русской революции // Степун Ф.А. Сочинения. С. 394.

² Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 371.

¹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 342.

ных историей механизмов цивилизации. В «Бесах» Достоевским было предсказано очень многое из того, что случилось. И тут не только попытка главного «беса» Петечки Верховенского склеить свои *пятерки* — прообраз будущего общества — кровью, своего рода жертвоприношением, но и связь народного возмущения, бунта рабочих с устроенным «бесом» театральным представлением-капустником, где все оказались носителями той или иной *маски, актерами*. А далее *все это кончается самоубийством главного героя* Ставрогина, того, который «подарил» свои идеи разным действующим героям «Бесов». Так и деятели артистической эпохи, смоделировавшие возможный тип жизнеустройства надвигавшегося будущего, либо эмигрировали из страны (Вяч. Иванов), либо приняли большевизм (Брюсов), либо были уничтожены «неблагодарными бесами» (Флоренский). Усвоившими их модели, но отвергнувшими их идейное наполнение.

Достоевский связывал преодоление «бесовщины» с православием. Но несмотря на усилия того же Достоевского, затем Соловьёва, Бердяева и других неорелигиозных мыслителей придать православию личностный характер, оно традиционно осталось закрепленным в общинно-государственных, антиличностных структурах. А механизмы цивилизации и гуманизации общества были когда-то рождены в лоне *личностного христианства*, затем приобрели собственную динамику. Выяснилось, что человечество не может уже отторгнуть наработанные им цивилизационные структуры, опробованные когда-то в эпоху Ренессанса на переходе от Средневековья к Новому времени. Ибо они предполагали движение, развитие. А главное — возможность благоустроенной жизни не только для элиты тоталитарного общества, но для всех.

Процесс этого преодоления можно обрисовать как постепенное воздействие цивилизационных структур на ментальность жителей тоталитарных обществ. Ведь *не был остановлен станок Гутенберга*, и хотя он печатал «мнимую литературу» современности (выражение одного из героев каверинского «Скандалиста»), но также и классику с ее личностными смыслами, пробуждая у поколения новых читателей желание создавать нечто подобное, хоть «в стол». *Продолжали функционировать театры*, довольно быстро пережившие период агитки и обращающиеся к зрителям через рампу с беседой и рассказом о современных проблемах общества, о которых зритель мог размышлять *наедине с собой*. *Оставалась станковая картина*, которой тоже были приданы функции агитпропа, но *сама форма искусства возрожденческого типа*, картины старых мастеров, хранившиеся в музеях, продуцировали художников независимого, личностного ха-

рактера. Я уж не говорю о социально-политических и экономических влияниях западной цивилизации на социалистические страны. Их подданным были отчетливо видны успехи Запада в преодолении тоталитарного прошлого (там, где оно было), в развитии демократических институтов, свободного рынка, беспрепятственного обмена идей.

И еще, быть может, самое важное. Конечно, энтузиасты «нового порядка» погибают первыми, но надолго ли хватает энергии у *актеров* — быть хористами, жертвами и даже руководителями хора? Как нам продемонстрировал опыт России, обошедшейся — в отличие от Германии и Италии — без постороннего западноевропейского вмешательства, — *сорок лет* (1917–1957). Примерно столько, сколько водил Моисей евреев по пустыне после бегства из Египта. Число, похоже, сакральное. Энтузиазм уходит за это время окончательно, ибо постоянное нервное напряжение мистериально-возвышенной жизни не способен долго выдержать ни один культурный организм. Потом начинается ритуализация и формализация. То есть из теургического действия возникает театральная спектакль, где все немножко актеры, но все же в большей степени зрители, наблюдающие на телеэкранах вырождение правящего режима. Да и эти ведущие актеры устали быть попеременно то жертвами, то палачами, а уж хору тем более хочется со сцены в зрительный зал, где — по смыслу европейской цивилизации, впервые открытому Возрождением, — большинству и положено быть. В очередной раз театр, выросший некогда из мистерии, победил оргийность, утвердив независимость человека. Ибо демократические институты (парламент и пр.) имеют именно театральный, но не теургический характер. Выброс энергии, рожденной «восстанием масс», завершился введением ее в цивилизованные рамки с разнообразными способами ее канализации — от футбола и бейсбола до телешоу и парламентских выборов.

Артистическая эпоха была прямым прологом этого восстания. Ее смысл замечательно выражен известными строками Брюсова из «Грядущих гуннов»:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Демифологизация как философская задача. Судьба Николая Чернышевского

(Диалог В.К. Кантора и Е.В. Бессчетновой)

Публикуемая беседа, состоявшаяся в библиотеке им. Ф.М. Достоевского в рамках цикла «Реплики» 20 апреля 2017 года, была посвящена обсуждению книги В.К. Кантора «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского». В этой книге впервые предпринята попытка демифологизации жизни и идей одного из крупнейших мыслителей России, пожалуй, с самой трагичной судьбой. Власть «подарила» ему двадцать лет Сибири вдаль не только от книг и интеллектуальной жизни, но вдаль от просто развитых и образованных людей. Из реформатора и постепеновца, блистательно-го мыслителя, сына протоиерея, человека, вернувшего России идеи христианства в обличье современного ему позитивизма, литератора, вызвавшего к жизни в России, по мысли Бахтина, идеологический роман, миф сотворил революционера. В его идее разумного эгоизма видели злобный утилитаризм, хотя это была перефразировка знаменитой формулы Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это поразительная история человека, ни разу не унизившегося до просьб о помиловании, русского Сократа, с невероятным чувством личного достоинства, из которого власть создала фантом революционера, что способствовало развитию тех сил, против которых выступал Чернышевский. В итоге место реформатора заняли крайние радикалы.

В.К. Кантор. Позвольте мне начать нашу беседу, поскольку в ее основе лежит все же моя книга о Чернышевском, в которой я попытался — вопреки советско-ленинскому и набоковскому объяснению — посмотреть на мыслителя в контексте слов Василия Розанова, увидевшего в нем деятеля масштаба Петра Великого, спиритуалистическое solo, человека «с перунами в душе». Его трагическая гибель, гибель «древа жизни», по определению Розанова, произошла в стране Обломовых. Это все мы и должны обсудить. Но для начала мне, безусловно, следует представить свою собеседницу — молодую исследовательницу, автора книги о Соловьёве и Леонтьеве, а также нескольких замечательных статей о Чернышевском¹. Думаю, свои идеи она выскажет в нашей беседе.

Е.В. Бессчетнова. Говоря о книге «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского», невозможно не сказать о чрезвычайном интересе, который она вызвала в общественной и интеллектуальной жизни академического сообщества. Рецензенты отмечают, что в книге произошло по сути дела возрождение Чернышевского и его реабилитация не только как мыслителя, но и как личности. Естественно, этот взгляд будет для многих непривычен и неприемлем, все-таки еще устойчива советская легенда о нем как непосредственном предшественнике большевизма, но это только усиливает оригинальность книги.

Если говорить о наследии Чернышевского, то существует как минимум два поколения, которые по-разному его воспринимают: первое поколение то, для которого Чернышевский — один из персонажей ночных кошмаров школьника советского периода, когда всех заставляли читать роман «Что делать?» и учить наизусть четвертый сон Веры Павловны. Второй тип — это молодое поколение, для которого имя Чернышевского практически не значит ничего, за исключением того, что в их родном городе так названа улица или есть университет имени Чернышевского, или библиотека, или же памятник на одной из улиц. Честно признаюсь, у меня прежде не возникало желания даже открыть роман «Что делать?» и я даже не могла подумать, что он настолько увлекательный. Чернышевского мне открыл профессор Владимир Карлович Кантор. Книга о Чернышевском — это не первая его работа о мыслителе. Им написано

¹ Бессчетнова Е.В. Эстетика Н.Г. Чернышевского и Вл.С. Соловьёва как путь к преобразению мира // Вопросы философии. 2014. № 3. С. 105–111; Бессчетнова Е.В. Новые люди Н.Г. Чернышевского и современные социальные практики // Человек. 2016. № 3. С. 100–108; Бессчетнова Е.В. Владимир Соловьёв и Константин Леонтьев о бытии России: в предчувствии катастрофы. М.; СПб.: Центр гуманитар. инициатив, 2017. 224 с.

более десятка статей¹, и даже в его романе «Крепость» герой пишет статью о Чернышевском. И вот мой вопрос к Вам: Владимир Карлович, что именно впервые привлекло Вас к личности Чернышевского в 70-е годы прошлого века?

В.К. Кантор. Ответ прост и может показаться глуповатым. Но это правда. После восьмого класса нам было велено читать летом Чернышевского. Я уже тогда был влюблен в классическую литературу XIX века. А потому прочитал не только «Что делать?», но и десятка два статей Чернышевского — о гоголевском периоде русской литературы, где много было рассуждений о немецкой эстетике, том о Лессинге и т. д. И меня поразила невероятная энергия его текстов при всей стилистической шероховатости, которую я отметил. Я ни у кого такого слога не встречал, я ничего не понимал, как теперь я думаю, но энергия была настолько захватывающей, что я своим школьным друзьям говорил, как это здорово. Они рассказали о моем восторге учителю литературы, тот сказал: «Ты у нас интеллектуал, сделаешь доклад о “Что делать?”». Я сказал: «Нет, я совершенно этот роман не понял, поэтому говорить лучше не буду». Потом аналогичная история произошла в университете, когда с меня требовали курсовую по эстетике Чернышевского. Я увильнул, я не мог сформулировать, что это такое. Уже много позже я все-таки это сформулировал, и вышла статья в «Вопросах философии» под названием «Эстетика жизни». Она очень понравилась моему другу, замечательному философу и писателю, издавшему на Западе роман, за который он получил премию Владимира Даля, Владимиру Кормеру. Он хотел вернуться в подзаконную литературу и предложил: «Давай напишем сценарий по Чернышевскому, прямо так и назовем “Эстетика жизни”». И мы, наверное, полгода писали сценарий. Написали первую часть. Остановились на аресте Чернышевского. Потом случилась беда. Кормер тяжело заболел, через год скончался. Без соавтора продолжать было неприлично, и я положил рукопись в дальний ящик. Спустя тридцать лет в Саратове у меня возникли хорошие отношения с музеем Чернышевского, журналом «Волга» и крупнейшим специалистом по Чернышевскому А.А. Демченко. Главному редактору «Волги» Елизавете Мартыновой я обмолвился, что у меня где-то валяется сценарий по Чернышевскому. «Поищите», — сказала она. Надежды найти не было никакой. Но, видимо,

¹ См., например: *Кантор В.К.* Эстетика жизни (Споры вокруг второго — 1865 г. — издания «Эстетических отношений к действительности») // Вопросы философии. 1985. № 5. С. 38—49; *Кантор В.К.* Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о России // Вопросы литературы 2013. № 6. С. 294—331; *Кантор В.К.* «Подпольный человек» против «новых людей», или О торжестве зла в мироустройстве // Вопросы философии. 2015. № 3. С. 102—115.

Господь вел меня, я нашел по прошествии трех десятков лет этот текст. Написал преамбулу, изменил заглавие (теперь это «Посланный в мир»¹), отправил в журнал, и текст был опубликован.

Е.В. Бессчетнова. Диссертация Чернышевского называется «Эстетические отношения искусства к действительности». Главный ее тезис «Прекрасное есть жизнь», это и основной контекст идей мыслителя. Об этом писал Вл. С. Соловьёв. Думаю, Вы правы, связывая этот тезис со словами Христа, говорившего, что он пришел дать жизнь вечную. И здесь нельзя не согласиться с Вами, что это позиция не атеиста, а глубоко верующего христианина. Жизнь в христианстве является высшей ценностью. А принявший христианскую систему ценностей тем самым «перешел от смерти в жизнь». Повсюду жизнь — вот основной пафос Чернышевского. При этом наивысшую ценность составляет жизнь человека, которую Чернышевский определял как постоянное духовное усилие, чтобы оставаться живым. «Прекрасное есть жизнь» — именно этот тезис становится основным в эстетической концепции Чернышевского. Тезис «Прекрасное есть жизнь» для Чернышевского вовсе не означал, что современная ему действительность совершенна, наоборот, в ней, несомненно, присутствует и красота, и уродство, и поэтому главная цель человека и его деятельности есть преобразование природы и общественной жизни. Как бы это ни было парадоксально, данный взгляд Чернышевского вполне созвучен с эстетикой жизни К.Н. Леонтьева. Эстетику Леонтьев искал не в искусстве, а в самой жизни — «картины жизни» для него были неравноценны «картинам для удовольствия зрителя».

Позиция Чернышевского также схожа с тезисом Достоевского — искать человека в человеке. Не случайно эпиграфом к книге поставлена фраза Чернышевского, что «прогресс — это стремление к возведению человека в человеческий сан». Кстати сказать, и название Вашей первой статьи в данном контексте не случайно. Верно?

В.К. Кантор. До сих пор меня спрашивают — откуда возникло название статьи «Эстетика жизни»? Дело в том, что Чернышевского очень долго считали и до сих пор считают всего лишь продолжателем Фейербаха, что он просто изложил его философию, поэтому он материалист, атеист и так далее. Я попробовал посмотреть немного под другим углом зрения — ведь диссертация писалась для русских внутри России. Какая же была проблема главная в России в этот момент? Это тема смерти личности: «Мертвые души» у Гоголя, Некрополис, то есть город мертвых, обозначенный Чаадаевым как

¹ См.: *Кантор В., Кормер В.* Посланный в мир (Н.Г. Чернышевский). Киносценарий // Волга — XXI век. 2015. № 3—4. С. 135—164.

место написания его «Философического письма». Ибо основная задача самодержавного и любого авторитарного государства — это смерть личности, человек должен погибнуть за государство. Чернышевский выдвигает совершенно другой тезис — «Прекрасное есть жизнь!». Он писал в своем эстетическом трактате, что есть разное представление о жизни в разных слоях общества. В высшем слое общества — это избалованная красавица, а в народе — это «крепкая здоровая девка». Что же мы, образованные, понимаем под словом «жизнь» — это лик, лицо, очи. Мыслитель выдвигает совершенно христианскую форму: прекрасное есть лик. Прекрасное есть жизнь глаз, прекрасное есть жизнь духа.

Е.В. Бессчетнова. Главная задача книги сформулирована следующим образом: «Я должен попытаться преодолеть фантомность этой фигуры» (с. 7). Разумеется, чтобы понять становление личности такого масштаба, необходимо показать его бытовую и культурный контекст. Весьма существенно место рождения героя — Саратов, город на Волге, реке, которую Василий Розанов называл «русским Нилом». Существенно и то, что Чернышевский был сыном протоиерея и окончил семинарию, где был одним из лучших учеников. Важен культурный контекст его жизни. Он выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета. Первую свою работу «Словарь к Ипатьевской летописи» написал под руководством историка древнерусской литературы, великого филолога И.И. Срезневского, защитил магистерскую диссертацию под руководством знаменитого либерала профессора А.В. Никитенко, писал в «Отечественных записках», затем стал публиковаться в «Современнике», где довольно скоро Некрасов сделал его вторым человеком в журнале, оставляя его руководителем журнала на время своих отъездов, полемизировал с Герценом, Огарёвым, Катковым, Тургеневым. Его двоюродным братом был академик А.Н. Пыпин, близко общавшийся с Вл. Соловьёвым, который писал о трагическом пути Чернышевского, его нравственной позиции, напоминая позицию святого, и высоко оценил его диссертацию в своей статье «Первый шаг к положительной эстетике». Отец философа, историк С.М. Соловьёв — убежденный государственный и человек, далекий от идей реалистов-радикалов шестидесятых годов, — негодовал по поводу ареста и ссылки Чернышевского и открыто говорил об этом. Но, наверное, самые точные слова о Чернышевском принадлежат В.В. Розанову: «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли

к Древу Жизни: но — взяли и срубили его. Срубили, “чтобы ободрать на лапти” Обломовым» (с. 5). Заглавие книги (цитата Розанова) является камертоном для всей книги. В ней Вы рисуете Чернышевского как одну самых ярких индивидуальностей России, но что повлияло на его становление? В каком контексте происходило становление этой личности?

В.К. Кантор. Это вопрос резонный и более чем справедливый. Повлияло все, как на каждого из нас влияет все. Во-первых, я начну даже не с родителей, не с отца, хотя отец был удивительный человек. Это Волга, Саратов, Евразия. Это ситуация, когда еще его родственники попадали в плен к кочевым племенам, его дядя бежал от кочевников, добираясь до места. Это разбойники, ведь Волга славилась невероятным количеством разбойников, я не говорю уже про Пугачёва и Разина. Жизнь на краю смерти. Это то, что было дано Толстому в Севастополе и на Кавказе, когда он поехал воевать, что Достоевскому дано было на каторге — в Мертвом доме — понимание другой стороны России, России огромной, нестоличной. Чернышевский это понимал с детства. Герцен повторял, что у нас нет прошлого, мы можем писать заново все. То есть как нет прошлого? Еще какое, отвечал Чернышевский. Только звуки языка, которым писалось наше прошлое, не похожи на звуки европейского языка. Это звуки восточных племен, кочевников, дикие и страшные, — вот наше прошлое. И нам нужно от него избавляться так же, как западу избавляться от своего прошлого. От кочевников Батыеа мы имеем понятие произвола. Все делать волей прихоти.

Конечно, влияние месторазвития важно, но много важнее было влияние отца. Отец был протоиереем Сергиевской церкви. А родом был из села Чернышева Пензенской губернии: отсюда фамилия, полученная им в семинарии, из которой Гаврила Иванович вынес блестящее знание древних языков и французского. По приказу Петра в церкви могли служить только священники, кончившие семинарию. Что такое семинария? Мы не понимаем ее уровня, воспринимая семинарию по «Очеркам бурсы» Помяловского. А семинария — это латынь, греческий, обязательно живой европейский. Чернышевский с отцом переписывался на серебряной латыни, его любимый писатель был Цицерон, он его цитировал постоянно и читал. Вообще, если говорить о языках, Чернышевский знал одиннадцать языков. Кроме церковнославянского, древнегреческого, латыни, основных современных языков он знал татарский, персидский, арабский. Когда он попал в «Современник», он вел среди прочего зарубежный отдел, обзор политических событий — читал по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Кста-

ти, он был единственный из русских мыслителей, которого при жизни оценил западный гений. Я говорю о Марксе, который писал, что единственный мыслитель в России, делающий честь этой стране, — это Чернышевский. Комментарии Чернышевского к книгам знаменитого английского экономиста Дж. Милля поразили Маркса, который считал, что никто лучше не понимает экономики, чем русский Чернышевский. Чтобы читать Чернышевского, Маркс выучил русский язык. Но вернемся к церкви. Одна деталь очень любопытная. В Саратов приехал известный граф Сперанский — один из первых русских реформаторов, тоже бывший семинарист. И он пригласил отца Николая Гавриловича к себе в секретари. Тот сказал «нет» — отказ дорогого стоил, потому что его соученик, которого он рекомендовал графу Сперанскому, стал тайным советником, сенатором. Он отказался, так как считал себя пастырем, а не чиновником. Это семейная легенда, и практически последняя статья Чернышевского перед арестом — о Сперанском, под названием «Русский реформатор». Один из епископов, приезжавший в Саратов, после беседы с маленьким Николькой сказал: «Это же надежда русской церкви». Это христианское начало в нем осталось. Но на семейном совете было решено отправить сына в университет. Один из священников сказал его матери: «Что же вы делаете — это будущее церковное светило». Она ответила: «Вы же знаете, как сейчас относятся к священникам, их слово ничего не стоит». Жизненная задача Чернышевского была попытаться в новом — совершенно светском варианте — дать идеи христианства, чтобы они были услышаны. Как раз его *идея разумного эгоизма* — одна из таких попыток. В этой его идее видели злобный утилитаризм, хотя это была перефразировка знаменитой формулы Христа: «*Возлюби ближнего твоего, как самого себя*», ибо человек, ненавидящий себя, не знающий чувства любви, будет ненавидеть и других.

Е.В. Бессчетнова. Я уже упомянула об университетских учителях Чернышевского: Срезневском и Никитенко. Как они, на Ваш взгляд, повлияли на него?

В.К. Кантор. Срезневский был специалист по древнерусской литературе. У него Чернышевский, как Вы уже отметили, писал первую работу. Она была опубликована в 1853 году в «Прибавлениях» ко второму тому «Известий Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности». В словаре Ипатьевской летописи, в которой князь Владимир произнес о крестившихся русичах, что отныне они стали «новые люди». Потом эти слова прозвучат в романе «Что делать?». Второй его учитель был Никитенко — известный русский литератор, литературовед, цензор, у которого много

славных было поступков в жизни. Скажем, когда «Мертвые души» Гоголя были запрещены московской цензурой, писатель привез рукопись в Петербург. Никитенко, бывший петербургским цензором, смог ее пробить. Никитенко был профессором, у которого Чернышевский писал диссертацию. У нас часто говорят, что это вариация на мотивы Фейербаха. Американская исследовательница Ирина Паперно написала, что у Чернышевского идеи Фейербаха легли на мощный православный фундамент. Думаю, она права. Заметим, что, читая Фейербаха, он не выходил за пределы религиозных проблем, ибо первая прочитанная им книга немецкого философа называлась «Сущность христианства».

Е.В. Бессчетнова. Чернышевский был абсолютно свободным и независимым мыслителем, кумиром русской молодежи 1850-х годов. Как Вы думаете: какие идеи создали такой эффект, какие идеи могли молодежь привлечь и какие идеи заставили власть опасаться распространения влияния идей Чернышевского?

В.К. Кантор. Вопрос очень сложный. Надо сказать, что популярность Чернышевского была действительно невероятной. Был такой советский историк В.Ф. Антонов, который написал прекрасную книгу о Чернышевском как реформаторе. Автор показывает, что критик не только не был революционером, он был против революции. Но власти не нравилась независимость мысли, «непочтительность к авторитетам», как он говорил. Разумеется, молодежи это импонировало, и Чернышевский это чувствовал. Но был человек, которого он любил как сына. Это Добролюбов. Также семинарист, тоже с Волги. Как, кстати, и драматург Александр Островский, любимый автор обоих мыслителей, тоже сын священника, семинарист, хотя и родившийся в Москве, но семинарию окончивший в Костроме.

Е.В. Бессчетнова. И тоже сын священника.

В.К. Кантор. Да. Когда Чернышевский с ним познакомился, Добролюбову было девятнадцать лет. Молодой человек показал одну из первых своих статей, спросив, можно ли ему попробовать писать для «Современника». Попробуйте, сказал Чернышевский. Посмотрел и сказал, что молодой человек пишет то, что надо. Это был действительно второй голос Чернышевского, его второе «я». Смерть Добролюбова была потрясением для него и для молодежи. Тургенев был очень большим занудой, все время повторялся, обращал на себя внимание. Добролюбов слушал-слушал и говорит: «Иван Сергеевич, знаете, мне неохота с вами говорить. Скучно. Давайте просто не будем», — и ушел. Можете представить, как классик открыл рот и растерянно обратился к Чернышевскому: «Николай Гаврило-

вич, вот вы змея простая, а Добролюбов очковая»¹. Считается, что Тургенев в Базарове вывел Добролюбова. Но Чернышевского все же дворяне гораздо больше не любили, чем Добролюбова. От Тургенева пошла шутка о клоповоняющем господине. Что могут они, эти семинаристы, когда мы воспитаны на великой немецкой классике! В ответ Чернышевский наносит мощный и изящный удар. Он пишет трактат: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность»². Я думаю, что мало кому из присутствующих скажет что-нибудь этот его шаг. Ну знаменитый драматург, ну автор весьма популярного эстетического трактата «Лаокоон». Но знает ли кто, что Лессинг — тоже сын священника. Окончил богословский факультет, то есть по сути тоже из семинаристов. А именно он родил немецкую классику, его последователями были Шиллер, Гёте, Кант, Гегель, Шеллинг и прочие. Когда Чернышевский эту книгу выпустил, литераторы-дворяне открыли рот. Во-первых, никому не приходило в голову, что семинарист знает так блистательно немецкую литературу и философию. А во-вторых, он показал, что семинарист — это мощная интеллектуальная сила: от Лессинга до Чернышевского.

Е.В. Бессчетнова. Главным делом Чернышевского стал журнал «Современник». Фактически Некрасов передал ему управление журналом. Их встреча была не просто важна для Чернышевского, но во многом решила его судьбу. Как, на ваш взгляд, выстраивались отношения Чернышевского и Некрасова?

В.К. Кантор. Это действительно почти романтическая история, потому что считалось, что «Современник» издает Панаев. Некрасов как бы при нем. Чернышевский первые статьи публиковал у Краевского. Одна из первых его статей о поэтике Аристотеля, которого он читал по-гречески. Мы не очень понимаем уровень этого человека. Кстати, Лосев сказал, что в России было лишь два настоящих эстетика — Соловьёв и Чернышевский³. Эти слова дорогого стоят. Чернышевский понес потом свои статьи в «Современник», поскольку молодая жена требовала денег, нужно было много и везде писать и печататься.

¹ Чернышевский Н.Г. В изъятие признательности // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. X. М., 1951. С. 123.

² Чернышевский Н.Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. IV. М., 1948. С. 5–221.

³ Бибихин приводит слова Лосева: «Что в России... Россия беспросветное мужичество. В России нужно только водку и селедку. Алкоголизм и селедка. Эстетики мизерные. Ну вот только Владимир Соловьёв. Он защищал тезис Чернышевского, что прекрасное есть жизнь. Так же как греки, онтологично. Прекрасное есть бытие. Вот разве что он. <...> Чернышевского диссертация хороша. <...> Главное у него правильно» (Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004. С. 23).

Некрасов полностью принял Чернышевского, сказав: «Мне понравилось, что вы написали, будьте нашим постоянным автором»¹. Надо понять, что такое Некрасов, почему он оценил Чернышевского. Он прошел примерно ту же страшную школу жизни. Он был из дворян, но отец не хотел, чтобы он поступал в университет, его отправляли в промышленное училище. Приехал, поступил сам в университет. Вольноопределяющийся — значит без денег, без стипендии. И вот в течение нескольких лет он ходил в столовую, где бесплатно давали хлеб и соль. Он прикрывался газетой и брал хлеб, солил его и этим питался. Не случайно в конце жизни у него был рак желудка. Жить было негде. Он снимал углы. Вот эта жизнь, которую он прошел, — она позволяла ему видеть то, что дворянину Тургеневу в голову не приходило. В сущности Некрасов в каком-то смысле создал Чернышевского, он дал ему журнал. Когда он уезжал на полтора года в Европу, он сделал Чернышевского главным редактором. Понимаете, что такое вести лучший журнал России? Реально главным редактором стал Чернышевский, которому приносили статьи, стихи, прозу. Это сумасшедшая работа, договоры с типографией, с распространителями, авторами и т.д. При этом он писал всю ту же свою невероятную норму, он спал по два-три часа в сутки. У него была конторка наверху квартиры. Ольга Сократовна развлекалась, шум, студенты приходили. А он сидит и пишет. Когда ему говорили: «Трудно вам было на каторге, голодно?» — он отвечал, что привык, что ему в день хватало кружки воды и горбушки хлеба. О Некрасове еще два слова. Чернышевский был благородный и благодарный человек. Он без конца повторял, что Некрасову обязан всем, если бы не было Некрасова, не было бы и его.

Е.В. Бессчетнова. Несмотря на то что авторитет Чернышевского в обществе рос, у императора начиналась боязнь Чернышевского. Откуда у Александра II страх реформаторов? Получается оксюморон. Император реформатор и боялся реформаторов.

В.К. Кантор. Потому что император хотел тех реформ, которые не меняли бы сущности самодержавия, никакой конституции. Чернышевский был арестован в июле 1962 года, сразу после Крестьянской реформы, причем интересно, что его арестовывал жандарм Федор Ракеев, который еще ротмистром отвозил тело Пушкина в Святые Горы. Это был, видимо, специалист по литераторам. Чернышевский был уверен, что арест его ненадолго, не было ничего компрометирующего. И вправду четыре месяца не знали, к чему прицепиться. Все его статьи прошли цензуру и т.д. Наконец, Чер-

¹ Чернышевский Н.Г. Воспоминания о Некрасове // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. I. М., 1939. С. 716.

нышевский написал императору письмо с требованием справедливого суда. Но *требовать* у императора ничего нельзя! Да еще и подписался: «Ваш подданный Николай Чернышевский» — даже не *верноподданный*. Можете представить ярость императора? **Русский мыслитель** выступил как европейский человек, гражданин, который обращается к другому гражданину. Это послужило причиной долговечной ярости императора. Независимость для авторитарного властителя страшнее всего. «Великий бунтарь» Бакунин написал Николаю, отцу Александра II, из крепости письмо, где подписался «кающийся грешник Михаил Бакунин». А здесь абсолютная непочтительность. Надо было его наказать, посадить. Но как? Был Костомаров, которого мы называем доносчиком, *он не был доносчиком, он был клеветником*. История Костомарова проста: как раз он был революционером, его арестовали, отправили на Кавказ, он дико перепугался, произнес знаменитое «слово и дело». Что он все расскажет про Чернышевского, но рассказывать-то нечего было. Тогда он сочинил роман в духе Эжена Сю или Конан Дойла, что Чернышевский, как главный преступник Лондона, профессор Мориарти из рассказов о Шерлоке Холмсе, сидит и плетет вокруг себя паутину революционеров, подземные ходы, склады с оружием, литературой. Послали в Третье отделение. Там пожали плечами и не поверили. Тогда он попросил работы Чернышевского, мол, он их откомментирует. Он комментировал каждую фразу Чернышевского как призыв к революции и произнес классическую, далее любимую фразу Ленина: «Подцензурными статьями он воспитывал революционеров»¹. Ленин в сущности повторил слова Костомарова. Интересно, что судьба с ним распорядилась жестоко. Когда его выпустили из камеры, где он писал наветы на Чернышевского, он тяжело заболел, его уложили в больницу для бедных, потому что для Третьего отделения он был отработанный материал. Там он вскорости умер. К нему относились плохо все, даже врачи и медсестры, они знали, что он оклеветал выдающегося человека, и за его гробом шла одна мать. Никаких реальных обвинений против Чернышевского не было выдвинуто. Можно сказать, что его судили как героя набоковского романа «Приглашение на казнь» Цинцинната за «мысленное преступление».

Е.В. Бессчетнова. Чернышевский писал свое первое большое литературное произведение уже после ареста. Мифов вокруг романа сложилось не меньше, чем вокруг самого автора. Его называли и катехизисом революционеров, и евангелием нигилистов. П.А. Кро-

¹ Ленин В.И. Гонимые земства и аннибалы либерализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 5. М., 1967. С. 29.

поткин писал, что роман «Что делать?» стал откровением для молодежи того времени, превратился в программу, сделался знаменем. Но какую программу на самом деле дал Чернышевский в своем романе, действительно ли это был призыв к подполью и революции? В книге подробно описаны различные мнения о романе, но главный тезис полностью опровергает представление о произведении как о литературной агитации к свержению существующего строя. Это роман о любви и труде в христианском понимании. В действительности, если не искать в тексте призывов к революционному действию, не вкладывать их туда, то в нем можно увидеть только идеи, говорящие о необходимости изменения взгляда отдельного человека на себя, призыва полюбить себя и ближних и начать вести деятельную жизнь, тогда и окружающий мир изменится. Считалось, что «Что делать?» — это ответ на тургеневского Базарова. И в своем романе Чернышевский дает новое понимание молодых людей, отличных от нигилистов.

В.К. Кантор. Начну с того, что ни один из его новых людей не является революционером. Ригориста Рахметова архимандрит Бухарев называл русским подвижником, святым. Придя к Вере Павловне, Рахметов говорит: «Вы разрушали благосостояние 50 человек, — что значит 50 человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против Духа Святого, — грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку, но этот — никак, никогда»¹. Это Рахметов, суровый человек, ригорист. Оставшись ночевать, он ищет в библиотеке Лопухова, что почитать перед сном, и выбирает трактровку Ньютоном апокалипсиса. Это сильная деталь!

Так вот, роман начинается самоубийством одного из главных героев — Лопухова. Потом Вера Павловна поет знаменитую песенку французских санкюлотов «Дела пойдут». Но революционные мотивы Чернышевский опускает и дает якобы перевод этой песни, который не имеет ничего общего с ее реальным содержанием. Вот новые слова: «Да, пела она, мы бедные. Мы **необразованные**, но мы будем учиться, работать и мы разбогатеем, станем сильными и властными»². Никакой революции. Для того времени этот прием был понятен, по-другому все воспринималось. Что делает «самоубийца» Лопухов? Он уезжает в Америку и возвращается предпринимателем.

¹ Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1976. С. 222–223.

² Там же. С. 9–10.

Е.В. Бессчетнова. Не предпринимателем. А сотрудником крупной компании.

В.К. Кантор. Ну не важно. Буржуазной компании. У нас часто говорили, что конец романа, где все в цветах, бледный мужчина в черном, радостная женщина встречает бледного мужчину – символичен. Советское литературоведение писало, что изображена революция, освободившая автора. Но на самом деле автор был уверен, что его выпустят, поскольку нет за ним преступления. Когда вышел роман «Что делать?», публика думала: раз напечатали роман, то автора выпустят. Вопрос, почему Третье отделение роман разрешило? Любопытный вопрос. Потому что в новых людях оно увидело не радикалов, а людей дела, причем верующих. В «Повести временных лет» Владимир после крещения русских в Днепре говорит: «Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих»¹. Не забудем, что Чернышевский писал словарь к «Ипатьевской летописи», соответственно, этот эпизод не мог не знать. А известный автор «Хроник Нарнии» *Клайв Стейплз Льюис* пишет в своей книге «Просто христианство»², что новые люди появились после Нового Завета. Для Чернышевского это было очевидным.

Е.В. Бессчетнова. Новые люди у Чернышевского появляются, когда начинает дуть еще слабый ветер свободы, когда появляется платформа для развития. Познание и собственное дело становятся для них основой жизни, а любовь к себе, к окружающим людям, осознание того, что прекрасное есть жизнь, широта дерзаний и смелость поступков – главными качествами новых людей. Это был призыв к буржуазному предпринимательству, а не бомбометанию (см. с. 345). Кроме того, если провести аналогии с современным нам капиталистическим обществом, то нетрудно сделать вывод, что мастерские Веры Павловны – это start up с инновационным принципом распределения прибыли, сама героиня – социальный предприниматель. Лопухов, в свою очередь, – это представитель крупного корпоративного бизнеса. Он же работал на заводе, в конторе заводской, а после своего мнимого самоубийства уезжает в Америку и становится служащим крупной английской компании, под именем Чарльза Бьюмонта возвращается в Россию. Кирсанов – третий главный герой – занимается научными исследованиями. Он медик и при этом у него своя кафедра. Он проводит эксперименты, занимается научными исследованиями. Три типа деятельности современных молодых людей, которые каждый сегодня может выбрать в

качестве приоритетного для себя. А сам роман «Что делать?» – это прежде всего роман о любви, о любви к женщине, о любви к ближнему как самому себе. Именно так первоначально восприняли роман молодые люди того времени, многие буквально последовали примеру Лопухова и Верочки, убежали из дома и втайне венчались. Интересно, что даже Третье отделение первоначально пропустило роман в печать, увидев в нем лишь любовную линию. Любовь Лопухова к Вере Павловне – пример безграничной любви мужчины к женщине, на которую способен не каждый, но каждый должен стремиться к ней. Это любовь духовно развитого человека, любовь, в основе которой – христианская заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Лопухов отказывается ради Веры Павловны не только от карьеры медика, но и полностью от своей прежней жизни и даже имени. Примечательно, что для Чернышевского любовь между героями является нормой для человека. В романе не раз подчеркивается, что в этом нет ничего особенного и невероятного. Чернышевский был убежден, что чувство, подобное чувству героев, оказывается началом любви к жизни и другим людям.

В.К. Кантор. Никакой революции, заметим себе. Чарльз Бьюмонт женится на дочери миллионера Кате Полозовой. Для Чернышевского миллионы не преступление. Любопытно, откуда пошла идея революции. Об этом писал профессор Цион – человек, не любивший Чернышевского. Он **иронизировал, замечая**, что молодые люди, прочитавшие «Что делать?», если их спросят, что это такое, скажут, что, мол, плохой роман, но там три важные идеи: 1) быть верным самому себе, 2) найти подругу по сердцу и по душе, 3) не очень понятно было, что делать. Заводить мастерские? Не хотим. Мы драться хотим. Подруга была под рукой, независимости у них было выше крыши. И вдруг случилась Парижская коммуна, и тут-то они и поняли, вот оно! Спустя 10 лет после романа они поняли, что имел в виду Чернышевский. Вот так родилась легенда о революционном пафосе.

Е.В. Бессчетнова. Владимир Сергеевич Соловьёв в статье «Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский» приводит в пример слова своего отца, который в домашнем разговоре со своим другом возмущался: «Что же это такое? – говорил отец. – Берут из общества одного из самых видных людей, писателя <...> такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат года, – никому ничего неизвестно, – судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никому **не годным**, – и вот,

¹ Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси: XI – начало XII века. М., 1978. С. 133.

² Льюис К.С. Просто христианство. М., 1994.

наконец <...> этот **Чернышевский, которого оно** (общество. — *В. К.*) **знает только** только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, — а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину»¹. Был ли суд на самом деле?

В.К. Кантор. Формально да. Собрались сенаторы, которые судили. Они долго спорили, они не знали, за что его посадить, в чем обвинить. Но потом решено было по совокупности. А главный обвинитель — шеф жандармов генерал Потапов. Тоже история, не могу не рассказать, она комическая. Когда генерал Потапов, главный деятель, который подзуживал Костомарова, вышел в отставку, то император хотел его взять в Государственную думу, но брат императора сказал: «Ты что, у него размягчение мозга, нельзя такого брать». Действительно прославился потом Потапов тем, что, когда он ездил по Европе, всегда заезжал в Майнц, подходил к статуе Гуттенберга, показывал ей язык, и ехал дальше.

Казнь была классической, похожей на костер Джордано Бруно. Народ сзади кричал «уничтожить, расстрелять его, враг императора, государства». И только узкий круг свободомыслов, которые собрались вокруг, поддерживал его. Интересно, что в глазах каторжан он не революционер, а ученый, носитель нравственной силы. И прозвище у него было на каторге «Стержень нравственности».

Е.В. Бессчетнова. Давайте поговорим об окружении Чернышевского на каторге. Если у Достоевского в «Записках из Мертвого дома» мы понимаем, что его окружали реальные преступники, то каково было окружение Чернышевского? В своей книге Вы ставите Чернышевского и Достоевского рядом в истории русской культуры. На разных примерах отмечается близость взглядов мыслителей, в то время как большинство исследовательских работ написаны с целью развести их. Кроме того, в книге показано, как сама судьба постоянно сближала мыслителей. Вывод можно сделать следующий: несмотря на внешне неблизкие отношения, два гения на каком-то почти подсознательном уровне испытывали глубочайшее уважение друг к другу. Пересечение Чернышевского с Достоевским еще в первый счастливый и деятельный период жизни первого было своего рода увертюрой, ведь ему также суждено было стать идеологическим преступником, увидеть дно человеческого существования и «мертвый дом», но только гораздо в более жесткой и беспощадной форме.

В.К. Кантор. Это разница огромная. Там уголовных не было. Там были политические. Это был период, когда политические аре-

стовывались десятками. Александр Второй — вроде бы Освободитель, отменил крепостное право, но меня поразило, как зарубежная пресса того времени писала о жестокости императора, который даже приговоры к длительному тюремному заключению менял на повешение, даже не расстрел, а именно повешение. По поводу Чернышевского русские эмигранты писали, что даже декабристов, которые выступили против царя с оружием в руках, наказали меньше, чем Чернышевского. Но на каторге ему повезло (первые семь лет), его окружали люди, которые его обожали. Он сочинял романы и пересказывал их. Страшнее была Вилюйская долина смерти. От семилетней каторги идут замечательные рассказы, самоирония, которая из философов в России была свойственна только Соловьёву. Скажем, он сочинил такую легенду. К имаму Шамилю пришел пророк и сказал, что в Петербурге есть ученый, который пишет книгу, которая перевернет весь мир. Шамиль спросил, когда это произойдет. Когда баран закричит козлом, сказал пророк. Имам приказал пророка казнить и ушел к очередной жене. Когда он наутро вышел, то увидел барана, который кричал козлом. Имам задумался и послал своих верных мюридов найти этого ученого в Петербурге и убить. Они долго его искали, и один из них нашел. Человек сидел на последнем этаже какого-то многоквартирного питерского страшного дома. Он сидел перед открытой печкой и бросал листочки в огонь. Мюрид спросил: «Это ты человек, который написал книгу, которая перевернет мир?». — «Я». — «Имам приказал тебя убить». Человек печально посмотрел на посланца имама: «Подожди, дай вначале сожгу свою книгу». Его сотоварищи по каторге спросили, это вы были тем ученым? Нет, ответил Чернышевский, я был тот баран, который начал кричать козлом. Самоирония удивительная.

Е.В. Бессчетнова. Но потом он попал в Вилюйск, который называли «долиной смерти». Как существовал Чернышевский в долине смерти, ведь его не только ограничили в пространстве и поместили в ужасные условия, но и запретили писать. Происходили бесконечные обыски, все написанное тут же уничтожалось. И это было ужаснее, чем физическая смерть, Чернышевского хотели лишить самого главного в его жизни — возможности свободно писать и мыслить. Иными словами, целью было не физическое уничтожение Чернышевского, а уничтожение его как мыслителя. Короленко, сам прошедший сибирскую ссылку, писал: «Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизненному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в полемике “с псевдоуче-

¹ Соловьёв В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Соловьёв В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 641–642.

ными авторитетами”. Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве на бесплодную борьбу с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. <...> Нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя»¹.

В.К. Каитор. Убийство было явное. Вилюйск называли долиной смерти, там гуляла проказа, холера, люди хронически болели пневмонией, туберкулезом и т.д. Охранники менялись каждый год, чтобы не померли. Чернышевский просидел там двенадцать лет, причем самое ужасное было то, что, хотя после каторги по приговору суда он должен был идти на вечное поселение в Европейской части России, по приказу императора его отправили в Вилюйск. Это патологическая ненависть была удивительная. Это значило убить философа. Он, в сущности, был Сократом русской культуры. Помните, Сократу предложили не философствовать в обмен на прощение, а он ответил, что не получится, что он не может не философствовать.

Е.В. Бессчетнова. Вы свою книгу называете «Апология Чернышевского», и сразу напрашивается аналогия с апологией Сократа. А какова переключка судеб Чернышевского и Сократа?

В.К. Каитор. Он принял то, что ему было предписано. Как Сократ выпил свою цикуту, так и Чернышевский принял все наказания. В какой-то момент совесть у императора проснулась, он прислал генерала с предложением Чернышевскому подать просьбу о помиловании, оно уже было написано, осталось только подписать, и тогда его освободили бы. Чернышевский спросил: «Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?»²

Кто сыграл основную роль в освобождении Чернышевского? Это смешная история. «Народная воля» была разгромлена к тому моменту абсолютно. Осталось там три-четыре человека, которые доживали свой век. И у них появилась светлая идея послать пугательное письмо императору Александру III, что, если он не освободит Чернышевского, они устроят на коронации фейерверк такой, что мало не покажется. Императора это встревожило, и тогда он сказал,

что освободит Чернышевского только после коронации, чтобы она прошла спокойно. Так и случилось. Чернышевского освободили и отвезли в жаркую холерную Астрахань. Через пять лет ему разрешили вернуться в Саратов за несколько месяцев до смерти, в конце жизни он очень подружился с Короленко, тот его обожал...

Два слова о его последней фотографии, где он лежит на смертном одре. Он лежит с библией в руках. Эту фотографию было запрещено публиковать. Я был тот человек, который первый опубликовал ее.

Е.В. Бессчетнова. Важно, что в Вашей книге Вы идете против мейнстрима, преодолевая установку «незнания Чернышевского». Вы обращаетесь непосредственно к текстам Чернышевского: к его статьям, романам, мемуарам, переписке, личным фотографиям — и работаете с ними так, чтобы увидеть в них самого мыслителя, а не подтверждение господствующей идеологии, гипотез или простых слухов.

Книга демифологизирует и очищает от паутины мнений образ одного из крупнейших мыслителей России. В ней Вы не идеализируете своего героя, а показываете, что Чернышевский проходит через собственные искушения: искушение собственной исключительностью, искушение быть спасителем человечества (Чернышевский в молодости даже был воодушевлен созданием вечного двигателя), искушение женщиной, искушение «медными трубами», но он справляется с ними и как истинно верующий человек со смирением принимает свой крест. Вы ставите Чернышевского в один ряд с ярчайшими представителями русской религиозной мысли — с Ф.М. Достоевским и Вл.С. Соловьёвым. Будем надеяться, что это исследование станет импульсом не только к переосмыслению наследия Чернышевского, но и к возрождению основных идей мыслителя.

Вопрос из зала. Я хотела спросить: Вы сами, Владимир Карлович, известный писатель, не только философ, Вы написали много романов, повестей, рассказов, очень интересных. Рассказывая о Чернышевском, Вы как бы пишете чуть ли не роман с таким ярким, очень интересным героем. Просто заново открывается, действительно, личность Чернышевского, которая была нам навязана в абсолютно другом ракурсе, и мне очень интересно Ваше мнение о романе «Что делать?». Насколько в художественном плане это интересно, что именно Вы чувствуете, какие образы Вас там завораживают, какие идеи, не какие-то искусственные, а именно через логику художественного образа, что там раскрывается для Вас?

Е.В. Бессчетнова. Можно один комментарий по поводу книги «Что делать?» и другой по поводу книги Владимира Карловича о

¹ Короленко В.Г. Воспоминания о Чернышевском // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. Саратов, 1959. С. 307–308.

² Кокосов В.Я. К воспоминаниям о Н.Г. Чернышевском // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 363.

Чернышевском? Когда я читала, у меня было такое ощущение, что я читаю детективный роман. А «Что делать?» это и есть детектив, потому что начинается с убийства и потом раскрывается сюжет, почему это убийство состоялось. Прямая параллель между книгой Владимира Карловича и романом «Что делать?».

В.К. Кантор. Достоевский, конечно, учитывал этот опыт Чернышевского. Я могу сказать, что, когда я первый раз прочитал этот роман, я был вне себя от восторга, мне все нравилось. Сейчас я могу сказать, что это слабее Достоевского. Но Чернышевский сделал одно невероятно важное художественное открытие. Герои у него определялись не бытом, а идеями. Потом таким писателем стал Достоевский. От него пошел идеологический роман, от Чернышевского. Это впервые было сделано в России.

От «молчания мертвых» к «говорку винтовок»

(К позиции Семена Франка в русских революциях 1917 года)

В августе 1917 года в московском издательстве Лемана и Сахарова Франк выпустил в свет небольшую брошюру под названием «Мертвые молчат». Название жутковатое, но в духе тем и сюжетов русской культуры, где тема мертвеца играла немалую роль, начиная от русских народных сказок и кончая «Мертвыми душами» Гоголя, «Записками из Мертвого дома» Достоевского, его гениальным рассказом «Бобок», «Живым трупом» и «Смертью Ивана Ильича» Льва Толстого. Не говорю уж о небольших этюдах классиков вроде «Гробовщика» Пушкина, «Вия» Гоголя, «Воскресения всех мертвых» Леонида Андреева, трактатов философа-мистика Николая Федорова «Философия общего дела» об оживлении всех умерших. Этот контекст надо понимать, но добавив важное: шла самая страшная за последние столетия мировая война, когда мертвые исчислялись как минимум сотнями тысяч.

И еще эпизод, о котором знали в Европе и России, названный «Атакой мертвецов». Шестого августа 1915 года немецкие войска пустили отравляющий газ на крепость Осовец, которую защищали русские. У русских не было противогазов. Две трети погибли. Уцелевшая, еще живая 13-я рота, лица солдат обмотаны тряпками, с рук слезала кожа, вдруг пошла в штыковую с хрипом «Русские не сдаются». Голосовые связки, говорят, были сожжены. Как писалось в газетах «Русское слово» и «Псковская жизнь», немцы бежали, напуганные страшным видом идущих в атаку мертвецов. Легенда это или нет, но она стала фактом русской публицистики.



Е. Пономарев.
Атака мертвецов

Франк писал, начав с горестного письма матери одного из погибших: «Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на митингах, не составляет резолюций, не образует союза и не имеет представителей в совете рабочих и солдатских депутатов. Тихо истлевают они в своих безвестных могилах, равнодушные к шуму жизни и забытые среди него. И все же эта армия мертвецов есть великая — можно сказать, величайшая — *политическая сила* всей нашей жизни, и от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений. И тихий укоризненный голос матери есть лишь слабый предвестник громовых раскатов гнева, с которым мертвые готовятся обрушиться на живых»¹. Это ощущение силы мертвых, которая составляет нерв политической жизни в XX веке, проследил гениальный Элиас Канетти. Об этом его книга «Масса и власть». Канетти весьма серьезно подчеркивает, что вождь не может бытствовать без массы. Но масса может (а порой и должна быть) *массой мертвецов*, трупов: «В памяти павших он и почерпнул силу не признавать исхода минувшей войны. Они были его массой, пока он не располагал никакой другой; он чувствует, что это они помогли ему прийти к власти, без павших на первой мировой войне он бы никогда не существовал. <...> Ощущение массы мертвецов для Гитлера — решающее. Это и есть его *истинная масса*. Без этого ощущение

¹ Франк С.Л. Мертвые молчат // Франк С.Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 578.

ния его не понять вообще, не понять ни его начала, ни его власти, ни того, что он с этой властью предпринял, ни к чему его предприятия вели. Его одержимость, проявлявшая себя с жуткой активностью, и есть эти мертвецы»¹. Но это было позже — когда наступил нацизм, а пока надвигался большевизм.



Братское кладбище солдат, павших во время Первой мировой войны

Франк был не единственным, заговорившим о роли мертвых в жизни живых, хотя и первым философом, в эти годы серьезно подошедшим к проблеме погибших. Он хотел думать, что именно неотомщенная смерть сотен тысяч солдат позволила так легко и вроде на поверхностный взгляд без насилия свергнуть царя. Он писал: «Раскрывая до конца конкретный смысл этого события, мы не можем не видеть, что *революцию совершили тени погибших на войне*. Народная душа была до краев переполнена кровью бесчисленных жертв войны; чтобы охранить в ней равновесие, нужна была особенно чуткая, нежная внимательность к ее страданиям; вместо этого ее оскорбляли и в ней оскорбляли предательством, легкомыслием и равнодушием святые для нее тени жертв войны. И достаточно было ничтожного внешнего толчка, чтобы армия возмущенных теней вышла из недр народной души и, предводительствуя маленькой кучкой людей на улицах Петрограда, в три дня разрушила трехсотлетнюю монархию»². Надо сказать, что тема движения мертвых в ту страшную войну не оставляла людей творчества. В 1916 году вышло в переводе Александра Блока стихотворение финского поэта Нино Рунеберга «Марш мертвецов»:

¹ Канетти Э. Гитлер по Шпееру // Канетти Э. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1990. С. 74.

² Франк С.Л. Мертвые молчат // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 579–580.

Упорной колонной мы строимся там,
 Где гибнут живые толпами.
 Всё новые войны к нашим рядам
 Идут, примыкают с годами.
 Пробитая грудь, окровавленный лоб —
 Так рать наша бьется из гроба,
 Ее не пугают опасность и гроб,
 Не трогают зависть и злоба.
 Слабеет в сраженьи живая рука,
 Оружие может сломаться,
 А наши деянья не знают врага,
 Не могут ничем запятнаться.
 Да, новые войны к нашим рядам
 Идут, примыкают с годами,
 Победной колонной мы держимся там,
 Где гибнут живые толпами.

11 декабря 1916

Все эти строчки — и Франка, и Рунеберга в переложении Блока, — кажутся мистическим выходом в народный фольклор, где мертвые могут действовать и влиять на живых, более того, они определяют падение неких жизненных структур. И надо еще подумать, хорошо ли это — ломать привычные общественные структуры вместо того чтобы их реформировать. Да и возможно ли в реальности влияние мертвых. Франк все же христианин, но он здесь совершенно оглушен, одурманен произошедшим, не понимает его и ищет ответа в народном мироощущении. Революция почти бескровна, но именно почти. Уже позже он вспоминал, что эта *бескровная* революция разнуздавала «анархическую стихию», и Россия вовсе не пошла вперед «семимильными шагами», как он надеялся. Напротив, постфактум он зорче: «Настала пора безумия, в течение которой охватившее всех на несколько дней настроение радости и надежд сразу же стало отравляться жутким ощущением надвинувшейся анархии; чернь, расхватывавшая разбросанное по городу оружие, солдаты, нагло разгуливавшие с сознанием совершенного ими “геройства” революции, освободившего их и от страха наказания, и от обязанности служебной дисциплины, страшные вести о зверских убийствах в Финляндии матросами офицеров — все это создавало неотразимое впечатление, что Россия катится в бездну»¹.

¹ Франк С.Л. Воспоминания о П.Б. Струве // Франк С.Л. Непрочитанное. М.: Московская школа политических исследований. 2001. С. 481.

С.Л. Франк,
 Саратовский
 университет,
 1917



И все же в 1917 году Франк почувствовал позитивную силу массы — массы мертвых, ведь их — «бесчисленная армия». **И это для него не суеверие!** «Для слепых и глухих, для тех, кто живет лишь текущим мгновением, не помня прошлого и не предвидя будущего, для безумцев, о которых давно сказано: «Рече безумец в сердце своем: несть Бога», — для них мертвых не существует; и напоминание о силе и влиянии мертвых есть для них лишь бессмысленный бред суеверия. Но те, кто умеют видеть и слышать, кто сознает настоящее не как самодовлеющую, отрешенную от прошлого жизнь сегодняшнего дня, а как преходящий миг живой полноты, насыщенной прошлым и чреватой будущим, — те знают, что мертвые не умерли, а живы. Какова бы ни была их судьба там, за пределами этого мира, — *здесь*, среди нас, их мученические образы живут в наших душах и движут нами. Или, вернее, они живут не в *наших* душах, — не в слабых, ограниченных, легко забывающих и мало разумеющих сознаниях отдельных людей, а в подсознательных глубинах великой, сверхличной *народной души*. <...> Их тела погребены в земле; но их души, покоясь здесь среди нас в таинственном лоне сверхвременной народной души, суть семена новой жизни, прорастающие незаметно для нас в наши души и движущие нами»¹.

¹ Франк С.Л. Мертвые молчат // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 579.

Что же это за новая жизнь? Явно не дантовская «Nova vita»! Франк рассчитывает на сверхличную силу ушедших в иной мир. И пока он верит в благотворную силу этой массы, которая с того света руководит живыми. Хотя, зная русскую народную мифологию Франк мог бы быть осторожнее в своих надеждах. Гробовщик Пушкина, прекрасно знавшего фольклор, сказал: «А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных. <...> Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье!» Кончилось это не лучшим образом, гробовщик Адриан чуть с ума не сошел: «Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. “Что за дьявольщина!” — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу».

Православность мертвеца не исключала его злобности. А сюжет жениха-мертвеца, который тянет невесту с собой в гроб!

Революционное помутнение разума у великого философа очевидно. Он видит злодейства, но не хочет их видеть. Как Блок в поэме «Двенадцать» во главе каторжников и убийц увидел Христа. Двенадцать апостолов нового страшного мира, способные только убивать: «Запирайте этажи // Нынче будут грабежи». Они убивают бывшую возлюбленную одного из двенадцати, «вечную женственность» в понимании Блока. Кто же их ведет? Ведь

идут без имени святого
 Все двенадцать вдаль.
 Ко всему готовы,
 Ничего не жаль.

А Антихриста увидеть не захотел. Франк же со времен «Вех» в трагедии русского развития винил интеллигенцию, которая-де подбивает народ на бунты. Возможно, тема мертвых связана была у Франка с чисто христианской формулой молитвы: «Христос воскрес из мертвых, / смертью смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав». Но здесь у Франка получалось нечто кошунствен-

ное, ибо Христос даровал жизнь умершим в Царствии Небесном, но умершие не могут даровать ничего живым, ибо они из царства мертвых, где нет Христа.



Ю. Анненков.
 Иллюстрация
 к поэме
 «Двенадцать»

Впрочем, Франк даже в эти безумные дни середины 17 года видел и опасность этого фольклорного неистовства, опасность, если желания мертвецов не осуществляются: «Страшна месть мертвых! Когда их тени снова будут доведены до открытого возмущения в народной душе, то в порыве слепого, безумного негодования на оскорбителей их памяти они могут свергнуть страну на долгие годы в ту же пучину самой темной реакции, из которой они же вывели ее. Именно потому, что они и после революции продолжают жить в народной душе неотомщенными и неудовлетворенными, — более того, что после революции тени их терпят еще большие оскорбления, еще большее равнодушие, чем раньше, — именно поэтому мы живем как на вулкане и в каждое мгновение можем ждать нового внезапного сотрясения исторической почвы, которое в своей стихийной слепоте может разрушить и стереть с лица земли не только зло, но и добро всей нашей новой жизни»¹.

¹ Франк С.Л. Мертвые молчат // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 581.



Еще живые
и уже
мертвые

Вот это уже говорит о том, что Франк, как трезвый мыслитель, ничего не утверждал как нечто неизблемое. Дело в том, что смерть продолжала господствовать над территорией России. Канетти произнес точные слова: «Смерть как угроза — это монета власти. Очень легко, складывая монету к монете, скопить огромный капитал»¹. И Ленин скапливал. Скажем, Троцкий вспоминал о реакции Ленина на отмену смертной казни солдат-дезертиров: «— Вздор, — повторял он. — Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?»²

Вот вроде бы у власти почти выбранное Временное правительство, вся демократическая Россия ждет Учредительного собрания, чтобы впервые в истории Отечества установить на этой территории демократию, закон и порядок. Но хотят ли ее солдаты? И блокковские *двенадцать* с ружьями идут мимо Христа, он им не является, об этом в поэме «Хорошо!» написал Маяковский:

Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...

¹ Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 503.

² Троцкий Л.Д. О Ленине // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. С. 213.

Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.

Но Блоку
Христос
являться не стал.

У Блока
тоска у глаз.

Живые,
с песней
вместо Христа,

люди
из-за угла.

Кто же эти живые? Подчеркиваю — не мертвецы, а, пользуясь словом Канетти, «выжившие», бывшие на грани смерти, но оставшиеся живыми. Они несут недобро, не зло, а именно недобро. Поэтому и полагает Франк, что «мы живем как на вулкане и в каждое мгновение можем ждать нового внезапного сотрясения исторической почвы, которое в своей стихийной слепоте может разрушить и стереть с лица земли не только зло, но и добро всей нашей новой жизни». Вернусь к революционной поэме Маяковского.

Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.

«Говорок винтовок» — это то, что ждало русских искателей демократии. А кто стреляет? Чья это месть — мертвых или живых, не успевших умереть — уже кажется все равно. Самое важное, что ожидалось в результате Февральской революции, — это наконец-то созданное Учредительное собрание. 5 января Собрание открылось. Ленин ушел практически сразу, большевики-интеллигенты типа Луначарского побесчинствовали немного, посвистели, поорали, постучали по попитрам, мешая заседанию, потом тоже покинули зал. Остались солдаты, простой народ, на которого со

времен «Вех» так надеялся Франк, обвиняя интеллигенцию в свращении народа, что он повторил в своей знаменитой статье «De profundis»: «Конечно, прославленный за свою праведность народ настолько показал свой реальный нравственный облик, что это надолго отобьет охоту к народническому обоготворению низших классов. И все же, вне всякого ложного сентиментализма в отношении «народа», можно сказать, что народ в смысле низших классов или вообще толщи населения никогда не может быть непосредственным виновником политических неудач и губельного исхода политического движения по той простой причине, что ни при каком общественном порядке, ни при каких общественных условиях народ в этом смысле не является инициатором и творцом политической жизни. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства. Это есть простая, незыблемая и универсальная социологическая истина: действенной может быть не аморфная масса, а лишь организация, всякая же организация основана на подчинении большинства руководящему меньшинству»¹.

«Спустившись с помоста, я пошел взглянуть, что делается на хорах. В полукруглом зале по углам сложены гранаты и патронные сумки, составлены ружья. Не зал, а становище. Учредительное собрание не окружено врагами, оно во вражеском лагере, в самом логовище зверя. Отдельные группы продолжают “митинговать”, спорить. Кое-кто из депутатов пытается убедить солдат в правоте собрания и преступности большевиков. Проносится:

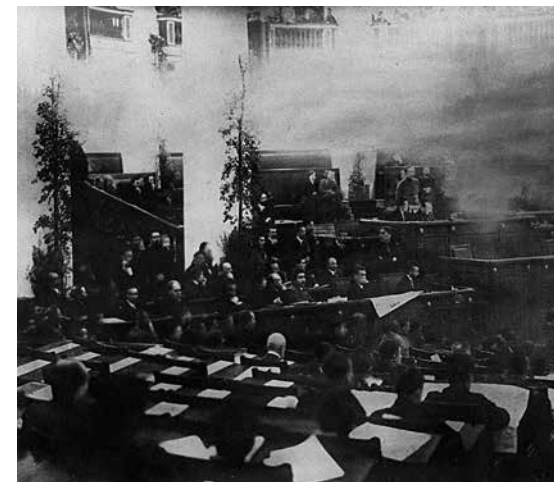
— И Ленину пуля, если обманет!

Комната, отведенная для нашей фракции, уже захвачена матросами. Из комендатуры услужливо сообщают, что она не гарантирует неприкосновенности депутатов, — их могут расстрелять и в самом заседании. Тоска и скорбь отягчаются от сознания полного бессилия. Жертвенная готовность не находит для себя выхода. Что делают, пусть бы делали скорей!

В зале заседания матросы и красноармейцы уже окончательно перестали стесняться. Прыгают через барьеры лож, щелкают на ходу затворами винтовок, вихрем пронесаются на хоры»².

¹ Франк С.Л. De profundis // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 481.

² Вишняк М.В. Созыв и разгон Учредительного собрания // Революция 1917 года глазами ее руководителей. М.: Центрполиграф, 2017. С. 322–323.



Начало и конец
русского
Учредительного
собрания

Надо сказать, что эти действия солдат и их фразы и жесты напоминают людей из Мертвого дома, то есть живых мертвецов, простых бандитов, «потерявших нитку», по выражению Достоевского, не видящих черты, отделяющей жизнь от смерти. И к интеллектуалам, членам Учредительного собрания, думавшим о судьбах России, относились как к несостоявшимся еще мертвецам. Вот спускается «с помоста и В.М. Чернов, свертывая на ходу бумажки в трубочку. Вместе проходим к вешалкам с платьем. Караул никого не останавливает. Только слышу по адресу Чернова:

— Вот этого бы в бок штыком!»¹

Добавлю, что Виктор Михайлович Чернов, один из основателей партии эсеров, ее главный теоретик, многократный эмигрант, один из лидеров борьбы с самодержавием. Надо сказать, что народ уже переступил грань разумного, далее его несла стихия, во что Франк все еще не мог поверить.

Статья «De profundis» была написана в том же 1918 году, уже после разгона Учредительного собрания. Франк в самом начале отметил, что все интеллигентные партии были опущены солдатами и матросами, то есть вооруженным народом, как бы были похоронены. Их голоса не были слышны, доносились только бормочущие всхлипы. Народ был готов убивать и эсеров и даже большевиков («И Ленину пулю»), охлос торжествовал, как на поминках нелюби-

¹ Вишняк М.В. Созыв и разгон Учредительного собрания // Революция 1917 года глазами ее руководителей. М., 2017. С. 322–323.

мого родственника. Франк удивительно точно передал это, вспомнив гениальный рассказ Достоевского «Бобок», где герой слышит доносящиеся из могил гнусные голоса. Снова мертвые, но не торжествующие и благородные, а мелкие и гнусные. Он пишет: «Вспоминается мрачная, извращенная фантазия величайшего русского пророка — Достоевского. Мертвецы в своих могилах, прежде чем смолкнуть навеки, еще живут, как в полусне, обрывками и отголосками прежних чувств, страстей и пороков; уже совсем почти разложившийся мертвец изредка бормочет бессмысленное “бобок” — единственный остаток прежней речи и мысли. Все нынешние мелкие, часто кошмарно-нелепые события нашей жизни, вся эта то бесплодно-словесная, то плодящая лишь кровь и разрушение бессмысленная возня всяких “совдепов” и “исполкомов”, все эти хаотические обрывки речей, мыслей и действий, сохранившихся от некогда могучей русской государственности и культуры после бешеной пляски революционных привидений, как последние дотлевающие огоньки после дьявольского шабаша, — разве все это не тот же “бобок”? И если мы, задыхаясь и умирая среди этого мрака могилы, в своих тревогах и упованиях продолжаем по инерции мысли бормотать о “заветах революции”, о “большевиках” и “меньшевиках” и об “учредительном собрании”, если мы судорожно цепляемся за жалкие, замирающие в нашем сознании остатки старых идей, понятий и идеалов и это бесплодное и бездейственное трепыхание чувств, желаний и слов во мраке смерти принимаем за политическую жизнь, — то и это все есть тот же “бобок” разлагающегося мертвеца»¹.

Надо сказать, очевиден путь от этих слов к его «Крушению миров», где философ беспощадно разделался со всеми политическими и псевдофилософскими партийными и околопартийными идолами. А далее гениальный трактат «Непостижимое». Но чтобы его написать, надо было выбраться из «Бобка» политического треска. Конечно, оставшееся полупрезрение к интеллигенции, на мой взгляд, объясняется его партийно-философской средой, просто он не видел людей трезвых и понимающих силу слова. Сын священника, корабель, великий и самый смелый писатель Евгений Замятин хорошо помнил Евангелие от Иоанна, где было сказано, что в начале было Слово. И в 1921 году, когда интеллигенция стала планомерно истребляться, он воспел величие разума и его трагедию. «Единственное оружие, достойное человека — завтрашнего человека, — это слово. Словом русская интеллигенция, русская

литература — десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек. Гордый *homo erectus* становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке — побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. <...> На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен сегодняшним днем; наше обращение к тем, кто видит далекое завтра — и во имя завтра, во имя человека — судит сегодня»¹.

Впрочем, название сборника Франка «Из глубины», а также *De profundis* уже говорит об очень серьезном пафосе, ибо это один из важнейших псалмов, псалом 129. Это покаянная молитва, взывающая к Божьему милосердию. Как известно, псалом особенно популярен в западнохристианской традиции, хорошо известен по первым словам — «*De profundis*. В иудаизме этот псалом включен в погребальную службу и в молитву, читаемую во время поста. Его используют католики и протестанты в качестве погребальной молитвы. Псалом положен на музыку многими композиторами, в их числе Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Кристоф Глюк, Феликс Мендельсон, Вольфганг Амадей Моцарт, Генри Пёрселл, Антонио Сальери.

Конец Российской империи — это повод для обращения к 129 псалму. Особенно здесь к месту последняя седьмая строка: «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Беззаконий Россия совершила немало, надежда на силу мертвых оказалась неработающей. Более того, произошло страшное превращение вчерашних мертвых в живых и злодейских солдат.

* * *

Ничего другого Франк в тот момент не мог предложить России, кроме идущего от Достоевского пафоса самоисправления. Именно этот пафос преодоления себя является основным в «Пушкинской речи» Достоевского: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего

¹ Франк С.Л. *De profundis* // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 478–479.

¹ Замятин Е. Завтра // Замятин Е.И. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 49.

в своем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь»¹. К сожалению, мотив долженствования никогда не являлся решающим фактором общественной жизни, если не был подкреплен суровой церковной, военной или политической обязательностью. Франк писал в своей ключевой на то время статье: «Вся наша жизнь и мысль должна быть пропитана духом истинного, высшего реализма — того реализма, который сознает духовные основы общественного бытия и потому включает в себя, а не противопоставляет себе *творческий идеализм внутреннего совершенствования*»². Это почти прямой повтор тезиса Достоевского. Страшно сказать, но в этих повторах слышится отчаяние, как в выкрике «бобок» покинувшего жизнь человека, но что-то мучительно пытающегося сформулировать уже по ту сторону жизни.

Франк все же произнес слова, от которых долго уходил, — о народном богоотступничестве: «Как и почему случилось, что народ (понимая народ не в классовом, а в национальном смысле), прозванный народом-богоносцем, стал народом-нигилистом, кощунственно попирающим все свои святыни? Как случилось, что народ, не без основания прославленный за свою нравственную кротость и чистоту, стал народом-убийцей, народом неприкрытой корысти и всяческого нравственного распутства? Трудно определить, почему это произошло, но, быть может, возможно наметить, как это совершилось. В нашем национальном жизненочувствии давно уже назревал какой-то коренной надлом, какое-то раздвоение между верой и жизнью. Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни и из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бороться и творить жизнь; все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность и бездейственную мечтательность. И параллельно этому вся действенная, жизненно-творческая энергия национальной воли становилась духовно непросветленной, нравственно необузданной, превращалась в темное буйство злых страстей и бесплодно-отрицательного рассудочного умствования». Итак, народ ни с мертвыми, ни с христианством не сумел стать опорой либеральных интеллектуалов.

Любопытно, что тема мертвых не была забыта в Советской России. Начиная с Мавзолея, где совершенно языческим, фольклор-

ным, если угодно, образом в центр столицы был положен набальзамированный мертвец, Мертвые, погибшие за дело революции, окормляли новую власть. В своей революционной поэме это классически подытожил Маяковский:

И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуны
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель?
...
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ошестинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

¹ *Достоевский Ф.М.* Пушкин (Очерк) // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 139.

² *Франк С.Л.* De profundis // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 497.

Как видим, здесь поворот несколько вроде похож на христианский. Но жестокость не христианская. Не мертвецы спасают живых, а живые охраняют покой мертвых. Другое дело, что пафос этих живых опять-таки связан с оружием и убийством.

И самого Маяковского убил советский бездуховный быт, о чем он и написал в предсмертных стихах:

Как говорят –
«инцидент исперчен»,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.

Но самым главным убийцей поэта была его «бессмертная возлюбленная», о которой ходили упорные слухи, что она работает в ЧК. Достоевский показал, что черт *пошл*. Столь же пошла оказалась и избранница великого поэта.

В 1926 году семья из трёх человек – Маяковский, Лиля и Осип Брик – поселилась в Гендриковом переулке.



Осип Брик, Лиля Брик, Владимир Маяковский
Фото: Государственный музей В.В. Маяковского

Там Лиля Брик вскоре создала свой салон, который посещали поэты, артисты и чекисты. Из чекистов самым страшным, похоже, был Яков Агранов, который «пас» интеллигенцию, подружился с Маяковским; ему приписывали приказ о расстреле Гумилёва, его также называли одним из любовников Лили и реальным убийцей Маяковского. Он подарил Маяковскому маузер, но после смерти поэта был обнаружен браунинг. Видимо, оружие подменили. Похоже, самоубийства и впрямь не было. Но дружба с чекистами была очевидной. В этом ужас жизни великого поэта.

Юноше, обдумывающему жите,
решающему –
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай ее
с товарища Дзержинского!

Путешествуя по Европе, когда поэта травили в РСФСР, в день его смерти Брик записывала в дневник: «14.4.1930. Встали в 5 утра. В 6 с чем-то сели в поезд, прямо в вагон-ресторан. <...> До Амстердама ехали цветочными коврами, каналами, пестрыми домиками. Всё утро бродили по старому городу». Узнав о самоубийстве, она вдруг раскрывается, что воспринимала поэта – лишь как средство для жизни – *для себя и Оси*: «Володик доказал мне какой чудовищный эгоизм – застрелиться. Для себя-то это конечно проще всего. Но ведь я бы всё на свете сделала бы для Оси, и Володя должен был не стреляться – для меня и Оси»¹.

Но «говор винтовок» был слишком силен и привлекателен. Противостоять ему поэт не сумел.



Дом
в Гендриковом переулке

¹ Брик Л. Пристрастные рассказы. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. С. 209–210.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Владимир Кантор

СМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРА

Маленькая повесть

Есть ли существо гнуснее человека? Где-то читал Галахов, что в одном африканском племени стариков заставляли влезать на высокое дерево. Затем подходили здоровые мужики и трясли дерево. Кто падал и разбивался, тех съедали, а удержавшимся позволяли еще пожить.

Павел попытался повернуться на бок, подложив руку под подушку, а щеку на подушку, как он любил (самая удобная поза еще с детства), но боль в спине и ногах лишала его всякой силы. Вчера он был в больнице у отца, куда того положил младший брат Павла Клавдий. Сам Клавдий в Лондоне, а ухитрился в одну из лучших больниц отца положить. Деньги всюду сила. Отцу исполнилось в этом году восемьдесят девять, Павлу – шестьдесят семь. Уже не мальчик, пенсионер, а бегаёт, как мальчик. Здорово он вчера навернулся, когда еле выскочил из-под колес подлой машины подлого нового русского, очевидно, бандита. Машина, шедшая вдали, вдруг прибавила скорость, обогнала шедшую впереди, которая притормозила, пропуская Галахова, и промчалась, почти вплотную к тротуару, словно пыталась сшибить его. Павел успел взойти на тротуар, но зацепился ногой о столбик загородки, как-то неловко крутанулся и упал спиной на металлическую трубу загородки. С трудом встал. Что хотел этот шофер? Неужели и вправду убить? За что?

Павел вспомнил странного дружка из первого класса: звали его Васёк, жил в доме без номера, куда даже милиция боялась заходить (там никто не имел никакой прописки, что для начала пятидесятых

было весьма необычно). Он очень стеснялся образованного соседа по парте. Стриженный, как и все, наголо, Васёк стеснялся еще и лишая на затылке, выевшего часть волосяного покрова на голове. Он очень хотел показать Паше свою значительность, такая защитная реакция бедного зверька. И Васёк выдумал себе принципы. Он переходил шоссе, нарочно замедляя шаг перед быстро мчавшимися легковушками. «Чтобы не нагличали», — объяснял он. При этом шоссе — боковое, в середине XX века почти пустынное, да и скорости тогда были не сравнимые с нынешними. Своими принципами Васёк хотел заслужить уважение Галахова. Потом остался на второй год, а потом Паша услышал, что его бывшего соседа по парте на смерть сбила машина. Теперь он думал о нем, как о правдолюбце, который на свой лад боролся с сильными мира сего, потому что на скоростях всегда неслись машины властных нелюдей.

От боли Павел не мог заставить себя подняться и вылезти из постели. А потому хотел заспать свою маленькую нужду. Обычно — каждую ночь последний год — промаявшись до пяти утра (ворочаясь, вставая, выходя в туалет, потом на кухне выпивая ненужную чашку чая, которая снова гнала его в туалет), он засыпал, наконец, и спал часов до десяти. Он не умел спать один, и дело было не только в телесной близости с женщиной, которая еще требовалась, хотя не столь живо, как раньше. Нет, просто в тепле женского тела, а под женщиной последние годы Павел понимал только Дашу, и, не находя ее рядом, чувствовал среди ночи, что ему не хватает половины самого себя. Оставшаяся одна сама по себе половинка ныла и жаловалась, что ей некомфортно. Он пил на кухне ненужный ночной чай и смотрел телевизор. По ночам под утро, как правило, крутили вестерны: ковбои в шляпах с заломленными полями выхватывали кольты и расправлялись с негодяями. Почему-то раньше ему и в голову не приходило, что в этих длинных скачках по степям и горным перевалам герои никогда не испытывают простых человеческих потребностей — пописать, покакать. Разве что пожрать да выпить! А если у тебя к старости запор, да еще аденома предстательной железы, когда по двадцать минут стоишь в туалете, мучительно глядя, как мелкие редкие капли превращаются, наконец, в вялую струйку. Смог бы ты скакать при этом на лошади и стрелять из колта без промаха? Как всегда, он заснул перед экраном, очнулся, вспомнил слова Даши, которая в таких случаях обнимала его за плечи и, ведя к постели, приговаривала: «Спать надо лежать». Он шел и ложился в постель, но все равно засыпал лишь когда начинало светать.

Около девяти он услышал звонок домофона, но сквозь дурноту сна только испытал к звонившему раздражение и полное отсутствие

в теле какой-либо возможности встать, подойти к входной двери и нажать кнопку, выпускающую в подъезд. Он вспомнил, что сегодня приносят пенсию. Приносит почтальонша с твердым квадратным ртом и бородавками на всегда открытой шее. Потому он и не поднялся на звонок в дверь, знал, что соседка с нижнего этажа возьмет пенсию. Почтальонша все же как-то вошла в подъезд, поднялась на его этаж, позвонила в дверь. Но Галахов затаился. И та отправилась к соседке, бормоча: «Ушел, что ль, куда в такую рань».

Эту почтальоншу не хотел он видеть с прошлого месяца. Он тогда ей тоже не открыл. Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четырех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятилетиному отцу, а на остальные полторы тысячи живи, как хочешь. На американские деньги это получалось около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать. Павел не грустил. И без того казалось, что чужие дни доживает, дни друзей, которые умерли раньше. Но прошлый месяц, не дозвонившись до него, почтальонша пошла на хитрость.

Соседка с нижнего этажа, молодая, уже в теле, пришла с ней вместе, чтобы подтвердить, что это и в самом деле почтальон: «Вы чего не открываете?» «Даша приедет, сама со мной на почту ходит», — хитрил он. Даша на почту никогда с ним не ходила. Он и сам мог бы сходить, просто никого последнее время не хотел видеть. «Вы будете открывать?» По слабости характера сдался, открыл дверь. И получил! «Даша! Даша! Да нет ее уже в живых! Знаете сами, а придуриваетесь! Стыдно, дедушка!» А потом добавила с укором: «Что вы голову, как страус, прячете?! Просто берегла она вас». Даша бы не позволила так говорить с ним или о нем, если б была дома, а он, мужик, мужчина, позволил эти речи, как последний подлец. А ведь хотели умереть в один день. Он не мог даже вообразить, что с Дашей может случиться что-то плохое!..

Нет, соседка врет! Галахов молча взял деньги у почтальонши, не пересчитывая, сунул в карман домашних мятых брюк, расписался в ведомости — большой амбарной книге. Глаза слезились, им, наверно, казалось, что он плачет, но слез не вытирал. Закрыв за ними дверь, все так же не разжимая губ. Врут нарочно, чтоб мне стало плохо. Даша не умерла, она уехала, оставила его. После Дашиного отъезда и стали слезиться глаза. Обидно, что она не с ним, но она хотела как лучше. Сама живет сносно, и ему помогает. Он ведь нашел пакет, а в нем триста долларов и ее записка. Она писала: «Рада, что у тебя в руках сейчас деньги. Это моя тебе помощь, подарок!».

Конечно, уехала. Даже домой не завернула из больницы. Или завернула? Он не помнил. Кажется, прямо отправилась в аэропорт, передав через знакомых, что она все же уезжает в Америку к тому, кто будет о ней всегда заботиться, чтобы Павел ее не провожал. Он был потрясен, обижен, замкнулся и не разжимал губ почти неделю. Никому не сообщил, но все же в тот день к дому подкатили знакомые, заходили к нему, пытались увлечь за собой. Он отказался.

Надо подняться, вылезти из-под одеяла, встать ногами на пол. «Пока Даша в отъезде, надо не забывать цветы поливать», – говорил он себе, и это был один из внешних стимулов, заставлявших его что-то делать. Нельзя умирать в одиночестве. Самая страшная смерть. Днями думаешь, чем себя занять, чем время наполнить. Ну, суп из пакетика сварил, сардельку, которую есть не хочется. Лучше на больничной койке, даже в лагерном бараке, хотя нет, судя по рассказам, там уж совсем полное одиночество. Может, Даша все же вернется... Уж очень много она здесь работала. А сама нездорова. Все время давление высокое, так с ним то на лекции, то на синхронные переводы ездила. По утрам жаловалась, что вся разбита, но вставала и ехала. Как она сейчас живет?

Он вспомнил, как Даша рассказала ему в самом начале их романа, что однокурсник сказал ей: «Мужика завела? Или влюбилась?» «Почему?» – удивилась она этой пронизательности, вроде никак себя не выдавала. «Да с тобой можно смело в самые темные подворотни заходить. Не страшно». «Почему?» «Потому что светишься вся!» Это поразительное свойство влюбленных женщин он и сам наблюдал, оно лучше всяких слов рассказывало об их подлинных чувствах. Он стеснялся, что на тридцать лет старше ее, что она еще совсем юная, думал, что любит его за его знания и ум и мигом разочаруется, когда узнает о нажитых им с возрастом болячках. Как-то машинально, говоря по телефону с ней, с трудом урвав момент для этого разговора, пожаловался на здоровье и даже испугался, ведь что молодой женщине до его болячек! Но она спокойно сказала: «Мне можешь жаловаться!» Это было удивительно и трогательно.

Потом понял, что отношение ее к нему было сложнее. Отец оставил их с матерью, когда Даша была еще маленькая. И так получилось, что Галахов стал ей и любовником, и отцом, а потом (хоть они так и не распались) по сути дела мужем. Труднее всего ей было как-то называть его. Наедине, в письмах, конечно, «милый», а на людях? Ей казалось, что будут усмехаться над ней, да и самой было неловко звать мужчину много старше ее, известного ученого, просто по имени. И она стала звать его по фамилии – Галахов, сама к этому привыкла, да и все привыкли. Только отец почему-то ворчал:

«Она тебя зовет по фамилии, как Наталья Николаевна звала Пушкина». В тот жуткий вечер, когда они возвращались от Лени Гаврилова и их чуть было не убила шпана, он предложил ей руку и сердце, а она в ответ очень по-детски, но твердо: «Галахов, мы с тобой хорошо жить будем». И жили хорошо, пока, пока, пока... Да, пока она его не оставила год назад. И уехала в США. Как нарочно, первая лекция, которую он читал ее курсу, была на тему Америки в русской литературе XIX века, и он рассказывал, что для русских писателей Америка казалась тем светом. И Даша пропала для него. Но теперь он утешал себя, что это все же Америка, а не тот свет. Что иногда она там вспоминает о нем.

Она была немного выше его, иногда важно говорила: «Галахов, у тебя теперь высокая дама». Но тут же наклоняла голову и тревожно заглядывала ему в лицо, не обидела ли. И видя, что он не сердится, начинала светиться всем своим круглым лицом, всеми своими ямочками. Как она смешно ревновала, маленькая, что он такой большой. Ревновала к медсестрам, когда он лежал в больнице, к продавщицам, улыбавшимся Галахову, к тому, что молодая врач-невропатолог пригласила его в свой кабинет и продержала там почти час. «Да что же я не понимаю, что тебя все хотят!». При этом по первому его зову она бросала учебу, мчалась к нему, жадно и страстно принимала его любовь, хотя порой и бормотала: «Я из-за тебя двоечницей стану». Пока они не жили вместе и он много ездил, стеснялся этого, а брать ее с собой на конференции было трудно, почти невозможно, и он бормотал, извиняясь: «Я взять тебя с собой не смогу». «Я понимаю, я почти и не существую, чувствую себя абсолютно виртуальной». «Такая большая и красивая». «Такая большая, а вся помешаюсь в телефонную трубку». А теперь и в самом деле она стала виртуальной.

Отъезд вдаль всегда напоминает похороны, а похороны напоминают отъезд. Наверно, соседка видела, как Даша все же проехала мимо дома (да, все же проехала!), ожидая, что Павел выйдет, и сколько было цветов и провожающих, потому так и сказала. Среди провожавших он видел атлетическую фигуру Лени Гаврилова. Именно после визита на его день рождения Галахов сделал Даше предложение. Был писатель Борис Кузьмин, чьи повести нравились Даше. Павел не запретил ей уезжать, он никогда никому ничего не запрещал. Но он не вышел и провожать ее, в аэропорт не поехал. Остальные поехали на машинах и в автобусе, было не только много цветов, но была даже музыка.

С этого момента у Галахова пропала отчетливость разума, он мог много раз, как будто в первый, обсуждать сам с собой какую-то про-

блему, возникали постоянные провороты в мыслях, воспоминания из разных периодов жизни наплывали одно на другое, первой реакцией на всех людей, на все события стала обидчивость и раздражительность. Мысли путались, повторялись. И сейчас, лежа в постели, он чувствовал, как его давит невнятица прожитой им жизни. А еще страх пенсионера, что дети не будут помогать. Нет, думал Павел, нет вечного возвращения, Ницше не прав, есть лишь постоянное возвращение человека в небытие. Это вечный путь, проходимый каждым.

* * *

Его дети — от двух браков — не только выросли, но и устроились на весьма оплачиваемые работы. Сын стал менеджером, а потом и директором какой-то пиар-компании. Иногда, грустя, Павел вспоминал, как носился по врачам, отмыливая сына от армии, возил презенты, договаривался с кем-то, чтоб помогли, не тронули. А в аспирантский период работал вечерами, чтоб ему на башмаки зарабатывать (сам и в старых доходит), хотел беседовать с ним, чтоб было интересно, как ему самому было интересно с отцом, заранее придумывал темы разговоров. А как однажды неся он домой, бросив работу, узнав, что рухнул мост, где — может быть! — мог проехать трамвай, на котором иногда ездил сын! Глаза вытарашены, весь мокрый от ужаса. Теперь сын знать его не знает, разбогател. И унижительное чувство беспомощности рождало обиду. Дочь, которую он устроил в аспирантуру в Швецию, вышла там замуж, родила и вытребовала туда мать. Катя, его вторая жена, уехала, он не возражал. Жену больше волновали всякие бытоустройства и дочкина судьба, что было и разумно, и естественно. Она была женщиной умной и доброй, поэтому, когда Павел написал ей о Даше, она это приняла, просила только не говорить дочке, чтобы та не ревновала отца. Так с Дашей они и не расписались, квартиру в свое время он оформил на Катю и дочку. А Даша оставалась прописанной у матери в Черноголовке. Дочка иногда телефонировала, тогда бывала ласкова. Сын не только не заходил, но даже не звонил. Когда Павел пытался ему звонить, то слышал протяжное: «Пап, я сейчас занят, я тебе потом позвоню». И не звонил. Другой вариант бывал, когда он звонил ему в воскресенье, часов в двенадцать дня: «Пап, ну что ты так рано! Я очень поздно лег. Досплю, перезвоню тебе». И ни разу не перезвонил. Павел и сам перестал ему звонить. Его звонки были похожи на вымаливание милости, а он и впрямь порой с ужасом воображал такую возможность. «Есть ли существо гнуснее человека?» — снова подумал он.



Фотография В.К. Кантора

Пенсия была такая, что впору идти побираться. Но не у сына же просить милостыню. Николай Федоров писал, что воскресение отцов — русская идея. Достоевский усомнился и показал, как дети убивают отца, старика Карамазова, каждый по-своему. А теперь дети просто ждут, когда старики свалятся с дерева, чтобы безглаголю их зарыть. И дело здесь не в стыде перед попрошайничеством, а в жизненной установке, точнее, привычке к определенному образу жизни. Еще до его пенсии, Даша еще была с ним, то есть несколько лет назад, они в воскресный день съездили в Александров; бывалые люди говорили, что там 101-й километр, всегда бандиты жили, бывшие шпана и воры, подъезды на ночь не запирают, можно пристроиться ночевать. Павел смеялся тогда: присмотрю, мол, подъезд на пенсионное будущее. Погуляв по городу, посетив музей Марины Цветаевой, доходившей и здесь от бедности, двинулись в чересчур знаменитую Александрову слободу, откуда пошла опричнина.

Зашли в Троицкий собор. В помещении колокольни — синодик Ивана Грозного, перечисление им убиенных, но только бояр, смердов не считал, зато о смердах — в писцовых книгах, как опричники убили хозяина крестьянского двора, затем другого, жен насильничали, дворы после грабежа сожгли, короче, разорение крестьянства.

При выходе из Троицкого собора увидели девочку с чересчур осмысленным взрослым лицом, но маленького роста, темные волосы стрижены под ежик, очень синие глаза, взрослая шерстяная коф-

та, черные брючки и лакированные черные старые туфли (тоже с взрослой ноги). Павел с Дашей прошли было дальше. Подошла монастырская хожалка, странница, попрошайка и побирушка. Протянула привычно руку: «Подайте, сколько можете, на хлебушек». Павел протянул копеек сорок. Рядом возникла девочка: «Они говорят “на хлебушек”», а сами вечером водку покупают. Мы за одной проследили». «А как тебя зовут?». «Катя». «Сколько ж тебе лет?». «Двенадцать».

Была она слишком мала для своего возраста. Павел протянул ей червонец, она деловито взяла и объяснила, что ей теперь и на свечки и на булку с маком хватит. Даша сказала: «Ты бы сняла кофту. Жарко». Та потянула сквозь вырез у шеи лямки нижнего белья: «Не, там у меня ночнушка».

Потом перед службой села между ними на лавку. Свободно болтала обо всем, о себе, конечно: удивительный талант общения. Павел даже поразился этой свободе и открытости, живому языку.

— Мамка в Курган уехала. За мной?.. Мамина подруга присматривает. Иногда мои подружки чего поесть принесут, хлеба, супу (понятно стало, что, «мамина подруга» не очень-то смотрит, так взглядывает, не померла ли девчонка). На прошлой неделе на тридцать два рубля мяса мне купили. Я кастрюлю наварила, вкусно было. Варить я умею, мама у меня повар и швея. Папку мама выгнала: уходи, говорит, а то я тебя задушу. Не, я не из Кургана. Я в Москве родилась. Но я папу Сашу не люблю, я больше родного папку люблю, дядю Витю. А Сашка мне ножом за дверью грозился. Я дверь открыла и его как ногой в живот!.. (Глазки засверкали от собственной выдумки.) Он убежал. Я сюда недавно хожу. Я крестилась. Отец Андрей крестил меня бесплатно. Неделю назад, — она показала дешевый латунный крестик на бумажной веревочке. — Не, не здесь. У нас за оврагом у моста церковь тоже есть. Не, я сама к нему пришла. Мамка еще не знает. Сюда хожу, им помогаю, сестрам, матушкам, иногда подмету, посуду помою. Они тоже покормят, копеечку иногда дадут. А я себе сайку куплю. Здесь дешевые. Читать умею, но плохо. Во второй класс только в этом году пойду. Почему раньше не училась?.. А мы бедные, портфель не на что было купить. Нас у мамки пять, еще два брата и две сестры. Скоро еще один маленький будет, у сестры Ленки. Ее муж ногой в живот ударил, она его просила не пить. Они на диване спят. Братья на топчане, а я на раскладке. Мамка с папой Сашей раньше на диване спали, до Ленкиной свадьбы, а теперь на полу..

Пол-России такие. А у него немного наоборот. Он детям не нужен.

* * *

А чего на пенсию вышел? Не знал разве, что тягостно будет? Хотя тогда он еще работал и относился к пенсии как дополнительному доходу.

Всю прошлую неделю он ходил в Пенсионный фонд, пытаясь добиться повышения пенсии на триста рублей, которые полагались ему по принципу введенной накопительной системы. Скользил по тротуарам, а переходя шоссе перед замершими на светофоре машинами и вступая на оледенелый поребрик, каждый раз думал, что поскользнется, упадет на спину, и рванувшаяся машина его переедет. А к зданию Пенсионного фонда переход и вовсе был без светофора. Кто перебежит, глядишь, и получит пенсию. А не сумеет, то нет ни человека, ни пенсионной проблемы.

Первый раз он пришел туда семь лет назад в конце марта, дня за три до своего дня рождения, к девяти утра. Все документы собрал заранее, и был уверен, что дело это займет полчаса, ну, час. Двери уже были открыты, но когда он поднялся на второй этаж, то увидел бесконечную, длинную русскую очередь из стариков и старух: все толпились перед кожаной дверью, но порядок соблюдался. Сидела женщина с листочком, на котором были записаны фамилии и их порядковые номера. Павел подошел к ней и попросил его записать. «Вы будете сто сорок восьмым», — сказала женщина в капоре. Рядом стоявшая высокая и широкоплечая тетка в ватном пальто пожалала плечами: «Сегодня вы не попадете, дня через два разве по этому списку. В день они не больше тридцати человек принимают». «Ну что вы, женщина, говорите! — возразила первая в капоре. — Бывает, что люди записались, а вовремя не пришли. Тогда те, кто не отошли, могут пройти. Но с вашим номером, мужчина, шансов, конечно, не много». «Когда же приходиться нужно, чтоб в тот же день попасть?» — спросил Павел, понимая, что сегодня стоять не будет. «Все, кто в самом начале, к пяти утра приезжают, — пояснили ему. — И ждут до девяти перед дверью».

Но март стоял холодный, и Павел приехал на это стояние только в конце апреля. Протолкался часа три на улице, бегая в дальние кусты по малой нужде, аденома мучила. В восемь утра их запустили на первый этаж, на втором стояли, преграждая путь, охранники. Пенсионный фонд начинал работать в девять. Потом было долгое сидение на лавочке, толкотня вокруг двери, заглядывание внутрь комнаты, чтобы понять, свободен ли его инспектор. И непрекращающаяся склока перед этой важной дверью: «Мужчина, не лезьте». «Да мне только справку отдать». «Все так говорят. Не пустим. Что,

с женщинами драться будете? Я тебе говорю: куда прешь?! Женщины, не пускайте его!» В дверь он вошел где-то около четырех, выкурив перед подъездом несметное количество сигарет, хотя до этого не курил почти полгода. В огромной комнате, уставленной шкапами с бумагами и столами, сидели инспекторы, от которых зависела будущая судьба пенсионера: как скоро будет пенсия оформлена. А ведь были — в отличие от Павла — и не работавшие уже люди. Для них всякое промедление было похоже на катастрофу. Тут же выяснилось мелкое чиновничье воровство. Мало того, что не присылали все пенсионные извещения по почте, как в Америке и Европе, не посещал вас вежливый пенсионный чиновник, пенсию начисляли лишь с момента подачи заявления, а не с дня рождения!

«А если бы я, скажем, полгода болел?» «Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем», — ответила молодая, но расплывшаяся нездоровой полнотой девица лет двадцати пяти. Но окончательно ошеломила его женщина в другом кабинете, в котором Галахов попытался выяснить, много ли накопил он за те два года, когда была введена накопительная система. «Да в ваши года уже много не накопишь, — сообщила улыбчивая тетка. — Но вам полагается срок дожития, вот и старайтесь его прожить». «Какой еще срок дожития?» — Павел почувствовал какой-то мистический ужас. «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». Переспросил, не понимая: «Мне?». «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». «А если я вас обману и прихвачу пару годков?» «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

У его друга Орешина был лысый приятель, старик уже, как им казалось, по прозвищу «Комиссар» (Орешин вообще питал слабость к чудакам) — со старческими пигментными пятнами на лысине и по лицу, он пил с ними, орал песни. Павел даже поначалу спьяну допытывался, правда ли и сохранился ли у того маузер. Но потом как-то в один из дней Павлу позвонил общий приятель и сообщил, что «Комиссар» покончил с собой ни с того ни с сего. Причем для верности повесился в лестничном пролете: если бы не выдержала веревка, то наверняка разбился бы. На «Смерть комиссара» Петрова-Водкина нисколько это не походило. Ни тебе красного знамени, ни уходящих в бой товарищей. Жестокая смерть отчаяния.

А другие смерти стариков!..

Но он все же год назад ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Не интересно стало готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре. И раньше-то выползал из метро еле живой, особенно после пересадки на «Про-

спекте мира», — мокрый, помятый, потный, минуты три приходил в себя, одергивая измятый пиджак или поправляя перекрутившийся плащ, — смотря по погоде. А тут еще дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда в голове еще туман от недосмотренного сна. А потом стали сбываться слова тетки из пенсионного фонда о «сроке дожития».

После отъезда Даши он стал присматриваться к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблук уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Перчатки, дырявые на пальцах, и большая сумка, чтоб рыться в мусорных баках. Вот старик роется в мусорных баках. Бочком. Баки зеленого цвета, обшарпанные. Стыдно профессору толкаться у мусорных баков. Увидел, как что-то бросили в бак разумное, но подъехала машина, подняла на магнитах бак, перевернула в кузов, не повезло. Бомж отскочил в сторону, матюгнулся. Ну, подумал Галахов, со мной все же неплохо. Все же дома ночью. Павел видел телепередачу про бомжа, который получал пенсию, сдавал бутылки и стал миллионером. Но, как сказал репортер, места были расхватаны, и грязные, жутко пахнущие мужики избивают и гонят чужих, если они пробуют рыться в мусорном ящике. В сообществе этом были свои группы — картонщики, бутылочники, жестянщики. Не было Павлу там места.

Профессор вспоминал идею о «хищных гоминидах», о которых писал в середине девяностых некто Диденко. Что, мол, с самого своего зарождения человечество делится на людей и «хищных гоминидов», существ похожих, но биологически другой породы, живущей за счет людей. Тогда Галахов даже мимоходом выступил в какой-то своей статье против этой идеи как слишком биологизаторской. Нагавкал на Диденко. Нужно искать социальные законы, возразил он. Тогда он был сильный. И не понимал, как по глазам можно узнать хищного гоминида. Теперь он их видел: на улицах, в транспорте, по телевизору, научился различать. Видел по телевизору министра здравоохранения и социального развития России Михаила З., который сообщил, что по плану правительства деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста. Даже щедринский Угрюм-Бурчеев был милосерднее. Он читал указания градоначальника из «Истории одного города»: «Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».

Галахов думал о жизни, о хищных гоминидах и полуспал-полубредил.

* * *

Да сны еще — стали один другого причудливее. Когда Даши рядом не было, в очередной раз уезжала на заработки, ему снился какой-то бред. Как-то приснилась ему мама с безумными глазами. Кто-то стучал дико в дверь чем-то тяжелым, долбил, взламывал, отворачивая филенку — нахально, не скрываясь, не боясь соседей. Он отворил полуразбитую дверь. На пороге мама, глаза безумные как на картине Брейгеля о слепцах, волосы всклокочены, в руках — лом. И бормочет: «Что-то очень мне беспокоит за вас стало. Решила посмотреть, как вы там». И говорит, и смотрит, как живая. А Павел-то при этом помнит, что уже несколько лет, как она умерла.

Вот и сегодняшний сон. Павел знает, что в соседнюю комнату забралось Всё Зло Мира и готовится уничтожить человечество. А у него в нижней, закрывающейся дверкой, книжной полке стоит супероружие, которое только одно на свете способно уничтожить Всё Зло Мира. И дочка из Швеции вернулась ради этого: «Папа, доставай оружие. Только мы можем справиться». А он еще перед ее приездом дверь в комнату, куда Враг просочился, не просто прикрыл, а снизу в щель большие Дашины портновские ножницы забил, чтоб она не открылась. «Да, — говорит дочке, — сейчас достанем, потом на балкон выйдем, оттуда как раз можно в ту нашу комнату попасть снаружи». И в голову ему не приходит, что и стрелять-то он не умеет, никогда в армии не был. Открывает он дверку шкафчика, а там никакого сверхаппарата нет, а одни книги. «Где же?!» — в отчаянии кричит дочка. А он книгу за книгой выкидывает, гору нагромоздил уже, а за книгами еще книги — и никакого оружия.

Нет, все же встать необходимо, хотя бы цветы полить. К тому же захотелось пить и в туалет. Глаза по-прежнему слезились, будто плакал. Вытерев их углом простыни, Павел снова попытался подняться, но почему-то теперь не мог даже рукой двинуть, тем более сесть и спустить ноги с тахты. Все-таки он здорово наворачнулся! В конце февраля, несмотря на быструю смену мороза и легкого таяния, несмотря на наледи на тротуарах, скользкие бугорки и неровности от слежавшегося, стоптанного снега, улицы чистить вообще перестали. Мэр появлялся на экранах только в случае крупных городских катастроф, обещал разобраться, но было понятно, что на следующий срок он не останется, а потому уже не мог заставить чиновников что-либо делать. А без приказа в России ничего не делает-

ся. Чиновникам было некогда: они понимали, что не останутся на своих местах после отставки шефа, а потому лихорадочно припрятавали наворованное за годы пребывания у власти, легализовали свои особняки и дорогие машины. До тротуаров ли им было! Вот и падали и разбивались старики и люди, что называется, среднего возраста.

Надо было еще полежать, притерпеться. В конце концов, чем меньше пьешь жидкости, тем легче не ходить в туалет. Боль утихнет, и он встанет. Хорошо, когда воет ветер, а ты молод, молод, лежишь, тепло укрыт, читаешь книжку и думаешь, что когда-нибудь будешь вспоминать этот вечер уюта. А когда тебе шестьдесят семь?.. Почему он не передал своей тревожной природы детям? Никто не зайдет, не навестит. А как квартиру будут делить? Он бы так не смог. К отцу он ездил каждую неделю, а звонил каждый день (мама умерла восемь лет назад), деньгами помогать не мог, как раньше, но старался, приезжая, хотя бы фрукты привести. У отца жила женщина, ухаживавшая за ним. Раньше они с братом платили ей зарплату наполовину, а теперь едва мог выделить тысячу рублей, жалкие тридцать долларов. Брат Клавдий поначалу требовал, чтобы он платил прежнюю сумму — шесть тысяч рублей. «Это наш общий отец», — пояснял он свою точку зрения. Но что делать, если получал Павел теперь всего четыре с половиной тысячи, сто шестьдесят долларов, из которых две тысячи платил за квартиру. Клавдий предложил ему продать или поменять свою квартиру, которая ему не по карману, получить некую сумму, чтобы он мог по-прежнему вносить свою половинную долю на оплату отцовской сиделки. Павел отказался. Менять привычную трехкомнатную квартиру, набитую книгами, — трудно было даже вообразить себе. Куда книги деть? Выкинуть? Но так долго жили ими!.. Да и страшновато было. Ему несколько раз звонили, предлагали выгодные обмены, скажем, на двухкомнатную с очень большой доплатой. Но он отказывался, боялся, не верил, бросал трубку. Слишком много писали, как при таких обменах стариков выкидывали вообще на улицу, если не убивали в пригородном каком-нибудь парке. У брата Клавдия (поздний ребенок — и странное имя ему отец дал) было три квартиры в Москве, не говоря о лондонских апартаментах, да еще и родительская квартира была завещана тоже ему.

У него, правда, что-то лежало на карточке, куда переводили зарплату с последней работы. Но деньги эти он тратил скупно, чтобы оставить себе на похороны. Код карточки (с объяснением для чего эти деньги) он написал на листке бумаги, положив ее в верхний ящик письменного стола, надеясь, что первыми по случаю его смер-

ти придут сын или брат. Вот только Дашиных долларов там не было. Подумав о долларах, он весь болезненно сжался. Как там Даша в Америке?.. Ему приснилось однажды, что Даша прислала ему эсэмэску, словно уехала не в Америку, а в командировку: «Как ты там, счастье мое? Доклад написал? Скучаю и очень хочу к тебе». Давно ее с ним не было. Даша много раз повторяла ему, что они хорошо жить будут. И жили неплохо, долго жили. Но потом все же она ушла. Как в старых романах о власти золота — так и у них произошло. Ну нет, не совсем так, все же вместе десять лет прожили. Она не только любила его, но и уважала, гордилась его известностью, его книгами. Ни известность, ни профессорство денег не приносили. Конечно, Галахов позволял себе шуточные, хотя и правдивые рассказы, как иностранные коллеги приходили в ужас, узнав, что в месяц он получает триста долларов, спрашивали даже, настоящий ли он профессор. Он смеялся: «Ну не показывать же им мои два десятка книг!». Даша довольно долго смеялась вместе с ним. Работать при этом ей приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского за деньги какие-то научно-популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты. Павел уже не профессорствовал, бесконечно оппонировал ради копеечных денег, да еще писал книги, на которые надо было доставать гранты. Книги денег не приносили никаких. Он все время удивлялся, как коллеги с гораздо меньшим научным багажом пристроены в жизни много лучше его. Очень часто, когда она долго не возвращалась, он звонил ей на мобильный. Тут было два варианта. Или она не брала свою трубку, и шли бесконечные длинные звонки («выключила звук, чтоб не мешал на лекции», — объясняла она). Павел сам читал лекции и почти никогда не отключал мобильный: профессор всегда со студентами договорится. Или абонент бывал недоступен. А потом она рассказывала, что ее курс перевели в помещение с тяжелыми потолками, где мобильный не ловит. Однажды после какого-то совещания он все же часов в семь вечера поймал ее. Она резко ответила: «Не могу сейчас говорить. Начальник дает ЦУ. Приду поздно». Павел вначале ревновал. Но что он мог поделать! И перестал тревожить ее в те дни, когда она уезжала из дому на службу. Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем».

А Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни. Потом она нашла работу с поезд-

ками. В Сибири платили больше, особенно в нефтяных местах, она вдруг стала привозить оттуда немалые деньги и дорогие подарки. Это в России было принято, Павел не удивлялся. Но когда ее не стало, он нарисовал себе картину, что какой-то из не очень крупных нефтяных магнатов, все же миллионер, пленился красотой зрелой женщины, а главное, ее умом, что для него, человека с образованием, было тоже важно. Даше было тридцать семь, еще самый возраст для женщины! Да и устала она, понять можно. Болела очень, а за границей и лекарства, и врачи — любого в порядок приведут. И она уехала в США — жить со своим новым русским, думал Павел. Ему казалось, что раза два Даша присылала ему в помощь не то двести долларов, не то триста. Но где они? Как он их не искал, найти не мог. Потом известий от нее не стало, и тогда он сам для себя решил, построил сюжет, что богач, новый русский, прогнал Дашу, что она одна, бедствует в этой богатой Америке, живет в ночлежке для бомжей, но написать об этом, тем более вернуться — не может. Стыдится. На самом-то деле ей бы самой как-то надо помочь, что-нибудь из пенсии откладывать, найти эти дурацкие, неизвестно куда завалившиеся доллары. Но на какой адрес их послать? Записки и доллары она передавала с оказией, приходили какие-то странные люди, приносили послания и исчезали, а ему ни разу и в голову не пришло взять их координаты. Спасибо, что хотя бы зашли.

Да-да, как в романах когда-то им любимого Бальзака. Все понятно, ему как раз исполнилось шестьдесят шесть, когда он остался один. А теперь ему — шестьдесят семь. В этом возрасте умерли оба его деда. Он лежал на спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-паразита. Ungeziefer, — вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?

Соседи редко заходили. У всех свои дела. Но отношения теплые, то есть здравые и улыбки при встрече, иногда в Новый год зайдут с рюмкой или к себе зовут чокнуться. Случайные встречи в дверях или на площадке...

Раньше слово «пенсионер» чем-то напоминало ему слово «легионер». Пенсионер — это легионер на покое. Он один в трехкомнатной квартире. Все есть, а нищета. На Западе профессора на свою пенсию по миру катаются, а куда я доеду на трамвае? До парка — посидеть на лавочке? Так это тоже не жизнь, а умирание. Теперь понимал он долгие старушечьи разговоры на лавках, над которыми пошучивал раньше. Их попытки вмешаться в чужую жизнь, на что так досадовала молодежь, были простым желанием оказать кому-то нужным и тем сам наполнить жизнь, продлить ее.

Так был ли он легионером? Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова, но его отпугивали все прошедшие по мировой истории полубесмысленные революции и движения, убивавшие десятки миллионов за те слова, которые через двадцать лет уже всех смешили. А дети хотели действия, активизма. Или хотя бы нового учения. А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было. Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь.

* * *

Какой уж там активизм! С постели слезть не может. А еще и лекарства надо принять: ноотропил, сермион, декамевит, сиднофарм — всё, что по бесплатным рецептам получал. Сил только встать нету. Надо же так удариться об эту железяку! Он дотронулся рукой до болевшего места на спине чуть выше поясницы. Было больно, но, похоже, обошлось без перелома. Потому что боль была переносима, как от ссадины. Где-то он слышал, что если перелом, то дотронуться нельзя. А дотронуться можно, хотя синяк, конечно, будет. Так что паниковать нечего! Не из-за синяка же вызывать врача! Да и неловко привлекать внимание к своей особе. К тому же запах!.. Омерзительный запах, такой, что трудно дышать. Хотя и говорят, что собственной вони человек не замечает, но газы отходили, окна были закрыты, и Галахов поневоле оказывался в закрытом пространстве, где травил сам себя собственными отправлениями. Хорошо бы встать, в туалет сходить, но еще и окно приоткрыть. Как-то исхитрившись, они с Дашей, до ее отъезда, сделали пластиковые окна, чтобы уличный шум не очень доставал. Но, закрытые, окна и запах не выпускали на улицу.

Почему он такой нерешительный? Слишком уязвим.

Себя он порой чувствовал мужчиной по имени Золушка. Всегда мучило чувство бесконечной ответственности. Подростком, открыв перочинный нож, ходил к парку встречать с работы маму, боялся за нее. За всех боялся. О себе не думал, думал, что сам всем обязан, а потому по мере сил надо отдавать долги. С первой женой Леной долго не мог разойтись, хотя любовь давно кончилась, домом она не очень-то занималась, даже посуду после гостей он мыл сам, к его книжным занятиям она относилась вполне иронически. Но он не уходил, хотя роман с Катей привел к рождению дочки, не уходил, потому что обязался быть с ней, исполнять ее прихоти. В детстве младший брат Клавдий был королем во дворе, знали, что старший брат выйдет в любую минуту и расправится с обидчиком.

А как он этого брата устраивал в институт, возил к влиятельным знакомым, переписывал статью одного из них и публиковал в журнале, где сам тогда работал: от этого человека зависела оценка сочинения. Прибегал и позже, когда тому грозила опасность. Потом брат завел большое коммерческое дело в массмедиа, вышел на международный рынок, тогда Павел стал ему мешать. Несветскостью, что ли? Вначале, приглашая к себе, дверь не открывал. А потом, не извиняясь, говорил, что ему было некогда, что у него была важная встреча с западными людьми. Ужасное ощущение — стояние перед запертой дверью, в которую даже записка не всунута, что, мол, приду тогда-то. А потом и вовсе перестал приглашать. Деньгами он ворочал немалыми, но Павла все время упрекал: «Тебе хорошо, ты живешь на зарплату, ежемесячно получаешь деньги через кассу и ни о чем не заботишься. Попробовал бы ты жить, как я! У меня нет гарантированной зарплаты». Теперь Павел получал гарантированную пенсию, а брат, став типичным русским миллионером, перебрался в Лондон, где собирались российские олигархи. Хозяин жизни! Вот и к отцу его погнал, как мальчишку, наставительно и требовательно говоря в трубку: «Если я могу из Лондона положить отца в больницу, то, кажется, ты можешь хотя бы раз в день к нему съездить, навестить. Ты же пенсионер, ничем не занят». Разница у них была в пятнадцать лет, молодость Клавдия пришлась на перестройку, он сумел в новую жизнь вписаться. И не желал думать, что брат уже больной старик.

Все заняты сиюминутным, словно не понимая, что скоро умрут. Его часто посещало странное чувство. Глядя на смеющегося старика, работающего, засовывающего в карман бутылку водки и торопящегося на пьянку, женщин, рассуждающих о каких-то покупках, больных в поликлиниках, человека, радующегося обновке, он все время воображал, что все они живут, как для вечности, а на самом деле для дурацких пяти минут. Живут так, словно всегда будут жить, словно им никогда не приходила мысль, что настанет момент, когда их на этом свете не станет... Ну и что же? — спрашивал он себя. — Сразу кончатся самоубийством? Уж лучше жить так, что твои пять минут и есть вечность. А что есть вечность? Гениальная идея Андерсена в «Снежной королеве», что вечность нельзя сложить из льда, сотворить ее ледяным холодным сердцем. Она требует сердечного тепла. В той мере, в какой она возможна, она создается временно, любящим сердцем.

Как же она решилась на отъезд? Он с трудом мог это вспомнить. Перед тем, как уехать в Америку, Даша стала худеть, слабеть, но работать продолжала. Потом сказала, что ей предстоит небольшая

операция, по женской линии, и неопасная, добавила она. «А может, и в Америку уеду, — странно улыбалась она. — Уж там точно перестану работать. Устала очень. Надо и отдохнуть».

Он старался не слушать этих ее слов. Неужели она может его оставить? Наконец, она отправилась в больницу, просила ее не провозжать, мол, скоро вернется. Беспokoилась, чтоб он без нее вовремя принимал лекарства. Он принимал лекарства, на душе было горько, как будто пил какие-то горькие микстуры. Один раз она позвонила, беспокоилась, как он себя чувствует. А он еще переживал, что перестал быть тем любовником, «фантастическим любовником», как она когда-то ему сказала, что постели у них уже по-настоящему не было, по его вине. Его ласк хватало теперь очень ненадолго. Конечно, она еще молодая, ей нужно что-то другое. Однажды он сказал ей это и услышал в ответ: «У тебя плохое настроение. Но зачем ты обижаешь меня? Мне же больно». Когда она говорила ему, что он нужен ей любой, он по мужской глупости не очень в это верил. И оказался прав, она все-таки оставила его. В тот день, когда это произошло, ему было очень плохо, он думал, что умрет. И радовался этому. Но не умер, просто стал передвигаться с трудом. Что-то в этот день еще было, но он забыл и не хотел вспоминать.

На следующий день после ее отъезда Галахов выполз на улицу, соседи смотрели на него странными глазами и сочувствовали ему. Подальше от сочувствий он пошел в Царицынский парк. Прошелся мимо императорских дворцов, вышел к большому пруду, сел на бревно среди деревьев, тупо смотрел на воду, которая казалась ему бездонной. Спрашивал себя, мог бы он броситься в воду и утопиться. Но он же не Офелия и не Катерина, он — мужчина. Стоял поздний теплый август, деревья были зеленые, а у него болело сердце, и Павел с тревогой спросил себя, доберется ли он до дому. И тут, вертя тощим хвостом, подошла к нему черная узкомордая и, очевидно, немолодая дворняга и принялась вдруг тыкать носом ему в руку и просительно заглядывать в глаза. Он машинально погладил ее по загривку, она затихла и притулилась к нему. Потом они сидели, Галахов чесал ей машинально то за одним, то за другим ухом. А когда он отправился домой, собака за ним последовала. Прогнать ее не было сил, она была такая умильная. Он назвал ее Августой — по месяцу находки. Спала у него в ногах, он кормил ее тем, что оставалось от его еды, чаще всего заливал овсянку мясным бульоном, сваренным на костях. Она смотрела на него и все понимала. Благодаря ей Павел стал гулять утром и вечером.

Но ему было грустно. Глядя на тощий хребет Августы, он невольно вспоминал (начитанность не уходила) старика Смита из «Уни-

женных и оскорбленных» Достоевского и его исхудалую собаку Азорку. Смерть Азорки оказалась предвестием смерти старика.

* * *

Спина болела, когда он пытался повернуться. Может, все-таки врача вызвать? Но из «академической» перестали выезжать, а из районной придет толстая тетка и, глядя в другую сторону, начнет ворчать, мять спину и прописывать антибиотики: она считала их средством от всех болезней. Хотелось прежней молодой независимости, не хотелось стариковской униженности, уязвленности. Ведь он еще не старик! Его еще нельзя загонять на дерево! Но уже что-то подобное чувствовалось ему в равнодушии и пренебрежительности врачей.

И он уже сам замечал, что тон его становится, нет, еще не заискивающим, но зависимым. Принять, проглотить чужую грубость. А не возмутиться как раньше. Потому что деваться некуда. Вот и месяца три назад он сидел перед кабинетом зубного врача. Правая челюсть отяжелела, как свинцом налита, рот с трудом открывается. Кабинет закрыт, врача все нет и нет. Пошел стукнуться в ординаторскую, благо на том же этаже, узнать, пришла ли Валентина Петровна вообще на работу. Открыл дверь. В маленькой комнатке со шкафами толкотня белых халатов. Увидел своего доктора, автоматически поздоровался, мол, «здрасьте, Валентина Петровна». Высокая тетка в плаще, стоявшая в центре группки других теток в белых халатах, вдруг властным и грубым тоном оборвала его:

«Куда претесь?! Вы все скоро в туалет за нами ходить будете. Не видите, что ли, что это наша комната?!»

И вдруг Павел с ужасом услышал свой голос, услышал, что он, как и положено старику, испуганно пробормотал, стараясь при этом казаться вежливым:

«Простите, я не хотел никого обидеть».

Нет, надо лечиться народными средствами. Но какими? Он вдруг вспомнил давний разговор с приятельницей, эмигрировавшей несколько лет назад в Германию. То есть она уехала с мужем, который получил там двухгодичный контракт. Но когда он собрался вернуться и сказал ей об этом, она ему бросила (потом этот ответ долго по эмигрантским кругам ходил): «Ты меня Родиной не пугай!».

Развелась с ним, нашла немчика и осталась. Так вот, как-то подхватив не то грипп, не то простуду, Павел пил разные лекарства, как вдруг позвонила Майя. Дальше произошел разговор, прямо для современной пьесы: «Болеешь?» — «Болею». — «Что с тобой?» — «Про-

студа, кажется». — «Чем лечишься?» — «Народными средствами». — «Помогает?» — «Не очень-то». — «Может, народ не тот?»

Нужен хотя бы глоток чаю. Чашка стояла у постели на краю комода. Он потянулся, не достал, надо было немного приподняться, подтянув тело, чтобы спина опиралась о подушку. Тело слушалось плоховато: вот что значит никогда не занимался спортом, да и толщину нажил, тяжёл слишком. Он попытался сделать упор на локти, действуя силой плеч. Это удалось. Правда, сползло одеяло. Но это пустяки. Он поднял чашку, сделал глоток, но тут же вспомнил, что придется идти в туалет. А сможет ли? Невелико пространство, но сегодня для него немалое. От этих мыслей чашка в руке дрогнула, желтоватая чайная жидкость выплеснулась на наволочку подушки. Совсем противно стало. Чем-то старческим потянуло от этого желтоватого пятна. Надо бы не просто до туалета дойти, но и наволочку сменить, еще и отцу позвонить. Что за глупость! Вчера же еще, уже после падения, он ходил, даже за квартиру в Сбербанке платил. Болела спина, но боль пересилить было возможно. Эх, если бы какая красивая девушка на него глянула (а лучше — Даша!), он бы непременно встал и все сделал.

* * *

А какое у него еще дело? Недописанная книга, где он проводил странное сравнение между переселением народов в четвертом-пятом веках нашей эры, когда варвары потянулись в цивилизованные римлянами части тогдашней ойкумены. Теперь русские сотнями тысяч едут в Европу и Америку, ругая почему зря эту цивилизацию. Вроде его брата Клавдия, который в России бывает лишь наездами из Лондона, но поскольку сохранил российское гражданство, эмигрантом себя не считает. Все на Запад прут — и богатые, и бедные, надеясь разбогатеть. А в Россию — люди с Кавказа и из Средней Азии. У них во дворе уже пару лет вместо русского пьяницы-дворника работали мальчишки-туркмены, тщательно метя и чистя двор.

Ладно, не о книге надо думать, а как до сортира добраться.

Зачем мои книги о толерантности, о наднациональной идее России, когда в Москве и Питере убивают таджикских девочек, убийц оправдывают, в крайнем случае дают срок как за мелкое хулиганство, а молодые скинхеды кричат об уничтожении всех нерусских. Вот и до русского фашизма дожили. И ведь не фашизм, а обыкновенный русский бунт, когда режут всех.. На этой идее даже Третий рейх не построишь. Смерть не строитель. Хорошо, что дочка моя в

Швеции, внучка там и жена Катя, а Дашу ее новый русский вывез в Америку. Ругают новых русских, а они шкуркой чувствуют..

Но его-то сейчас это не касается. У него простая задача — вылезти из постели и дойти до туалета. Не мочиться же в постель. Тогда он здесь вообще лежать не сможет. А кто к нему придет? Никто. Сослуживцы бывшие в лучшем случае на похороны скинутся, да на кладбище придут. Друзья? Их так мало осталось. Столько уже приятелей, едва к пятидесяти подходило, умирало. Двух он даже считал близкими друзьями. Только один человек звонил ему постоянно — друг детства и ровесник Лёня Гаврилов. Он рассказывал анекдоты, вычитанные в «Комсомольской правде», в основном эротического содержания, повторяя: «Старичок, мы должны держаться. Жизнь ведь продолжается. Послушай, что пишут: “Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой”. А? Ха-ха! Нас еще рано в утиль-сырьё. Слышал про Давида Дубровского, из ваших, из гуманитариев? Ему семьдесят четыре, а жене двадцать четыре, они уже ребенка сделали. И мы, старичок должны держаться. Главное — не раскисать! Ну, хочешь, я тебе альбом сделаю с Дашиными фотографиями? Может, тебе легче будет?»

Да ему не нужна была никакая другая женщина, кроме Даши. Спасибо Лёне, что звонит.

Отец последние годы никогда ему не звонил, всегда ждал его звонков, часто ему пенял: «Ну, ты еще молодой. Мне осталось уже немного. Поэтому мне можно жаловаться, а тебе еще нельзя».

Что ж, получил свое.

Когда они только начали жить вместе, он ворчал.

«Я ведь умру раньше тебя», — говорил он.

«Это никому неизвестно, кто когда», — очень серьезно отвечала она.



Даша уходит.
Художник
Filippo Millosevich
(Италия)

А потом она уехала, и этот разговор потерял смысл. Только одно осталось: чувство потери, да и говорить теперь было не с кем. Уже давно, чтоб создать себе эффект общения, он звонил бывшим сослуживцам вроде по делу, но как бы между прочим заговаривал и о бытовых вещах. Те охотно отвечали, советовали, но сами не перебивали никогда. Утешала Августа своей и в самом деле собачьей преданностью. А куда ей было от него деваться! Здесь все же кров и пища. Была она даже трогательна в своей забитой привязанности. Собака была запугана в своей несчастной бездомной жизни, вздрагивала от каждого шороха в квартире. Когда однажды Павел уронил на пол торшер, Августа так перепугалась, что не знала куда забиться, даже под комод пыталась, пока не заползла в узкую щель под тахту. Оттуда Павел ее потом едва извлек. Зато слыша шум шагов на лестничной площадке, Августа принималась отчаянно лаять, защищая себя, свою слегка наладившуюся жизнь и человека, пригревшего ее, отпугивая воображаемых врагов.

Нет, все не о том он думает. Надо сползать, не вверх на локтях, а наоборот, боком из-под одеяла — и на пол. Пусть даже на четвереньки встанет. Все равно никто не видит. Прежде чем начать сползать, он оглядел комнату, нет ли чего полезного для сползания. Горел над головой ночник, за окном уже было темно, светились окна двенадцатиэтажного общежития напротив: с отъезда Даша он шторами пользоваться перестал. У окна на столе мерцал экран не выключенного компьютера. Может, послать сразу по нескольким адресам письмо: «Помогите, мне плохо!» А что плохо — спина болит? Но это надо преодолеть, в конце концов, он все мог преодолеть. Около стола валялась гора книг, которыми до больницы пользовалась Даша, переводя очередную книгу, так он эту гору и не разобрал, год прошел, а он все никак не опомнится. Единственное, что он запретил тогда очень жестко: он запретил себе спиртное. Он помнил, как запил его друг после смерти жены, и через год был конченный человек, а там и умер. Хорошо, что Даша не умерла, а нашла себе богатого мужа, который вывез ее отсюда. Нет, Галахов не смерти боялся, боялся пьяной пошлой смерти, когда с улицы приходят бомжи-собутельники и шарят у мертвого по карманам и в столе, не осталось ли на выпивку.

Да, комната без Даша совсем захламлена. Больше всего у него заставлен комод. Кроме чашки чая, будильника, валявшихся блокнотов, шариковых ручек, поводка для Августа, там стоял еще и телефон в стиле ретро начала XX века, подаренный ему сослуживцами, когда он уходил на пенсию. Зачем он это сделал? Ведь знал, что на пенсионные копейки прожить нельзя. С тех пор они существовали на Дашины заработки и тратили пенсию на квартплату да на

помощь отцу. До того момента, как Даша покинула его. А три дня назад его покинула и Августа. Побежала куда-то в кусты, да так и не вернулась. Звал он ее понапрасну. Ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто. Однако нет, никто ему помочь не смог. А молодая толстотелая соседка с большими грудями, жившая этажом ниже, сказала: «Да успокойтесь, дедушка. Может, ее бомжи покончили, на шапку. Да вам теперь легче будет, не придется утром и вечером с ней по улицам таскаться!»

* * *

Слезая с постели, он все-таки упал. Встав на четвереньки, Павел попытался подняться на ноги. Проклятый шофер! Неужели задвить, или, точнее сказать, убить хотел? Или просто попугать? Тот, кто в машине, по сути дела, — «человек с ружьем» против безоружных. Хорошо хоть успел из-под колес выскочить. Прав был Васёк, его сосед по парте в первом классе. Он уже тогда понял, что шоферню следует обуздывать. Старик все же поднялся. Держался за притолоку двери, потом за стенки коридора. В туалете стоял, упершись головой в стенку перед собой. Его мутило, ноги подгибались. «Кажется, моя ветка трещит», — мелькнуло мимоходом и, слабея, он завалился на кафельный пол. От холода кафеля через время очнулся. Лежал и готовился помирать. «Это мне наказание, — сказал он себе, — за то, что другого старика стряхнул с его ветки».

Вчера выгнал он с лестничной площадки между этажами бомжа Александра Сергеевича. Между их этажом и следующим ниже, угнездился бомж. Запах от него стоял понятно какой. Из дверей квартиры стало трудно выходить. Он с позапрошлой зимы там прижился. Даша тогда его добром просила, в милицию звонила, спрашивала, где в нашем районе специальные приюты для бездомных. «Нету таких», — ответили ей менты. «А по телевизору рассказывали...» Те рассмеялись: «А вы что, всему, что в телевизоре рассказывают, верите?»

Но стояли морозы, гнать его было невозможно, Даша стала, как приبلудному псу, выносить ему еду. В разговоре он сообщил, что его зовут Александр Сергеевич (поначалу они решили, что врет, что во всем Пушкин виноват, но он паспорт показал — верно), что он бывший учитель математики, что ему шестьдесят шесть, уже три года не работает, а их подъезд выбрал, поскольку прописан на втором этаже, но бывшая жена и дочка его в квартиру не пускают, а он, однако, здесь по праву прописки. Во время разговора Даша заметила, что три пальца на руке у него черные, спросила, что это, он ответил,

что, наверно, отморозил. Тогда Даша вызвала «скорую», его забрали, но следующим вечером он снова был на своем месте, объяснив, что его в больнице помыли, дали переночевать, утром покормили — и выгнали. Вот он снова здесь и обретается. А на пальцы они даже смотреть не захотели. Даша снова вызвала «скорую». В этот раз приехала милая широколицая женщина, но с твердым выражением на лице, — такая, любимая Павлом разночинно-интеллигентская уверенность в себе, привычка настаивать на достойном. По просьбе Даши она посмотрела пальцы Александра Сергеевича, не снимая резиновые перчатки, как и было положено врачам «скорой». «Да, — сказала, — температура, воспаление, может дальше пойти, на начало гангрены похоже. Пойдет дальше — придется руку резать».

Даша умоляюще посмотрела на нее. «Понимаю, — пожалала та плечами, — но нам запрещено бомжей госпитализировать. Всех больных перезаражать могут. Кто знает, что они на себе носят. Ладно, беру на себя. Уговорю нашего хирурга». И Александра Сергеевича увезли, не появлялся он долго, уже Даша уехала, а его все не было. И вот явился. Вернувшись на площадку, рассказал, что месяц пролежал в больнице, руку ему вылечили, потом где-то скитался почти год, а идти все равно некуда. Пока бомжа-пришельца не было, соседи выяснили его историю. Оказалось, что и впрямь он в квартире на втором этаже прописан, пришел добродушный участковый, проверил паспорт: прописка правильная. Но вселять отказался, поскольку насильно к жене поселить его не может, тем более и ситуация сложная — там коммуналка, соседи тоже протестуют. Конечно, сначала жену ругали — стерва! Двери она никому не открывала, смотрела в глазок, кто звонит. А потом пошли по соседям и узнали. Александр Сергеевич лет пятнадцать назад бросил ее с малолетней дочерью и ушел к овдовевшей генеральше, ушел и забыл, ни разу не появился, денег ни копейки не посылал, дочку сама растила, а работала всего-навсего на почте. Жила весьма бедно. Что там с генеральшей произошло, но год назад А.С. снова явился. Бросив жену, из квартиры он не выписался, формальное право имел вселиться. Однако квартира была двухкомнатная, коммунальная. В одной комнате брошенная жена с дочкой, в другой — соседи. Пускать его было некуда: только к себе в комнату, чего она не хотела и боялась. Ситуация безвыходная.

И вот вчера он сам стяхнул старика с дерева. Хотя А.С. был и помоложе его, но тоже пенсионер. Пришла соседка из квартиры напротив, позвонила вчера вечером Павлу в дверь. «Вы все же мужчина, Павел Вениаминович», — она улыбнулась немного иронически, — а у меня просто сил не хватит, да он меня и не слышит, по-

тому что слово женщины для него не существует, он ведь женщин за людей не считает. А вы, хоть уже и в возрасте, но вид внушительный. Может, он вас хоть испугается. А то прихожу домой, квартиру отпираю, запах, сами понимаете, но мы вроде притерпелись, но ведь он прямо по лестнице вниз от моей квартиры, весь мне виден. Вчера пьяный напился, валяется, ширинка расстегнута, хозяйство наружу. Видно, перед тем, как отрубиться, онанизмом занимался. Таньке моей пятнадцать лет, ей такое ни к чему видеть. Я вчера его пинками подняла и на улицу выгнала. А сегодня прихожу, он снова с бутылкой в обнимку и мне кулаком грозит, да еще какую-то блохастую собаку с собой привел».

При слове «собака» Павел даже вздрогнул. Но соседка поняла и отрицательно, с сочувствием покачала головой: «Нет, не ваша. Не Августа. Так поможете?» Никогда Павел не умел людям грозить, тем более выгонять их, да и драться, если честно сказать, тоже не умел. Он и представить не мог, что должен сказать А.С., чтобы тот ушел. Он вышел на площадку в теплой домашней куртке, которая уширяла и без того его широкие плечи, к тому же в ней он чувствовал себя мужественнее (бывает такая одежда), посмотрел на А.С. сверху вниз как можно мрачнее и произнес неопределенно: «Шел бы ты, мужик, отсюда, чтобы хуже не было». Кому хуже? Но бомж вдруг засуетился, сунул бутылку в отвислый карман драпового вонючего пальто, встал, подобрал подстилку и суетливо побрел вниз. Ветка надломилась, и старик упал с дерева.

А другой старик вернулся в свое жилище, думая, что сам он несколько не лучше. Прошло два дня. Одиночество давило его. Исчезнувшая три дня назад собака Августа стала казаться каким-то страшным зовом судьбы. Он ее искал целый день, звал, но она не вернулась. Без нее квартира стала совсем неуютной. А после вчерашнего падения он чувствовал себя словно выбитым и из того физического состояния, которое поддерживало в нем жизнь.

С трудом он начал подниматься с кафельного пола, но руки-ноги подгибались. Хотя бы доползти до комнаты, до телефона, приказывал он себе. Но сил не было. Павел лежал, из глаз катились слезы. Похоже, что на этот раз он в самом деле плакал. Плакал о совершенно непонятно зачем прожитой жизни. Все же он приподнял голову. Зачем? Чтобы встать? И вдруг усилием воли встал. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Потом ощутил, что ему стало трудно дышать, грудь сжималась при каждой попытке вздохнуть, от жуткой слабости подгибались ноги, спина покрылась потом. Ему стало страшно, он ослаб, снова сел на пол. Но даже ползком он уже не мог добраться до телефона.

* * *

Его душа еще блуждала по Земле, сорок дней ей было предназначено скитаться здесь до ухода на небо. Он умер, но ни брат, ни сын не интересовались по-прежнему ни его жизнью, ни смертью. Схватился отец, которому он перестал звонить. Дозвонился до внука, то есть сына Павла, брат, как всегда, был в Лондоне. Сын ответил, что занят, что ему некогда, но все же приехал, взломал с милицией и людьми из ЖЭКа замок, вошел в квартиру. Оттуда позвонил дяде в Лондон (они все же иногда общались), тот сказал, что похоронить надо по-человечески, что он пришлет три тысячи баксов, но особо оповещать и собирать народ не надо. А то слишком много хлопот. И без того кто-нибудь да придет. Народу и впрямь было немного.

И Павел видел свои скудные похороны, видел, что ни брат, ни отец, ни сын на похороны его не пришли. Впрочем, брат и денег обещанных не прислал. Был друг детства Леня Гаврилов с женой, он привел нескольких общих знакомых, писатель Борис Кузьмин высокопарно говорил о трудности оставаться человеком в этой жизни, которая, добавил он вдруг афоризм, «вовсе не школа гуманизма». Старый бабник Томский пустил слезу, сказав: «Павлушка, ты был хороший. Мы скоро за тобой последуем. Но тебе-то наверно небо определено, а куда нас отправят?»

И снова заплакал. Пришло также несколько бывших сотрудников Галахова. Даши не было. И Павел заглядывал в лицо всем пришедшим в безумной надежде, что вдруг обозначился, вдруг она просто в другой одежде. Но не увидел. Душа как птица присела на одинокое дерево у могилы. Душа плакала и думала, что, наверно, Дашу ее новый муж не отпустил даже на похороны. Душа его долго блуждала около этой пустынной могилы. Через месяц прилетела из Швеции дочь, а жена Катя, видимо, осталась там караулить внучку. Дочка долго плакала, сидя на лавочке у могилы. Потом улетела назад. А Даша так и не показалась здесь. И только спустя сорок дней он понял, почему она не пришла, осознал то, о чем не хотел думать весь последний год. Даша давно ждала его на небесах, где они и встретились, наконец.

Сентябрь 2007

Константин Баршт

О СОБЫТИИ СМЕРТИ

(Рассказ Владимира Кантора в контексте русской литературы)

Во внутреннем кругозоре человека нет «моей» смерти, предполагается и выглядит вероятной только смерть другого. В зоне границы между «я» и «ты» действуют два времени: бесконечная протяженность кругозора и ограниченное временем и пространством место окружения. Моему «я» недоступно восприятие временности бытия: время находится только снаружи меня, в моем окружении, в то время как внутри меня — чистая длительность в вечности. Говоря о возможности своей смерти, мы берем чужую смерть напрокат и примеряем ее как вариант нашей собственной. Эта «чужая смерть» может быть лишь увиденной снаружи моего бытия или рассказанной неким повествователем. Сюжет литературного произведения довольно часто завершается смертью главного героя. Причин тому две: зарождение жизни и смерть живого существа — главные события мировой истории, кроме того, когда персонаж умирает, он завершает смысловое содержание своей личности, финализируя жизненный путь.

Для изображения смерти литературное произведение приспособлено своей нарративностью: герой по отношению к нарратору всегда находится в его окружении, и потому никакая и ничья смерть в литературном произведении не способна поколебать уверенность читателя в торжестве жизни. Другими словами, хорошо, что есть тот, кто может рассказать о чьей-то смерти, так как само наличие такого рассказа есть апофеоз и торжество жизни. Если вопрос о «моей» смерти это вопрос о возможностях и перспективах моего бытия, то вопрос о «чужой смерти» имеет значение исключительно

этико-культурное, это вопрос о смысле и качестве изменения параметров окружения, о формате отношения между «моим» и «чужим» по линии их соприкосновения. Меняя наполнение этой зоны, мы меняем и отношение к смерти как этическому отношению к потере и ограничению. Имеется в виду исчезновение целого ряда возможностей, которые предоставляло нам существование умершего. Если это был друг, мы больше не сможем отразиться в его глазах, если это враг, мы не сможем выразить ему свое негодование и т.д. Со смертью человека для окружающих его людей навсегда исчезает что-то, что теперь уже нельзя будет сделать; таким образом, смерть — это жесткое ограничение свободы в нашем самоопределении в глазах «другого», катастрофическое сужение онтологического спектра.

Иначе в художественном тексте. Здесь, в отличие от бинарной системы «я» — «ты», свойственной социально-коммуникативным системам, работают не две, а три точки: автор (нарратор), описываемый им герой и реципиент (читатель). В их коммуникативном контакте возникают принципиально иные отношения, диктуемые гораздо большей вариативностью, в сочетании с жестким ограничением, при котором «смерти» подвержен лишь один из трех участников коммуникации — литературный герой; ни автор («концептированный» «бумажный» или «идеальный»), ни реципиент умереть не могут. Его гибель, окруженная событиями, фиксирующими его бытийную ценность и его «мировидение», становится предметом описания повествователя и объектом оценки со стороны реципиента. Описание того, как общество («большинство») физически и/или морально уничтожает человека, игнорируя его индивидуальность, или даже уголовно преследуя его за наличие иной точки зрения на вещи, обычно составляет основу сюжета литературного произведения. В этом смысле художественное и историческое исследование сближаются: и то и другое должно максимально достоверно описать жизнь человека или группы людей как осмысленное единство. Разница в том, что историческая наука есть построение некой абстрактно-идеальной, среднестатистической и общенормативной познавательной модели, в то время как художественное исследование есть взгляд одного индивидуального сознания, не претендующего на общественное доминирование, на другого человека или людей, взятых в их борьбе за свое личное самоосуществление.

Вторая особенность заключается в том, что ценностная характеристика события в рамках тринитарной эстетической коммуникативной системы имеет особый характер как «оценка оценки» или метаоценки: реципиент воспринимает событие смерти не как воспринятое из своего личного «окружения», но из окружения друго-

го — как увиденное и рассказанное другим. Отсюда ясно, что граница между фабулой и сюжетом есть парафраз границы между «своим» и «чужим» или между рядом событий, происходящих в окружении второго лица и рядом событий, происходящих в окружении третьего лица. В художественном произведении смерть человека — смерть третьего лица, а не второго, как в социально-бытовом окружении.

В этом смысле любое художественное произведение на тему смерти оказывается ересью по отношению ко всем существующим в мире религиям, так как оно всегда иначе, чем это принято в любых известных канонах, трактует условия и обстоятельства этого перехода. Если религия требует от индивидуальности смиренного совпадения с этическим образцом, то литературный текст предлагает смотреть на мир принципиально иначе, чем это было принято до сих пор, и это «иначе» относится, конечно, и к догматизированным образцам общепринятого миропонимания. В условиях внутреннего бесконечного времени и пространства сюжет невозможен; если в реальной действительности у человека есть начало и конец, то в ином измерении, куда уходит человеческая душа, у нее нет ни конца, ни начала. Напротив, вынесенная вовне личного кругозора пресловутая «пороговая ситуация» обнажает всю подноготную сущности человека как существа, соединяющего в себе свойства смертного и бессмертного, временного и вечного, в зависимости от того, как понимаются эти определения.

Концепт «смерти» включает в себе одно важное свойство. В нем происходит соединение реальной действительности, непосредственно воспринимаемой нашим сознанием, и условного мира художественного произведения, разделенных по множеству других параметров. Умиравший или погибающий литературный герой из художественного мира произведения переходит не столько на описанное в произведении кладбище или в какие-то иные пространственные разделы художественного мира, но именно туда, куда уходят, умирая, люди, окружающие человека в реальной действительности. Художественная реальность и реальность действительная располагают в этом смысле одной и той же дверью в Инобытие, в событии смерти дороги реальных людей и путь литературных героев соединяются. Если человек верит в посмертное личное существование (верят в него, в той или иной форме, практически все), то смерть литературного героя оказывается ценностью равна смерти живого человека, разясняя ему пределы его онтологических возможностей. Второй пункт параллелизма между реальностью и условным миром художественного произведения заключается в том, что в смерти как реального человека, так и литературного ге-

роя укрепляется смысловое целое личной индивидуальности. Как ни парадоксально, событийность смерти в художественном тексте имеет созидающий, как сказал бы Бахтин, «принципиально-продуктивный характер». Смерть есть замыкание судьбы в одно непреложное и неизменное целое; полнота и цельность характера героя недостижима никаким другим способом.

Человек создает тексты, чтобы откорректировать собственные ошибки. Но если история — это учеба общества на собственных ошибках, то литература — это учеба Мироздания на ошибках отдельного человеческого «я», и даже не каждого, но только такого, кто пытается выразить свое индивидуальное видение мира в поступках и текстах. Эта модель работает, начиная от первых житий святых и кончая героями современной литературы, которые реализовали свою жизнь как проверку на практике некоей своей потаенной мысли о мире, каждый раз проверяя эти идеалы своим предстоянием смерти. Вырисовывается механизм образования событийности в художественном тексте: облеченная в телесную форму точка сознания человека, несущего в себе своеобразную трактовку идеалов «красоты», «добра» и «истины», сталкивается с окружающей его общественной реальностью, более или менее терпимо к нему относящейся. Расподобление такого человека с общественной нормой становится очевидным постепенно, по мере движения сюжета, вначале оно может звучать как скрытое сомнение к релевантности этой нормы. Отсюда ясно, что, говоря о смерти человека в реальности или беря некое событие из сюжета литературного произведения, мы приписываем ему значения, которые освещают смысл его бытия как одного из вариантов Бытия в целом. Так уж устроен человек, что свое личное бытие он никак не может отделить от бытия всего Мироздания, постоянно стремясь интегрировать свой личный смысл в великий Смысл Сущего.

Современная реальность такова, что мнение окружающих о человеке, как бы сказал Бахтин, «я-для-тебя», оказывается много важнее, чем видение мира изнутри самого человека. Человек как таковой постоянно уступает место человеку общественно-государственному, подобно тому как это происходило еще в Римской империи; современная культура трактует жизнь человека как «деятельность», более или менее полезную для общества, привычно отождествляемого с населением государства. Эти заслуги оцениваются с помощью должностей и наград, благодарное общество ставит также памятники и мемориальные доски. Репутация обретает необходимую устойчивость. Не случайно награждение художников и писателей, самых далеких от государства людей, орденами, посто-

янные попытки навязать им «чин» и «должность» — общее и здесь пытаются подмять под себя частное и индивидуальное.

Одновременно существует другая шкала ценностей и иной метод трактовки заслуг человека. В зачине «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевский говорит об Алеше, что он особого типа «деятель» — незаметный и не пожинающий лавры, однако, чрезвычайно полезный для человечества и мировой истории. Смысл его деятельности по рассеиванию добра и красоты в мире, в виде слов и дел, весьма неяркий, но внятней и необходим. Известно, что соответствующее этому типу жизнеустройства определение «добродетели» может претендовать сегодня на звание самого опошленного и искаженного слова русского языка. Однако есть место, где эта идея чувствует себя на своем месте — это русская литература, которая, на протяжении всего периода своего существования, сосредотачивала свое внимание именно на смысле такого рода «деятельности» и на персонажах, ищущих добро и правду. То есть людей, не получающих общественного признания именно из-за своего нахождения в маргинальной зоне «добродетели». Такой человек на фоне общества выглядит неубедительно, зато общество на фоне этого отдельного человека убеждает нас в чем-то с помощью отрицательных примеров. Особенно если этот человек умер за выношенный им идеал, подобно «рыцарю печального образа».

Человек культуры Нового времени состоит из трех основных бытийных слоев, каждый из которых может прекращаться, не требуя прекращения других двух: 1) биологическая жизнь и биологическая смерть, 2) социальная жизнь и социальная смерть, 3) жизнь сознания в человеке и смерть его сознания. Точка зрения на мир персонажа определяется системой ценностей, которая основана на порядке в расположении этих трех пунктов. Если в личной судьбе литературного героя присутствуют все три компонента, то расположены они в семантической оси произведения могут быть по-разному. В «Смерти Ивана Ильича» Л.Н. Толстого умирание получившего тяжелую травму героя становится идеологической основой для постановки вопросов о примате онтологического (этико-духовного) компонента жизни человека и второстепенности социального и биологического. Сюжет этого произведения основан на смене последовательности в ценности и взаимном расположении трех указанных элементов. Если в начале повести для героя на первом месте стояли служебная карьера и хорошее материальное состояние, которые десятилетиями казались ему важнейшим содержанием и смыслом жизни, то в конце повести они отступают и практически полностью теряют всякое значение перед перспективой утраты

своей онтологической позиции в мире, которая, в свою очередь, в сознании атеиста Ивана Ильича связывается с прекращением его биологического существования. Биологическая смерть, которая происходит на фоне социального успеха человека, обращает всю его служебную карьеру в случайное и малозначительное событие, а жизнь как ценность обретает свою полноту за пределами биологических форм. Подобного типа последовательность наблюдается в описании смерти С.Т. Верховенского в «Бесах», где признаваемое им высшей ценностью «общественное служение» отступает как малозначительное перед лицом смерти, а на первый план выходит, представленная Евангелием, Мировая история. Уничтожение социального значения человека, которое происходит задолго до его физической и духовной смерти, описывается в пьесе М. Горького «На дне».

В «Котловане» А. Платонова происходит отрицание абсолютного значения биологической смерти человека и манифестация жизненной программы, которая нацелена на тесное практическое слияние сознания человека со всей единой плотью «вещества существования», которое проявлено во всех вещах и предметах, и в теле человека. Исходной точкой сюжета является непризнание героем важности его социального существования, которое является лишь производным от его биолого-онтологической бытийности. Этот статус основан на идее глубокой вещественно-энергетической связи между всеми элементами Мироздания в одном целом имманентно живого и обладающего сознанием «вещества существования». Социально-экономические факторы жизни человека и человечества отрицаются как глубокое заблуждение, своего рода популярная, но внутренне несостоятельная мифология. Сюжет основан на преодолении препон, которые отделяют человека от его праматери — «вещества жизни»: социальное отрицается как губительное, а смерть физическая преодолевается за счет духовно-энергетического слияния с «веществом жизни».

В повести Н. Островского «Как закалялась сталь», а также в некоторых произведениях И.С. Тургенева, напротив, именно общественное значение человека доказывается возможностью его биологической смерти, а онтологическое и биологическое его состояния лишь поддерживают его реноме как «человека и гражданина». Эту же сюжетную конструкцию мы видим в произведениях социалистического реализма, а также в трагедиях Сумарокова и других представителей классицизма. Биологическая гибель героя подчеркивает его онтологический и социальный статус, его профессиональное и социальное реноме.

В «Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова представлен широкий спектр вариантов, возможно, это один из самых содержательных текстов в русской литературе на тему смерти. С позиции нарратора онтологическое существование ставится на первое место, биологическое — на второе, социальное бытие описывается как служебная модель, возникающая случайно и обслуживающая технические потребности некоего сообщества людей. Особого значения им не придается, главные герои романа Булгакова (Мастер, Маргарита, Иешуа, Воланд и пр.) живут и во времени, и в вечности одновременно, в то время как второстепенные персонажи (Лиходеев, Римский, буфетчик, и пр.) — исключительно в социально-биологическом пространстве и ограниченном времени. Это произведение настаивает на несущественности и условности биологической смерти, устанавливает смысловой ряд, согласно которому решающее значение для бытия имеет этико-онтологическая установка человека в мире, от которой прямо зависят его социальное и биологическое состояние. Напротив, в произведениях В. Сорокина представлен набор необщественных и неонтологических персонажей, живущих по законам своего биологического существа. Герои «Сердце четырех» движутся и мыслят исключительно в рамках физиологических процессов, происходящих в их организмах, отсюда принятие спонтанных решений и совершение неожиданных поступков, на самом деле глубоко мотивированных биологическими процессами, происходящими вне воли их сознания. Внутренних моральных ограничений или внешних социально-культурных условий не предусматривается, биологическая смерть, при несущественности жизни социальной и онтологической, ценностно актуализируется, в своем апофеозе понимается как разделение человеческого тела на части: оно становится не имеющей мирового статуса бытовой «вещью», которую режут как колбасу. Онтологическая и социальная жизнь отступают, фиксируя торжество биологического в человеке.

Литературный текст, который сосредотачивается на деталях физического уничтожения человека, представляя, например, описание полового акта, совершаемого в рану на голове, прорубленную электрическим рубанком, которое мы обнаруживаем в творческом наследии В. Сорокина, сводится к физиолого-мясному ряду, который в свое время был блестяще освоен в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Ф. Рабле. Правда, там он играл специфическую и очень важную роль для образования гротескного пространства романа. Вырванный из этого контекста и теряя свое эстетическое значение, он превращается в нечто, что, по молодости лет, вдохновляло Н.В. Гоголя (и от чего, в отличие от В. Сорокина, он отказался): человек, с ко-

торого содрали кожу, сидит и играет на бандуре («Кровавый бандурист»). «Кровавые бандуристы», во множестве рассеянные в нашей бульварной литературе, все еще продолжают петь свою заунывную кладбищенскую песню, однако читателя все более интересует не столько процесс высыхания мышц при снятии кожи со спины живого человека или изнасилование беременной женщины, зажатой в столярный верстак, сколько интеграция жизни человека в нечто большее, чем «дом, семья и работа».

Последовательным борцом с социальной и биологической событийностью выступал Д. Хармс. Его можно назвать главным протестантом против пошлости социально-бытовой событийности, которую он последовательно уничтожал в своих «случаях», выхлещивая событийность из сюжета биологической смерти. Оправдывая убийство, его герой может прибегать к доказательствам, которые указывают на невозможность моральных критериев, уничтожая саму возможность формирования какой-либо осмысленной системы ценностей. В известном тексте о старухах, которые вываливались из окна, он ликвидировал неожиданность и непредсказуемость сюжетного хода, тем самым выбивал фундамент из-под возможной событийности, связанной с гибелью персонажа. Здесь и в других подобных случаях отсутствие события при наличии индивидуального бытия может объясняться двумя причинами.

1. Отсутствие необходимых минимум двух точек зрения на мир, когда активность одной из них становится источником событийности в другой. Так, например, происходит в мифе, где не допускается присутствие двух автономных точек видения мира и двух противостоящих внутренних пространств в пределах одного единого окружающего пространства. Налицо одна точка зрения, а также ценностное нивелирование и подчинение ей всего, существующего в этом едином пространстве, в то время как зона границы между двумя системами отсутствует.

2. Налицо два пространства, однако одно из них лишено внутренней по отношению к нему точки сознания, представляя собой мертвый безжизненный раздел бытия. Это нечто вроде еще одной комнаты, не замеченной нами ранее, в хорошо известной нам квартире. Событийность, которая, казалось бы, намечалась при открытии двери в это новое пространство, умирает, поскольку там не находится ничего, что могло бы изменить мой кругозор. В этом направлении действует Д. Хармс, уничтожая событийность ликвидацией иной точки зрения на мир во втором пространстве «со-бытия». Второе пространство, заявленное как «иное», оказывается онтологически пустым, не содержащим личной индивиду-

альности и иной ценностной системы, способной образовать зону границы.

Заведомая онтологическая неполнота жизни, основы личного бытия человека, стала проблемой, тревожившей на протяжении всей жизни Владимира Набокова. Решение нашлось в идеале «всевидающего ока» Вселенной, вариантом, компонентом и частным случаем которого является художник, в своем индивидуальном видении обеспечивающий возможность самосознания Вселенной. В «Даре» отец Чердынцева рассказывает притчу о человеческом оке, которое хотело бы вместить в себя реальность во всей ее полноте, однако оказалось не в состоянии этого сделать. Реальным оправданием бытия человека оказывается приближение к состоянию «всевидающего ока» Вселенной и максимально интенсивный процесс фиксации впечатлений и мыслей. Если сознание человека есть часть сознания Вселенной, а человеческое «время» есть часть Вечности, значит, нужно увидеть и описать «все, что я способен в ней различить, и сделать это настолько точно, насколько это человеку по силам»¹. У Бытия есть и черновая, и беловая партитура, другими словами, сюжет мировой истории изменяется одновременно на всем его протяжении: в будущем, прошлом и настоящем.

Набоков утверждал, что память Вселенной насущно нуждается в точке сознания, сфокусированной в какой-либо точке ее безграничного поля («произвольных очках Мнемозины»), и только располагая такого рода элементом, онтологическая память начинает выводить в план выражения свои информационные ресурсы. Повествователь «Лолиты» в связи с этим отмечает, что при интенсивном включении своего сознания в контекст бытия и сосредоточении его на некоем объекте возникает эффект «особого состояния», при котором субъект чувствует себя непосредственно связанным со всем бытием в целом. Важна длительность как таковая, входя в состояние «чистой длительности», художник свою память делал «струной» мировой эволюции, и тем самым сообщал своей памяти качество онтологической памяти Вселенной. Набоковский герой легко подключался к этой вечно живой онтологической памяти, извлекая из нее данные, подобно тому как сейчас каждый из нас берет необходимые сведения из Интернета — их не всегда необходимо помнить, держать в памяти, но они в ней существуют как бы за скобками. Человеческий мозг понят здесь как функциональный орган Вселенной, доверенный человеку постольку, поскольку ему свойственна свобода, а память — доверенная ему сверхсознанием часть идентификации себя Вселенским Разумом.

¹ Набоков В. Собрание сочинений американского периода: В 5 т. Т. 3. СПб., 1999. С. 596.

Мнемозина, по мнению Фальтера, имеет ответы на те вопросы, которые мы не в состоянии задать, и вместе с тем не отвечает на те вопросы, которые мы в состоянии задать, ибо они лежат в такой плоскости, что в системе онтологического знания теряют значение¹. Такие понятия как «бытие», «небытие», «смерть», «жизнь», «истина», «ложь», «время» и «вечность» — лживые формулировки, которые заслоняют от нашего сознания истинное положение вещей в мире, подобно единице в математике или «времени» и «пространству» в физике, они лишь костыли познающего рассудка, отсутствуя в реальности. Сам Фальтер последовательно открывает файлы этой гигантской библиотеки, осознавая, что не может открыть их одновременно в количестве двух и больше. Сходная мысль содержится в «Strong Opinion»: Набоков указывает на ограниченность человеческого сознания чувством времени, которое связывает его возможность стать неким «сознанием без времени» — только в рамках этого типа сознания можно приблизиться к правде реальности, преодолевая искажения нашего видения. Владелец такого типа сознания, Фальтер, как он сам замечает, «проговорился» «двумя-тремя» словами, открывающими истину, и которые не уловил его собеседник. Это явная мистификация Набокова: Синесусов не может их найти потому, что это слова повествователя, обращенные к читателю: «Память может жить без головного убора»², заметим, что с этой фразы начинается рассказ. Другими словами, онтологическая память Вселенной бытует независимо от мозга отдельного человека: существует и в нем, и без него. Человеческое «я» и Мироздание находятся в неразрывной связи, и то, что видит человек, есть достояние Мнемозины, в ее память входит все, что видел и пережил любой из живших и живущих на Земле людей. Головной убор не более ценен, чем то, на что он надет, заметим, что для Фальтера важна не столько «истина», сколько информационная «отдача» при соприкосновении с Мнемозиной³. Это соприкосновение описывается как интимный акт, который не может быть передан в лизинг другому, истина носит трансцендентальный характер и не может участвовать в общении отдельных гомо сапиенс между собой. Таким образом, никакого другого пути в онтологическую память, кроме памяти живых существ, нет. В онтологическую память информация проходит не прямо, с точки зрения всеобщей

¹ В связи с этим А. Пятигорский замечает: «Задавать вопрос о своей судьбе бессмысленно, ибо мы не знаем, ни о чьей судьбе идет речь, ни о чем своем» (*Пятигорский А. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова* // В.В. Набоков: Pro et contra. Т. 1. СПб., 1997. С. 346).

² *Набоков В.В. Ultima Thule* // *Набоков В. Собр. соч.*: В 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 438.

³ Там же. С. 454.

и непосредственной, но лишь то, что хранится в памяти людей. До смерти и в пределах биологической телесности, связь с онтологической памятью работает только на «передачу» и сильно ограничена телесностью, может быть, конечно, и работа «на прием» как индивидуальный дар, с помощью интуиции. Но после биологической смерти все пережитое и помненное, окрашенное личностью аксиологически, уходит в онтологическую память. На это намекает также герой «Чевенгура» Александр Дванов, когда он, перед тем как уйти навсегда в воды озера Мутево, говорит: «Я буду все помнить». Снабдить онтологическую память своими запасами — значит умереть, ведь до смерти это невозможно.

Особый вариант отношения социального, биологического и онтологического аспектов жизни и смерти человека мы видим в рассказе В. Кантора «Смерть пенсионера». Здесь биологическая смерть трактована как нелепое событие, мешающее развитию мирового сознания, представленного сознанием индивидуального человека, а социальная смерть человека трактована как признак несостоятельности окружающего его общества. Совпадая с отечественной литературной традицией и вводя тему смерти, Кантор тут же отрицает ее как нечто фатальное и непреложное, создавая художественный мир, основанный на абсолютной ценности кругозора своего героя. Главный герой произведения, Галахов, освобождается от своей измученной плоти как от бремени, сохраняя в незыблемости полную любовь и полноты жизни точку видения мира. Вечность вступает в свои права в заключительных фразах рассказа, осмысленное видение мира с точки зрения человека, лишенного своего тела, описывается как обыденная документальная реальность.

Поскольку точка сознания человека не имеет возраста, общественного положения, зарплаты, ученой степени, прописки, медицинской страховки и срока жизни, а телесный человек, который несет эту точку, все это имеет или может иметь, трагическое противоречие между вечным и временным обретает значение борьбы между честью и бесчестием. Бесчестие выгодно и полезно для телесного «общественного человека», в то время как следование канону чести тяжело и опасно, сулит страдания и даже скорую смерть. В свое время Николай Гумилёв, воспевая в своих стихах рыцарское служение идеалам красоты и добра, неправильно с точки зрения бытовой смелки ответил чекистам на вопрос о своих политических симпатиях. Однако если бы он сказал им нечто, что сохранило бы ему жизнь, то его точка сознания, задним числом, не смогла бы увидеть мир таким, каким он описан в его стихах. Стихи Гумилёва не могли быть написаны человеком, который изловчился бы навешать лапшу на

уши чекистам, а потом, хитро посмеиваясь, отправился бы домой выпить за здоровье жирафа, живущего на берегу озера Чад.

Такого типа людей с начала XIX века называли «честными людьми», имея в виду, что честь в их понимании стоит больше жизни. Внутреннего строя «честный человек», в первоначальном значении этих слов, находится в центре любого литературного сюжета, включая и так называемых «отрицательных героев», фиксирующих ошибку или отклонение в понимании вектора «красоты-добра-истины», и героев-плутов. Такова структурная доминанта художественного текста, и, одновременно, его коммуникативная основа, ведь восприятие художественного текста — дело отнюдь не коллективное, никакого «массового читателя» не существует, равно как и «массовой литературы», каждый читатель — наедине с миром, своей личной точкой зрения на него и книгой, фиксирующей иной взгляд на вещи. Поэтому столь важно понять, зачем необходима такая сюжетная точка как смерть персонажа.

Рассказ В. Кантора весьма скупко рисует картины, зато передает и порождает мысли со степенью достоверности на грани ощущения телепатического сеанса. Такого рода эффект возникает не очень часто, но это и есть признак настоящей художественности. Скучная детализация предметов мира, который окружает Галахова, героя этого произведения, порождается не только свойствами повествования, избранными автором, но еще и гарпагоновской скупостью общественной среды по отношению к главному герою, погибающему от моральной тупости окружающих. Идеологической доминантой рассказа становится описание процесса ухода из жизни одного из лучших представителей рода человеческого, доведенного до самого края обстоятельствами его жизни. Вспоминается определение ада, которое давал герой Достоевского старец Зосима: «невозможность любить». А также мысль другого литературного героя: на самом деле библейского и посмертного ада нет, зато окружающая нас действительность — это и есть ад, более или менее социологизированный и, местами, неплохо обставленный. Герой Кантора осужден на этот ад, как и любой другой человек, без вины виноватый, однако, и в этом держится достоинство его личности, сохраняет в себе способность любить. По модели, с математической точностью выявленной Яковом Бёме: «ангел посреди Ада находится в Раю». Кантор фиксирует здесь феномен: чем человек сильнее чувствует потребность любви и готов сам отдавать свою любовь другим, тем меньше он ее получает со стороны окружающих.

Происходит тихое и разрешенное законом убийство ближнего с помощью отказа ему в уважении и любви, одинаково опасное и для

того, кого таким образом убивают, и для человека, проявляющего душевную скупость. Обреченность на огромную безответную любовь к миру, свойственная гениальному человеку, живущему в контексте нелюбви и бытовой пошлости, — основная тема рассказа Кантора. Эти условия для себя самих и для Галахова создали его ближние, родные и неродные люди, одинаково чужие ему в морально-общественном аспекте и одинаково чуждые ему онтологически. В свое время Н.Ф. Федоров, отвечая на вопрос, что заставило его прийти к идее «супраморализма», требующего тотального служения каждого всем и всех — каждому, говорил, что основанием тому было раннее понимание того, что не только чужие люди не стремятся к братским отношениям, но что даже родные братья оказываются чуждыми друг другу. Братство — тонкий механизм, для его существования необходима взаимность, его можно описать как взаимную и неэротическую любовь. В одиночку братство не образуется, почему жизнь человека, наделенного щедростью души и умением любить, пребывающего в обществе тех, кто любить не в состоянии, — самая громкая (и самая сюжетно распространенная) коллизия мировой литературы.

Владимир Кантор описывает наше общество как группу дикарей, которая с энтузиазмом трясет большой баобаб, на котором сидят старики, падающих с почетом (или без оного) хоронит. Он заставляет нас поверить в то, что общество, которое торопливо вытряхивает на кладбище людей, как крошки со скатерти после сытного обеда, недостойно называться сообществом людей. Лучшее из сравнений, которое приходит автору в голову в связи с этим, заставляет подумать о каннибалах Центральной Африки. Правда, поедая своих стариков, каннибалы верят, что вещество тел, в виде пищи входя в их живую плоть, тем самым продолжает свое существование. Наше общество лишено столь изысканной мотивации — людей просто вывозят на кладбище, ликвидируя материально. Губительная для страны идеологическая «педократия», чреватая 1917 годом, наступление которой на Россию с ужасом зафиксировали авторы «Вех», ныне получила новую, еще более категоричную редакцию, возникла система возрастного шовинизма, весьма сходная с армейской дедовщиной. Так что прежде чем искоренять дедовщину в армии, хорошо бы ее искоренить из социальной политики нашего государства, где граждане — потенциальные рядовые Сысоевы. Герой рассказа Галахов не зря вспоминает о Николае Федорове: идея отцеубийства, уютно расположившаяся в головах наших сограждан, и предваряющая ее идея тотального сиротства, составляет основу национальной морально-психологической модели. Рассказ Кантора заставляет думать именно об этом.

В произведении не отыскать сложных и изысканных сюжетных ходов, столь любимых «массовым читателем», он интересен иначе — своей точной и жесткой связью с реальностью современной жизни, казалось бы, уже давно затертым «вековечным вопросом» о жизни и смерти. Автор исходит из того, что назначение литературы порождать мысли, сдвигать твою точку зрения на мир к некоей более адекватной тому, что есть ты и что есть окружающий тебя мир. Однако, как правило, то, что нам внятно в художественном тексте, содержится в том воздухе культуры, которым мы пытаемся дышать. Поэтому такой текст как «Смерть пенсионера» вряд ли будет иметь шумный успех. Почти нет читателя, который смог бы увидеть жизнь Галахова как свою собственную. Для этого нужно развеять описанное Кантором ужасное одиночество Галахова, а развеять его практически нечем. Собственно, именно об этом и рассказ.

Почувствовать себя комфортно в окружающем пространстве можно, только став его естественной частью — чем больше я похож на то, что меня окружает, тем лучше я себя в этом всем чувствую. Однако социальная реальность, нарисованная В. Кантором, не похожа на пространство, пригодное для жизни. Если, конечно, понимать под жизнью не параноическое зарабатывание больших сумм денег, а творчество, одушевленное любовью. Поэтому герой Кантора, как лучшие герои Достоевского и Толстого, упорно не хочет адаптироваться к реальности. Его внутренний мир выглядит как капелька масла в стакане с водой. Она соприкасается, но не сливается, она зависима — и одновременно независима от среды обитания. Его герой Галахов чувствует себя чужим в окружающем его мире. Три состояния такой чуждости называл Бахтин: плут, шут и дурак. Плут корыстно эксплуатирует свою чуждость окружающему миру, шут отстраненно анализирует ее и обозначает символически, дурак живет в мире по наитию своих внутренних законов, не обращая внимания на реальную ситуацию. Кантор прибавляет к этому списку четвертое, синтетическое состояние: «пенсионер». Суть его — сохранение своего внутреннего мира в нетронутым состоянии, отказ от эксплуатации его в корыстных целях, постоянный самоанализ, этическая устремленность к другому, которого нет и уже быть не может, смерть в безвестности и запустении. Канторовский пенсионер — это шекспировский Йорик, взятый еще при жизни, за несколько дней до смерти.

Неуверенность канторовского героя в реальности окружающего его мира объясняется не только тем, что мир выглядит враждебным ему. С легким сердцем тогда, опираясь на твердый фундамент, человек стоит в мире как личность, осознающая свою величину. Но

лишенный обращенного на него любящего взгляда, человек теряет почву под ногами, и тут не спасают никакие общественные блага и социальные корни. Такой человек погибает — независимо от возраста морально или физически, и хорошо еще, когда эти две смерти совпадают. Некоторым не везет, и физическая смерть наступает позже духовной, и тогда мы оказываемся окруженными «зомби», сохраняющими черты людей, но действующими как бездушные автоматы. А иногда физическая смерть оказывается лишь освобождением от немощи истощенного и больного тела, и тогда душа может встретить любящий взгляд там, где нет линии, отделяющей «мое» от «чужого». Так произошло с Галаховым. Галахов, который многие годы был своему брату Клавдию помощником, слугой, моральной и материальной опорой, теперь стоит перед дверью в его квартиру, выслушивая через запертую дверь путанные объяснения, что, дескать, «ему некогда».

Кантор настаивает на том, что если это является общественной нормой — презрение к человеку как таковому, независимо от того, является ли он профессором как Галахов или не является, то такое общество обречено. Почти сто лет назад Андрей Платонов написал повесть «Джан»: о том, что целый народ может физически погибнуть от одной только потери интереса к вопросу о смысле жизни. Интерес к своей личной жизни и заинтересованность к жизни другого взаимосвязаны, тот, кто утверждает обратное, либо лжет, либо заблуждается. В. Кантор сосредотачивается на описании почти полной потери всякого интереса к другому как новой, ведущей к катастрофе, мировой культурно-общественной нормы. Персонаж романа Достоевского, революционер Шигалёв, размышляя о бесконечной свободе, сформулировал ее неизбежное завершение в бесконечном рабстве. Начиная с тихого убийства стариков, мы естественным образом приходим к убийству детей. Это подтверждает описанная в рассказе история девочки Кати, очевидность того, что мы построили мир, в котором уютно себя чувствуют лишь некоторые специальные половозрелые дяди и тети, умело добывающие и ловко считающие деньги. Герой Кантора произносит приговор: такова половина страны, состоящей из людей, которые не нужны своим детям. А эти дети, в свою очередь, своим.

Проясняют смысл рассказа небольшие истории, равные по своей моральной значимости большому роману. Таков рассказ о маленьком мальчике по имени Васек, героически боровшемся с сильными мира сего и погибшем в безвестности под колесами автомобиля. Уходя из жизни, человек оставляет о себе две памяти: суетную, в виде изваяний и мемориальных знаков, на кладбище или еще

где-то, и другую, в виде следа в мировой истории, где вклад сохраняется незыблемым и навсегда, как неотъемлемая составляющая бытия. Как свидетельствовал Осип Мандельштам, «узора милого не зачеркнуть». Герой рассказа В. Кантора не из тех, кого утешают холсты, изображающие горящий очаг с котлом в каморке папы Карло. Добившись в конце жизни умения размышлять беспристрастно, он в состоянии применить выработанную научную методологию и к вопросу о факте собственного существования. Без натужной пафосности и без ерничанья Галахов, размышляя о приближающейся смерти, перебирает известный набор философских моделей — ницшеанское «вечное возвращение», реинкарнацию, известные варианты перехода души человека в рай или ад, иное измерение и пр. Сам канторовский герой, как настоящий наследник традиций «интеллигентской веры», думает, что существует лишь «постоянное возвращение человека в небытие».

Рассказ Кантора повествует о дефиците любви в обществе и катастрофическом падении человеческого в человеке. Мир людей, окружающих Галахова, представляет собой большой огород, в котором каждый выращивает свои овощи, с тем или иным уровнем успешности, и в котором все, что там есть живого — съедобно. Никаких других точек сознания, равноценных или хотя бы достойных диалога, там нет. Болтающиеся вокруг тебя иные гомо сапиенс подразделяются здесь на полезных и не полезных. Первых нужно подкармливать, чтобы были пожирнее к моменту сбора урожая, вторых — уничтожать или игнорировать, что в ряде случаев одно и то же. Больше же всего, когда в числе этих хозяев города, глядящих на тебя как на несъедобный овощ, оказываются твои собственные дети. Именно в таком положении оказался Галахов. Как реликт того типа людей, который мы называем интеллигенцией, Галахов проявляет полную неспособность позаботиться о себе, попросить для себя что-то, что имело бы значение удовлетворения телесных нужд человека. Умирая от голода, болезней и одиночества, он не может обратиться к человеку, который легко может избавить его одновременно от всего этого, — к своему сыну, ему стыдно это сделать. Другим свойством, мешающим почувствовать себя комфортно в обществе, является его способность брать на себя чужую боль. Это характерное свойство интеллигента в высшей степени присуще Галахову. Он глубоко переживает за женщину, которая его покинула, любит ее не той любовью, которой она заслуживает, но той, на какую сам способен. Однако в окружающих его людях ценится как общественная добродетель не способность взять на себя чужую боль, но свалить на другого свою собственную. И потому его одиночество нарастает как

бытийная необходимость, как одиночество одинокого умирающего человека, окруженного хищными «гоминидами», скалящими на него свои зубы и злобно смеющимся над ним.

Моральная обстановка в стране создается «царством пришедшего хама» (формула К.К. Парчевского), который получает адекватное олицетворение в образе миллиардера, бросающего в воды Карибского моря часы стоимостью в несколько тысяч долларов в качестве прощальной монетки. Тех самых, ради получения которых доктора наук, тратя десятки часов, пишут заявки на гранты, дающие им возможность оказать стране платную услугу, значительно превышающую по своей ценности полученные за это деньги. В чужом несчастье есть что-то улаждающее, заметил один герой Ф.М. Достоевского. Реальность, окружающая Галахова, выступает в виде хамоватых водителей джипов, которые лезут как тараканы везде и всюду, олицетворяя собой ужас общественной жизни, лишенной морального критерия. Однако если духовная смерть уже наступила (или духовное рождение еще не состоялось), это почувствовать невозможно. И тогда возникает чувство радостного ликования, когда достойный человек рядом с тобой оказывается забрызганным грязью. Эти существа чувствуют себя уютно, как сардины в консервной банке, и готовы уничтожить любого, кто подвернется поблизости. Их активность по отношению к окружающим есть активность pulverизатора, наполненного слезоточивым газом, в руках больного синдромом Паркинсона. Из трудов М.М. Бахтина известно, что, унижая другого, ты тем самым унижаешь самого себя, здесь действует закон «сообщающихся сосудов», но они о нем никогда не узнают.

Каин всегда оказывается прав, убивая Авеля, потому что остается биологически существенным. Стало быть, социальная жизнь торжествует в Каине, обращаясь в отсохшую ветвь в Авеле. Загнанный обществом в свое запустение профессор Галахов не случайно вспоминает о «хищных гоминидах», которые лишь внешне похожи на людей, представляя собой особый тип живого существа, паразитирующего на человечестве. Люди-гоминиды, которых боится Галахов, и есть такие существа, которые, подобно «черной дыре», засасывают в себя положительную энергию, излучаемую другими, при этом сами ничем не делясь с другими. Таким гоминидом оказался и брат Павла Клавдий, владлец трех московских квартир и одной лондонской, требующий, чтобы его брат, имея пенсию 4500 р., платил 6000 рублей на содержание отца. Кантор заставляет читателя предположить, что страна, которая платит профессору гроши, а когда он состарится, трактует его как ненужный мусор,

обречена. Гоминиды, прорвавшиеся во власть, убьют свою страну и погибнут сами, как погибает ленточный червь в организме человека, умершего от истощения. Жития святых переполнены описанием того, как их убивали «гоминиды», и это соревнование в том, кто больше мучений получил при казни, обращается в соревнование в святости. Однако умение видеть этих гоминидов — биологически полноценных людей, лишенных способности любви и творчества — приходит к Галахову слишком поздно. Он уже способен их видеть и различать — на улице, в транспорте, даже по телевидению (там их оказалось особенно много). Один из представителей этого хищного типа, по его мнению, это министр здравоохранения и социального развития России, «который сообщил, что, по планам правительства, деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста». Вот она, умная голова, которая действительно сформулировала нашу национальную идею: «человек — это овощ, который хорош только в свежем виде, а если перезрелый — нужно выбросить».

Сон Галахова о том, как в соседней комнате собралось все мировое зло, и он открывает шкаф, чтобы достать оттуда приготовленное для борьбы с ним супероружие, и находит там одни книги — это притча, рассчитанная на тех, кто читает книги и потому знает, что такое книжная культура страны, созданная русской интеллигенцией. Как говорят, «Бог есть там, куда его пускают», творческая энергия — это светлая, добрая энергия, с помощью которой никого и ничто нельзя уничтожить. Поэтому Галахов беспомощен перед лицом мирового зла, воплотившегося в морально мертвых людей-гоминидов, окруживших его. И если у общества нет желания и сил защитить его — такое общество недостойно существования, какие бы выгодные цены на нефть и газ не образовались бы на мировом рынке.

Чаще всего увлеченные выгодной продажей и перепродажей природных ресурсов, серьезные деловые люди иронически относятся к таким нематериальным вещам как позиция должностования по отношению к миру, чаще всего такие вещи лишь мешают осуществлять деловую активность. Одновременно они с уважением относятся к культурным ценностям в виде картин и архитектурных ансамблей. Эта позиция напоминает взгляд дикаря, который восхищается фонариком как чудесным источником света, однако недоумевает, зачем это нужно в фонарик батареек, считая это лишним. Состояние дикости оказывается общественной нормой, поддерживаемой действиями правительства в области науки и образования. В поддержку этой идеи первая жена Галахова Ирина к

его книжным занятиям «относилась вполне иронически». Моральная деградация общества сказывается не только в том, что налицо все больше «гоминидов» и все меньше видно людей, но и в том, что творческая энергия тех, кто способен что-то изменить, тратится на выполнение глупых указов бездарных начальников, бережно сохраняющих свои насиженные места, иногда — непосредственно со времен коммунистического режима.

Дерево, на которое сажает своих стариков наше общество, дабы потрясти и выяснить, кто еще достоин жизни, а кто нет, предстает перед нами в виде офиса Пенсионного фонда, к которому ведет неровная и обледеная дорога с проносящимися мимо автомобилями, при отсутствии светофора на пешеходном переходе. Это и есть африканское «дерево испытаний», и одновременно инструмент экономии государственных ресурсов: «Кто перебежит, глядишь, и получит пенсию. А не сумеет, то нет ни человека, ни пенсионной проблемы...» Тех, кто выживет, ждет новый тест на выживание внутри здания пенсионного фонда, где стоит длинная «очередь из стариков и старух», перед ними страшная «кожаная дверь», за которой скрывается их шанс протянуть еще пару лет, а перед ней, в виде ангела смерти, «женщина с листочком, на котором были записаны фамилии и их порядковые номера». Узнав свой номер — 148 — Павел Галахов понимает, что шансов пройти в эту дверь у него нет, нужно приходиться тем же путем в пять утра, а еще лучше — ночью. Это поможет опередить в этих моральных джунглях других таких же несчастных, из последних сил приползающих за грошами, на которые можно купить пачку дешевых макарон и буханку хлеба. Великое пенсионное стояние, которое переживает Галахов, состоявшее из борьбы с нервными старухами, которые лезли без очереди, и постоянной болью в мочевом пузыре, вызванной аденомой простаты, девять часов, без перерыва на ланч, кончилось тем, что выяснилось: пенсию начисляют с момента подачи заявления, а не с момента, когда человек ее заслуживает. Другими словами, государство говорит: «Ты обязан попросить меня дать денег на твое содержание, а я еще подумаю, давать ли, но если не попросишь — точно не получишь». Далее Галахов узнает, что больные, которые находились в стационаре, вообще не имеют права на получение каких-либо денег, они вычеркнуты из списка лиц, на которых распространяется действие Конституции. «“А если бы я, скажем, полгода болел?” — “Нас, мужчина, это не касается. Не мы правила устанавливаем”, — ответила молодая, но расплывшаяся нездоровой полнотой девица лет двадцати пяти». В пенсионном фонде Галахов вдруг ощутил себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое-па-

разита; «“Ungeziefer”, – вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни паразитам?». Кантор ставит вопрос о том, кто действительно паразитирует на обществе: состарившийся и выполняющий свой «срок дожития» профессор или пышущий здоровьем гоминоид среднего возраста, способный накачать в свой карман побольше денег и просаживающий их на альпийском курорте?

Добравшись до вожделенной кожаной двери, стареющий профессор и начинающий пенсионер Галахов выясняет, что, оказывается, Пенсионный фонд вовсе не заинтересован в том, чтобы он был жив, более того, государство установило ему максимальный срок жизни, изящно именуемый «сроком дожития». Потрясенный этим термином, он тем не менее не стал прилаживать эту концепцию к законам России, не обратился международный суд, даже не стал ругаться. Он повел себя как настоящий интеллигент: почувствовал «мистический ужас» и мирно отправился домой, стараясь, по совету работника Собеса, исчерпать те 18 лет, которые государство определило ему в качестве бонуса за все то, что он делал для него в течение всей жизни. Однако и эти 18 лет, сосчитанные «умными людьми», старики прожить, увы, не смогут. Слишком высоко то дерево, на которое их сажают, слишком сильно трясут поднаторевшие в этом деле молодые сильные руки, и старики упадут с дерева, ослабленные неправильным питанием и плохим медицинским уходом.

Пенсионная система в рассказе Кантора предстает перед нами как «фабрика смерти», работающая не на продолжение жизни, а на уничтожение оной. Выявляется двойная мудрость тех, кто определил размеры пенсии и органически сочетающиеся с ними сроки дожития, ведь на эти средства дотянуть до срока удастся лишь немногим. Тем более что подобно такому же молодому пенсионеру по кличке Комиссар, повесившемуся в лестничном пролете (для верности, на случай, если дешевая веревка не выдержит – на более качественную веревку у него не нашлось денег), некоторые помогают государству, сами забираясь на то дерево, которое предназначено для ликвидации в обществе лишних, совершенно бесполезных деталей. Напрашиваются аналогии. Если Сталин убивал своих врагов, объявляя их врагами народа, то нынешняя социальная система убивает своих граждан, неспособных работать, и негласно объявляя их своими врагами. Шовинизм национальный бледнеет перед шовинизмом возрастным. Один из наиболее ценных членов общества легко перешел в категорию откровенного социального мусора, когда «не стало сил говорить с кафедры», «вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией», а также не оказалось сил «в переполненном метро ехать к первой паре».

Не случайно Галахова так начинают интересоваться бомжи, как люди социально и психологически ему близкие. Он стал присматриваться к жизни бомжей: «Как собирают жестяные банки, кладут на землю, каблуком уминают, складывают в мешок, куда сдают, сколько стоит. Перчатки, дырявые на пальцах, и большая сумка, чтоб рыться в мусорных баках». Однако и в этом мире профессору Галахову не находится места, чтобы быть бомжом, также нужен определенный уровень социализации, но и здесь общество окончательно отказалось от профессора Галахова. Конечно, он осознает, что его положение изгоя – лишь венец той жесточайшей эксплуатации интеллигенции, которой было занято наше государство начиная с середины 1920-х годов, к сожалению, продолжая это и теперь. Так, обладавший высокой по прежним меркам социальной ценностью профессор обратился в своем родном государстве в человека, не нужного никому, обретая социальное положение человека «без определенного положения в обществе» – опасное и тяжелое положение изгоя.

Рассказ Кантора заставляет усомниться в том, что у нас есть некое гражданское общество. Налицо лишь большой чиновничий аппарат, который с трудом контролирует самого себя и остальных – толпу морально разобщенных людей, неспособных найти друг с другом общий язык. Их примиряет взаимная злоба и полицейская дубинка, когда они заходят «не туда», поэтому «без приказа в России ничего не делается», размышляет Галахов. Однако слишком жесткое ограничение снаружи заставляет человека все меньше ограничивать себя изнутри. Однако Михаил Бахтин открыл закон, по которому нельзя себя любить, можно лишь проецировать любовь другого на себя или моделировать ее в виде предположения. Однако чем выше уровень сознания человека, тем большие усилия он должен потратить на любовь к другим, что того чтобы получить отраженный от них свет любви. Каждый человек становится либо рефлексором, который щедро отражает полученный от окружающих свет любви, либо темным матовым пятном, которое поглощает все, ничего вовне не отражая. В своем рассказе Кантор раскрывает эту феноменологию отраженной любви Другого, описывая, как, будучи подростком, Павел ходил встречать свою мать, держа в руках раскрытый перочинный ножик, чтобы отражать возможное нападение на нее, хотя, разумеется, никто бы он этим ножичком не поранил. Вырисовываются два взаимодополняющих свойства интеллигента: повышенное чувство ответственности, заставляющее его постоянно унижать себя перед другими, и высокая энергетика любви, требующей признания как отраженного от других света. Жизнь для Галахо-

ва есть творчество, а творчество — любовь, отлитая в действие и целенаправленно передаваемая другому. Колоссальный запас любви, свойственный человеку типа Галахова, либо порождает великие шедевры — принимаемые или не принимаемые обществом, либо уходит в странные донкихотские поступки, выражающие неизбывную силу бытия, сфокусированного во взгляде человека на окружающую его действительность. Поэтому Галахов, мучимый «чувством бесконечной ответственности», чувствовал себя «мужчиной по имени Золушка». Страх за другого и презрение к своим интересам и проблемам своего физического существования связаны здесь воедино: ведь, по мнению интеллигента, любой другой человек априорно значительно важнее и ценнее для Мироздания, чем мое личное «я».

Кантор формулирует в своем рассказе идею об интеллигенте как человеке, пребывающем в страдательном залоге. Его свобода ограничена, его возможности сужены, его отношение к миру ограничено многими условиями, довольно часто — невыполнимыми. Но происходит это вовсе не от какой-то ущербности или недостаточности, скорее, наоборот: от осознания себя точкой зрения на мир, которая скрывает в себе огромные возможности. Специфическая узость, выраженная в системе самоограничений, идет от внутренней широты и осознания в себе больших внутренних ресурсов. Человек, который ничем и никак не хочет ограничивать других, начинает ограничивать себя, создавая для себя многочисленные рамки и пределы. Напротив, «гоминид», как морально беспредельный человек, которому «все позволено», готов унижить или уничтожить Другого, полагая, что центр Мироздания находится лично в нем самом. На самом же деле любовь к себе невозможна, и потому канторовский интеллигент оказывается в ситуации, когда ему никто и ничего не должен, в это число входят и его дети, в то время как сам оказывается должен всем: «о себе не думал, думал, что сам всем обязан, а потому по мере сил надо отдавать долги...»

Мещане уверены в том, что все им должны, и, постоянно испытывая чувство зависти, живут под лозунгом «Тебе-то хорошо!» Интеллигент все время думает, что другому хуже, чем ему, стремится всем помочь, переживая острое чувство стыда за недостаточность своих добрых дел: «Мне-то хорошо, а вот тебе каково...» В работе этого механизма количество денег у того или иного человека не имеет здесь никакого значения, подчеркивает Кантор. Моральные ценности не измеряются деньгами, и потому богатый человек с низким уровнем самосознания постоянно ощущает себя нищим. Вот и брат Галахова деньгами «ворочал немалыми, но Павла все время упрекал: “Тебе хорошо, ты живешь на зарплату, ежемесячно получаешь день-

ги через кассу и ни о чем не заботишься. Попробовал бы ты жить, как я! У меня нет гарантированной зарплаты”. Теперь Павел получал гарантированную пенсию, а брат, став типичным русским миллионером, перебрался в Лондон, где собирались российские олигархи». Вспоминается Макар Девушкин из романа Достоевского «Бедные люди», человек, морально и материально весьма близкий Галахову, который указывал, что нехорошо, когда все обитатели большого капитального дома видят во сне свои новые сапоги. Это плохой признак для нашего общества, поглощенного набиванием утробы и уверенного, что кроме краткого мига биологического существования никакого иного бытия нет, а высшей ценностью бытия является спуск с альпийской горы на лыжах хорошей фирмы. Следует признать, что интеллигенция не смогла в XX веке победить марксизм. Казалось бы, он потерпел поражение как идеология большевизма, однако сохранился как анонимная религия и общественное кредо в сегодняшние дни, ведь фактически за идеологией «гламура» стоит Полное собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Действия людей, особенно нашей социальной верхушки, исходят из базовых идей марксизма: человек есть биологическое тело, вне которого нет ничего, жить нужно по экономическим законам, а не по законам морали, «мое» априорно ценнее «чужого» и пр.

Известны классические примеры зверской эксплуатации: рабы в Древнем Риме, негры на плантациях Америки в XVIII веке, крепостные крестьяне в России. Однако римские рабы или насильно привезенные в Америку африканцы имели пусть призрачные, но некие шансы на освобождение, например, можно было бежать. В конце концов, какой-нибудь добродетельный хозяин мог даровать им свободу. Русская интеллигенция сегодня, олицетворенная пенсионером Галаховым, лишена таких перспектив. Привязанность к своей доле здесь намного прочнее, чем клеймо и ошейник римского раба — это чувство долга по отношению к своему делу, служению которому он обязан посвятить свою жизнь. Здесь никаких шансов на изменение участи, так как интеллигент и помыслить ни о чем другом не может, и ни на какую другую не согласится. Следование кодексу чести по-прежнему превышает все возможные опасности и должно быть гарантировано самой жизнью. Так жили миллионы русских интеллигентов — и когда были правы в своей идее, и когда ошибались. Так живет и Галахов. Однако жизнь, лишенная творчества, лишена и смысла, ведь ты не можешь никому сделать добро, и нет никого, кто мог бы сделать это добро для тебя. Фундаментом существования таких людей как Галахов является любовь, которую он, как мог, дарил и, как мог, принимал. Лишенный любви, герой

Кантора умирает. Даже и не от болезней, а скорее от отчаяния — понимания того, что он совершенно один, брошенный всеми, и его личная жизнь, отсоединенная от всего того, что он считал жизнью, обратилась в смерть.

Однако насколько скверна смерть, настолько же полезна мысль о конечности земного бытия. Кантор указывает, что потеря чувства близости смерти в обществе чревата потерей правильного ощущения бытия. Галахов переживает это как свою личную трагедию: «Глядя на смеющегося старика, работягу, засовывающего в карман бутылку водки и торопящегося на пьянку, женщин, рассуждающих о каких-то покупках, больных в поликлиниках, человека, радующегося обновке, он все время воображал, что все они живут как для вечности, а на самом деле для дурацких пяти минут». Вечность, однако, зиждется на любви к ближнему, а для нее как раз нет времени у людей, судорожно зарабатывающих и тратящих свои цифры с нулями, а «вечность нельзя сложить из льда, сотворить ее ледяным холодным сердцем. Она требует сердечного тепла. В той мере, в какой она возможна, она создается временно, любящим сердцем». Стало быть, для построения вечности нужен «другой», обративший на тебя свой любящий взгляд. Придя к этой мысли, Галахов приютил у тебя бездомную собаку, которая, как и он, оказалась одна в этом мире, состоящем из холодных мертвых людей-автоматов, тупо зарабатывающих деньги для того, чтобы обеспечить себе пышные похороны. Глядя на свою собачку Августу, которую он подобрал на улице, Галахов, не без самоиронии, вспоминает старика Смита из «Униженных и оскорбленных» Достоевского, который грустно стоял, сам не зная зачем, на 6-й линии Васильевского острова, со своей умирающей собакой Азоркой.

Свет, исходящий от таких людей как Галахов, отнюдь не всегда достигает великого смысла бытия и отливается в какой-то значимый артефакт, например, в виде научного открытия, картины, книги или знаменитой скульптуры. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы творческий продукт имел шансы быть воспринятым другими. Горящий в печи кусок дерева может обогреть дом, но такой же кусок дерева может истлеть в безвестности где-то в глухом лесу или сгореть во время пожара, никому не принеся радости или пользы. Уровень общественной зрелости определяется тем, насколько готовы «начальники», избранные или не избранные, понять этот закон. Шельмуя интеллигенцию и систематически унижая людей, обладающих самым высоким уровнем самосознания, общество подписывает себе смертный приговор, продолжая дело, за которое боролся еще И.В. Сталин — выбить из народа способность соображать, для

чего он существует и что в связи с этим ему на земле делать. «Россия скоро захрапит под стеганым одеялом мещанства», — предупреждал Е.И. Замятин.

Это моральное самоубийство страны, намекает В. Кантор, будет происходить до тех пор, пока в обществе не возникнет отчетливого понимания того, что идеалом не может служить пошлость типа пресловутого «гламура», общественную ценность обретет высокий уровень образования и самосознания, достоинство творческой личности и позиция должностования по отношению к окружающим. Этим страна может спастись — не как политико-географическое, но как культурно-историческое образование. А заодно, естественно, легко и в продолжение оно, будет решен и вопрос о стариках, выходящих на пенсию. Ведь гибель интеллигенции происходит у нас не по принципу исчезновения вида редких животных, занесенных в Красную книгу. Она происходит, показывает Кантор, из-за резкой потери обществом уважения к знаниям и тем людям, которые их несут и сохраняют. Это приводит в массовому безумию, выраженному в торжестве идеи животных радостей и мещанского благополучия. Моральная ситуация в стране такова, что нет предпосылок для сохранения обществом лучших своих людей, а доминируют, мягко говоря, не самые достойные. Идет жесткий отбор — чем ты лучше, тем тебе хуже, и наоборот, становись гоминидом, если хочешь выжить. При всей этой ситуации есть определенный слой людей, которые неспособны изменить себе и предпочитают смерть в безвестности, до конца оставаясь верны тому чувству долга, который в себе носят.

Стремление человека прилепиться к «цивилизации» есть самообман, сама по себе цивилизация никого и ни от чего не спасает, в лучшем случае дает некие материальные блага, на фоне которых трагедия одиночества человека выступает еще более ясно. В финале рассказа Кантора мы видим забытого и брошенного всеми старика со своей беспородной собакой, единственным живым существом, которому он нужен. Вся эта сцена разворачивается на фоне монитора компьютера, откуда им получен очередной e-mail. Прозрачная символика о немощи гомо сапиенс в своей новой истории, человека, который пишет книгу о великом переселении народов и, одновременно, ищет вокруг себя предметы, которые могли бы помочь ему доползти до туалета. Если каждое живое существо на планете выражает смысл существования биосферы, то путь человека к ноосфере, очевидно, зашел в тупик. Мы становимся похожи на общество, которое производит все больше и больше автомобилей, перестав строить и даже уничтожив все дороги, по которым на этих автомобилях можно ездить. В таком варианте мир становится

неуютным в пределах трехкомнатной квартиры в центре Москве со всеми удобствами, с компьютером и Интернетом. Ужас и стыд перед собой, прожившим жизнь и недостаточно полно выполнившим свою жизненную задачу, усугубляет предсмертные мучения героя рассказа. Вспоминается кошмар конечности человеческой жизни, который был описан Андреем Платоновым в страданиях инженера Прушевского, стоящего перед своей «стеной». Он отчетливо видел конец своей жизни: повернуться к стене и умереть, не успев заплакать. В отличие от него, герой Кантора успевает оплакать трагедию «совершенно непонятно зачем прожитой жизни». Это слезы не о том, что он больше никогда уже не будет «нужен обществу», и не о том, что различные «радости жизни» ему будут более недоступны. Эти слезы — о том, что не было сделано за жизнь, и что было бы должно сделать.

Высшая справедливость в рассказе Кантора торжествует, и если в начале рассказа тело стареющего человека размещается соплеменниками на дереве, с целью выяснения его сощпригодности, то в финале произведения его душа, освобожденная от необходимости такого экзамена, может как птица «присесть на ветке», недалеко — и вместе с тем бесконечно далеко — от своей могилы. Ведь если и в этом случае кому-то придет в голову потрясти дерево, она просто взмахнет крыльями и улетит. Галахов освобождается от своей измученной плоти как от беременной, сохраняя в незыблемости полную любви и полноты жизни точку видения мира. Вечность вступает в свои права в заключительных фразах рассказа, осмысленное видение мира с точки зрения человека, лишённого своего тела, описывается как обыденная документальная реальность. Галахов с грустной иронией наблюдает за собственными похоронами, где разные люди говорят всевозможные приличные моменту вещи, как обычно, более или менее глупые. Его жизнь, как очевидно, окончена. Но бытие, со всей очевидностью, продолжается.

Об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор Школы философии того же университета, член редколлегии журнала «Вопросы философии», литературный стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных литературных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, дважды входил в шорт-лист премии Бунина, историк русской культуры, автор более 700 опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). Последний роман «Помрачение» — лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2014), лонг-лист премии «Русский Букер» (2014). Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005 г.) парижским журналом «Le nouvel observateur (hors serie)», вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьёва». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора

ПРОЗА

- ДВА ДОМА. Повести. М.: Советский писатель, 1985.
КРОКОДИЛ. Роман // Нева. 1990. № 4.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.
ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.
ПОЕЗД «КЁЛЬН—МОСКВА». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.
МУТНОЕ ВРЕМЯ. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.
КРЕПОСТЬ. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. № 6, 7.
ЧУР. Роман-сказка. М.: Московский философский фонд, 1998.
СОСЕДИ. Повесть // Октябрь. 1998. № 10.
ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ. Повесть и рассказы. М.: Московский философский фонд. 2000.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повесть // Октябрь. 2002. № 9.
КРОКОДИЛ. Роман. М.: Московский философский фонд. 2002.
ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс-Традиция. 2003.
КРЕПОСТЬ. Роман. М.: РОССПЭН, 2004. (Письмена времени).
KROKODYL. Roman. Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. Warszawa: Dialog, 2007.
ГИД. Повесть // Звезда. 2007. № 6.
СОСЕДИ. Арабески. М.: Время, 2007.

KROKODILL: Roman. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3–5.

СМЕРТЬ ПЕНСИНЕРА: Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.

СТО ДОЛЛАРОВ. Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.

ZWEI ERZÄHLUNGEN. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.

НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО. Повествования. М.: Летний сад. 2012.

MORTE DI UN PENSIONATO. Venezia-Mestre: Amos Ediziooni. 2013 per la tradizione Emilia Magnanini.

ПОМРАЧЕНИЕ. Роман. М.: Летний сад, 2013.

ПОМРАЧЕНИЕ. Роман // Волга. 2014. № 1–4.

КРЕПОСТЬ. Роман. Второе издание (восстановленное). М.: Летний сад, 2015.

ЗАПАХ МЫСЛИ. Повесть. Журнал «Слово-Word». New-York, № 84. 2014 год. http://promegalit.ru/public/10815_vladimir_kantor_zapakh_mysli_povest.html

EXISTUJE BYTOST ODPORNĚŠI NEŽ ČLOVĚK? (Tři novely). Přeložila i posleslovije Alena Moravkova. Izdatel: Rybka Publisher, Praga, 2014, 157 stranic. Obložka: Vincent van Gogh, Starik.

КАНТОР В., КОРМЕР В. ПОСЛАННЫЙ В МИР (Н.Г. Чернышевский). Киносценарий // Волга – XXI век. Саратов. 2015. № 3–4. С. 135–164.

НЕЖИТЬ. Повесть // Нева. 2017. № 8.

IL COCCODRILLO. Romanzo. Per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia-Mestre: Amos Edizioni. 2018.

ЧУР. Роман-сказка // Волга – XXI век. Саратов. № 11–12, 2017, № 1–2, 2018.

ПОХОРОНЫ ДЕДА АНТОНА. Новелла // Нева. 2018. № 11.

МОНОГРАФИИ

РУССКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА. М.: Искусство, 1978.

«БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф. ДОСТОЕВСКОГО. М.: Художественная литература, 1983.

«СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...» Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.

В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ РУССКОЙ КЛАССИКИ. М.: Московский философский фонд, 1994.

«...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА». РОССИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ. Исторические очерки. М.: РОССПЭН, 1997.

ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА. Культурфилософские очерки. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

RUSIJA JE EVROPSKA ZEMIJA. Mukotrpan put ka civilizaciji. Prevela s ruskog Mirjana Grbić. Beograd, 2001. (Biblioteka XX vek).

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). М.: РОССПЭН, 2001.

РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.: РОССПЭН, 2005. (Российские Пропилеи).

WILLKÜR ODER FREIHEIT? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie / Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2006.

МЕЖДУ ПРОИЗВОЛОМ И СВОБОДОЙ. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Россия. В поисках себя...).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ХАОСА. М.: РОССПЭН, 2008. (Российские Пропилеи).

DAS WESTLERTUM UND DER WEG RUSSLANDS. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie / Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.

«СУДИТЬ БОЖЬЮ ТВАРЬ». ПРОРОЧЕСКИЙ ПАФОС ДОВОЕНСКОГО. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Российские Пропилеи).

«КРУШЕНИЕ КУМИРОВ», ИЛИ ОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Российские Пропилеи).

ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ, МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Очерки. М.: Научно-политическая книга, 2013. (Актуальная культурология).

РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 (Российские Пропилеи).

DOSTOEVSKIJ, NIETZSCHE E LA CRISI DEL CRISTIANISMO IN EUROPA / per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia-Mestre: Amos Edizioni. 2015. 68 p.

ПОСРЕДИ ВРЕМЕН, ИЛИ КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ. Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2015. (Письмена времени).

КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ. Путешествия во времени и пространстве. Книга эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2016. (Письмена времени).

«СРУБЛЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ». Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. (Российские Пропилеи).

ИЗОБРАЖАЯ, ПОНИМАТЬ, ИЛИ SENTENTIA SENSU: философия в литературном тексте / В.К. Кантор. М.; СПб.: ЦГИ Принт, 2017. (Российские Пропилеи).

НА КРАЮ НЕБЫТИЯ. Философические повести и эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018.

СБОРНИКИ

РУССКАЯ ЭСТЕТИКА И КРИТИКА 40–50-х ГОДОВ XIX ВЕКА. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. (История эстетики в памятниках и документах).

ГЕРЦЕН А.И. ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ / Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987. (История эстетики в памятниках и документах).

КАВЕЛИН К.Д. НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ. Статьи по философии русской истории и культуры / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой. М.: Правда, 1989. (Из истории отечественной философской мысли).

МЕТАМОРФОЗЫ АРТИСТИЗМА / Составление, предисловие [статья] В.К. Кантора. М.: РИК, 1997.

СТЕПУН Ф.А. СОЧИНЕНИЯ / Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. (Из истории отечественной философской мысли).

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН. Сборник / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2009. (Философия России второй половины XX века).

СТЕПУН Ф.А. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. (Социальная мысль России).

ГЕРЦЕН А.И. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ / Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2010. (Библиотека общественной мысли).

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. Сборник / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2012. (Философия России первой половины XX века).

ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ. Сборник / Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2012. (Философия России первой половины XX века).

СТЕПУН Ф. ПИСЬМА / Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2013. (Российские Пропилеи).

СТЕПУН Ф. БОЛЬШЕВИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ. Избранные сочинения / Составление, комментарии и послесловие В.К. Кантора. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. (Письмена времени).

Указатель имен

- А**
Августин Блаженный Аврелий 14, 17, 18, 70, 151, 191
Авдотья, царица
 см. Евдокия Фёдоровна
Аверинцев Сергей Сергеевич 18, 19, 21
Агранов Яков Саулович 319
Адамович
 Георгий Викторович 27
Адлер Фридрих 140, 148
Айхенвальд Юлий Исаевич 187
Аксаков Иван Сергеевич 33, 34, 85
Аксаков Сергей Тимофеевич 85, 179, 200
Аксаковы 48
Алданов
 (наст. фамилия Ландау)
 Марк Александрович 150, 163, 164, 236–239
Александр II, имп. 27, 61, 62, 86, 116, 117, 119, 293, 294, 299
Александр III, имп. 213, 300
Александр Македонский 16, 190
Алексеев Михаил Васильевич 201
Аллер Андрей 42
Андреев Леонид Николаевич 140, 149, 170, 303
Анненков Павел Васильевич 34, 41, 87, 88
Анненский
 Иннокентий Фёдорович 263, 264
Антонов Василий Фёдорович 119, 291
- Арендт Ханна 148
Арина Родионовна
 см. Яковлева А.Р.
Аристид Справедливый 24
Аристотель 19, 64, 65, 251, 292
Арминий 273
Ахматова Анна Андреевна 9, 22, 28, 241, 245, 247, 258
- Б**
Бабель Исаак Эммануилович 210–212
Бабёф Гракх
 (наст. имя Франсуа Ноэль) 8
Багрицкий
 (наст. фамилия Дзюбин)
 Эдуард Георгиевич 230
Бакунин
 Михаил Александрович 31, 48, 49, 60–62, 79, 82–84, 94, 95, 117–119, 121, 182, 183, 189, 191, 196, 234, 262, 294
Бальмонт
 Константин Дмитриевич 231
Басинский Павел Валерьевич 229
Баткин Леонид Михайлович 247
Батый (Бату) 289
Бах Иоганн Себастьян 315
Бахтин Михаил Михайлович 73, 271, 284, 352, 362, 365, 369
Бедный Демьян
 (наст. имя Е.А.Придворов) 230, 274
Бейлис Менахем Мендель 201
Бёклин Арнольд 243

- Белинский
Виссарион Григорьевич
42, 48, 66, 78–83, 105–108,
111, 120, 136
- Белов Василий Иванович 26
- Белый Андрей
(Борис Николаевич Бугаев)
131, 132, 231, 244, 249, 258
- Бем Альфред Людвигович 33
- Бёме Якоб (Яков) 360
- Беранже Пьер Жан 85, 169
- Бердяев
Николай Александрович
25, 29, 108, 140, 143–145, 150,
171, 192, 193, 197, 240, 241,
243, 268, 269, 273, 274, 282
- Берковский Наум Яковлевич
50
- Берлин Исая 193
- Бернштейн Эдуард 224
- Бессчетнова Елена Валерьевна
285
- Бибихин
Владимир Вениаминович 292
- Бинсвангер Людвиг 8
- Бицилли Пётр Михайлович 28
- Бичер-Стоу Гарриет Элизабет
85
- Блаватская Елена Петровна 77
- Блок Александр Александрович
89, 216, 238, 243, 244, 305,
306, 308
- Бонапарт Наполеон
см. Наполеон I
- Борджа (Борджа) Чезаре 173
- Боткин Василий Петрович 66,
80, 82
- Брейгель Старший Питер 142,
152, 166, 334
- Брешковская,
Брешко-Брешковская
Екатерина Константиновна 150
- Брик Лиля Юрьевна 318, 319
- Брик Осип Максимович 318
- Бруно Джордано 298
- Брусилов Алексей Алексеевич
201
- Брут Марк Юний 23
- Брюсов Валерий Яковлевич
153, 247, 257, 282, 283
- Будберг Мария Игнатьевна
222, 237
- Булгаков Михаил Афанасьевич
92, 222, 223, 256, 355
- Булгаков Сергей Николаевич
108, 192
- Булдаков
Владимир Прохорович 158
- Бунин Иван Алексеевич 8, 9,
22, 25, 39, 64, 89, 143, 147,
162, 173, 176, 181, 229, 237,
257, 267
- Бухарев Александр Матвеевич
(Феодор) 69, 295
- Бьюкенен Джордж Уильям 218
- В**
- Вебер Макс 154, 155
- Вейдле Владимир Васильевич
64
- Виардо, Виардо-Гарсия Полина
49
- Виланд Кристоф Мартин 43
- Вильмонт Николай Николаевич
47
- Виндельбанд Вильгельм 177
- Винкельман Иоганн Иоахим 42
- Витгенштейн Людвиг 63, 164,
165
- Витте Сергей Юльевич 154
- Вишневский
Всеволод Витальевич 214
- Вишняк Марк Вениаминович
159, 312
- Влади Марина 181
- Владимир I Святой, вел. кн.
121, 135, 136, 141, 150, 169,
170, 183–187, 189–197, 288,
290, 296
- Волошин
Максимилиан Александрович
144, 170
- Волошина
(урожд. Сабашникова)
Маргарита Васильевна 257
- Волынский Аким Львович 182
- Востоков
(наст. фамилия Остенек)
Александр Христофорович
45
- Высоцкий
Владимир Семёнович 181
- Вяземский Пётр Андреевич
101, 112
- Вяльцева
Анастасия Дмитриевна 270
- Г**
- Гакстгаузен Август фон 45
- Галахов Иван Павлович 187
- Ганнибал (урож. Пушкина)
Мария Алексеевна 34
- Ганнибал Барка 91
- Гаршин Всеволод Михайлович
149
- Гачева Анастасия Георгиевна
184
- Ге Николай Николаевич 63
- Гегель Георг Вильгельм
Фридрих 17, 20, 40, 46, 48,
49, 64–66, 78, 151, 262, 292
- Гейне Генрих 79, 85
- Гендель Георг Фридрих 315
- Гераклит Эфесский 147
- Гервег Георг 187, 193
- Гердер Иоганн Готфрид 43
- Герцен Александр Иванович
(псевд. Искандер) 14, 20, 31,
46, 48–50, 55, 57, 63, 66, 68,
70, 79, 87–94, 96, 110, 111,
- 121, 135, 136, 141, 150, 169,
170, 183–187, 189–197, 288,
289
- Герцен Елизавета
Александровна 183, 197
- Герцен (урожд. Захарьина) На-
талья Александровна
187, 193
- Герцен Наталья Александровна
190, 197
- Гессе Герман 248
- Гессен Сергей Иосифович 270
- Гёте Иоганн Вольфганг 27, 44,
46, 49, 50, 52, 53, 65, 66, 227,
256, 262, 264, 292
- Гильфердинг
Александр Фёдорович 45
- Гинденбург Пауль фон 224
- Гиппиус Зинаида Николаевна
148, 202, 212, 213, 227, 228,
232, 243
- Гитлер Адольф 139, 170, 177,
178, 255, 256, 273, 304
- Глюк Кристоф Виллибальд 315
- Гоббс Томас 169
- Гоголь Николай Васильевич
41, 42, 45, 47, 105–108, 110,
126, 132, 136, 153, 157, 183,
190, 199, 204, 224, 225, 287,
291, 303, 355
- Годнев Иван Васильевич 201
- Гоя Франсиско Хосе де 141,
146, 147, 149, 162, 163
- Голодный
(наст. фамилия Эпштейн)
Михаил Семёнович 230
- Гомер 42
- Гончаров Иван Александрович
49, 200
- Гордин Яков Аркадьевич 37
- Городова Мария Александровна
224

Горький Максим
(Алексей Максимович
Пешков) 168, 169, 179, 222,
226–234, 236–239, 256, 257,
274, 354
Гофман Макс 224
Гофман Эрнст Теодор Амадей
46
Грановский
Тимофей Николаевич
48, 136, 183, 190
Григорович
Дмитрий Васильевич
67, 113, 200
Грин Александр Степанович
10, 11
Громека Степан Степанович 85
Гроссман Леонид Петрович
94, 182
Гумилёв Николай Степанович
319, 359
Гурвич-Лицинер
Софья Давыдовна 183
Гуссерль Эдмунд 162, 164
Гутенберг Иоганн 282
Гучков Александр Иванович
201
Д
Давыдов Денис Васильевич 200
Даль Владимир Иванович 45
Даль Иоганн (Йохан) Христиан
(Johan Christian von Dahl) 45
Данилевский
Александр Алексеевич 108
Данте Алигьери 27, 32, 124–127,
133
Дантес Жорж Шарль 37, 38
Дашкова Екатерина Романовна
28
Дельвиг Антон Антонович 34
Демченко Адольф Андреевич
286

Деникин Антон Иванович
216, 218
Диккенс Чарлз 65
Диоклетиан, имп. 186
Добролюбов
Николай Александрович
55, 65, 87, 114, 291, 292
Дойл Артур Конан 59, 294
Долинин Аркадий Семёнович
183, 184
Достоевская (урожд. Сниткина)
Анна Григорьевна 184
Достоевский
Федор Михайлович 9, 26,
27, 31, 32, 40, 41, 45, 46, 63,
65, 67, 68, 70, 73, 81, 85–88,
94, 101, 102, 104–111, 113–
115, 117, 120–124, 126–128,
130–138, 143, 144, 158, 167,
170–173, 182–184, 186, 187,
189–190, 192–198, 204, 227,
228, 231, 233, 234, 241, 244,
264, 268, 270, 271, 274, 279,
282, 287, 289, 298, 301–303,
313–316, 318, 354, 360, 362,
363, 365, 371, 372, 375
Дружинин
Александр Васильевич 113
Духонин Николай Николаевич
165
Дюма Александр (Дюма-отец)
189, 270
Е
Евдокия Фёдоровна, царица
(урожд. Авдогья Илларионовна
Лопухина) 8
Евлампиев Игорь Иванович
127
Екатерина II Великая, имп.
28, 42, 45, 50, 223
Еропкин Пётр Михайлович
29

Есенин Сергей Александрович
206
Ж
Жеребин Алексей Иосифович
165
Жорес Жан 140, 148
Жуковский Василий Андреевич
25, 42
З
Зайцев Борис Константинович
49, 241, 274
Замятин Евгений Иванович
314, 315, 373
Зиновьев Григорий Евсеевич
274
И
Иван I Калита, вел. кн. 30
Иван III, вел. кн. 29
Иван IV Грозный, царь 31, 164,
247
Иванов Александр Андреевич
63
Иванов Вячеслав Иванович
247–250, 254, 269, 272, 274,
275, 278, 282
Иванов Иван Иванович 184
Иванова Лидия Вячеславовна
243
Ильф Илья Арнольдович 223
Иоанн Богослов 146, 163, 314
Искандер
см. Герцен А.И.
К
Кабе Этьен 105
Кавелин
Константин Дмитриевич
28, 55
Кайсаров Андрей Сергеевич 42
Каменев
(наст. фамилия Розенфельд)
Лев Борисович 274
Камков Борис Давидович 159

Камю Альбер 170
Канетти Элиас 144, 172, 304,
305, 310, 311
Каннегисер
Леонид Иоакимович 205, 211
Кант Иммануил 20, 43, 49, 52,
62, 64, 65, 72, 120, 179, 251,
292
Кантор (Kantor) Владимир
Карлович 54, 64, 69, 127,
183, 242, 284–287, 359–365,
368–370, 372–375
Карамзин
Николай Михайлович
42–44, 200
Карл Великий 19, 44
Карлейль Томас 41
Карпов Герман Михайлович 29
Каррер д'Анкосс Элен 150
Карсавин Лев Платонович
242, 254
Катков Михаил Никифорович
76–91, 93–103, 182, 288
Каткова (урожд. Тулаева)
Варвара Акимовна 79
Каткова (урожд. Шаликова)
Софья Петровна 84, 85
Катц (Katz) Мартин 82
Керенский
Александр Фёдорович
156, 200–203, 205–207,
209–214, 216–225
Керенский Фёдор Михайлович
200
Кёстлер (Koestler) Артур
146, 163
Киров
(наст. фамилия Костриков)
Сергей Миронович 274
Киселева Марина Сергеевна 30
Ключевский
Василий Осипович 35

- Ковалевский
Павел Михайлович 100
- Коковцев (Коковцов)
Владимир Николаевич 155
- Кокосов Владимир Яковлевич
300
- Колчак Александр Васильевич
201
- Кондорсе Мари Жан Антуан
Никола 143
- Коновалов Александр
Иванович 201
- Константин I Великий, имп.
22, 30
- Константин Николаевич,
вел. кн. 98
- Коржавин Наум Моисеевич
161, 277
- Кормер Владимир Фёдорович
286, 287
- Корнилов Лавр Георгиевич
209, 216, 217, 224
- Короленко
Владимир Галактионович
230, 299–301
- Костомаров
Всеволод Дмитриевич 58, 59,
294, 298
- Краевский
Андрей Александрович
80, 292
- Крамской Иван Николаевич
63
- Кропоткин Пётр Алексеевич
294–295
- Крупская
Надежда Константиновна
178, 179
- Крыленко Николай Васильевич
159, 165
- Куприн Александр Иванович
203
- Курочкин Василий Степанович
85
- Кьеркегор Сёрен 78
- Кюстин Астольф де 133
- Л**
Лавуазье Антуан Лоран 142
- Лебедева Галина Николаевна 98
- Лебон Гюстав 144, 145, 173, 178
- Ленин (Ульянов) Владимир
Ильич 9, 59, 70, 71, 86, 89,
104, 117, 121, 144, 145, 149,
150, 153, 154, 156–158, 162,
165, 169, 173–178, 198, 200,
201, 212, 213, 216, 222–224,
234, 236, 237, 256, 267, 268,
274, 294, 310, 311
- Леонтьев
Константин Николаевич
63, 76, 285, 287
- Леонтьев Павел Михайлович
85, 97
- Лермонтов Михаил Юрьевич
38, 41
- Лесков Николай Семёнович
63, 69, 85, 101, 102, 179, 184
- Лессинг Готхольд Эфраим
65, 66, 286, 292
- Ллойд Джордж Дэвид 218
- Лойола Игнатий 59
- Локкарт Роберт Гамильтон
Брюс 222
- Ломоносов Михаил Васильевич
22, 23, 28
- Лондон Джек 272
- Лопатин Герман Александрович
190
- Лоренц Конрад 139, 148
- Лосев Алексей Фёдорович 109, 292
- Лугин Н. см. Степун Ф.А.
- Луначарский
Анатолий Васильевич
159, 230, 231, 247, 311
- Львов Владимир Николаевич
201
- Львов Георгий Евгеньевич 201
- Льюис Клайв Стейплз 73, 296
- Людендорф Эрих 224
- Людовик XIV, франц. король 24
- М**
Маглий Анна Дмитриевна 54
- Майков Аполлон Николаевич
85
- Макиавелли Никколо 19, 172,
173
- Мамардашвили
Мераб Константинович
57, 160
- Мангейм (Манхейм) Карл 62
- Мандельштам Осип Эмильевич
21, 28, 158, 221, 364
- Манн Клаус 256, 257
- Манн Томас 42, 164, 176, 253,
277
- Мануйлов
Александр Аполлонович 201
- Маринетти Филиппо Томмазо
249
- Маритен Жак 178
- Марк Аврелий, Аврелий Марк
Антонин 19
- Маркс Карл 46, 64, 117, 118,
144, 159, 169, 234, 276, 290,
371
- Мартинсен Дебора 133
- Мартынова (Данилова)
Елизавета Сергеевна 286
- Маяковский
Владимир Владимирович
11, 153, 160, 169, 207, 214,
244, 249, 250, 256, 257, 310,
311, 317–319
- Мельгунов Сергей Петрович 176
- Мельников-Печерский
Павел Иванович 85
- Мендельсон,
Мендельсон-Бартольди
Феликс 315
- Мень Александр Владимирович
181
- Меньшиков Михаил Осипович
168, 169
- Мережковский
Дмитрий Сергеевич 27, 164,
177, 231
- Мещерский Николай Петрович
96
- Милль Джон Стюарт 64, 118,
290
- Милюков Павел Николаевич
64, 126, 201, 202, 207
- Минин Кузьма Минич 77
- Михаил Александрович,
вел. кн. 201, 202
- Михайловский
Николай Константинович 46
- Мицкевич Адам 31, 32, 35
- Молотов
(наст. фамилия Скрябин)
Вячеслав Михайлович 274
- Монтескьё Шарль Луи 17, 18,
23, 156
- Моцарт Вольфганг Амадей 315
- Муравьёв Михаил Николаевич
99
- Муссолини Бенито 139, 170,
256, 273
- Н**
Набоков
Владимир Владимирович
107, 108, 357, 358
- Наполеон I Бонапарт 142, 186,
201, 204, 205, 209
- Некрасов Николай Алексеевич
66, 67, 99, 288, 292, 293
- Некрасов
Николай Виссарионович 201

- Непомнящий
Валентин Семёнович 33
- Нечаев Сергей Геннадьевич
94, 95, 117–119, 121, 173,
182–185, 189, 190, 196, 234
- Никитенко
Александр Васильевич
135, 136, 288, 290, 291
- Николай I, имп. 27, 29, 57, 62,
118, 135, 294
- Николай II, имп. 140, 156, 217,
218, 223
- Ницше Фридрих 46, 141, 164,
231, 236, 255, 276
- Нольте Эрнест 198
- О**
- Огарёв Николай Платонович
82, 89, 91–94, 185, 187, 189,
192, 196, 288
- Огарёва (урожд. Рославлева)
Мария Львовна 82, 187
- Огарёва (урожд. Тучкова)
Наталья Алексеевна 197
- Оппенгеймер Роберт 179
- Орлова, Орлова-Копелева
Раиса Давыдовна 185
- Ортега-и-Гассет Хосе 144, 243
- Островский
Александр Николаевич 291
- Островский
Николай Алексеевич
272, 354
- Оуэн Роберт 105
- Оцуп Николай Авдеевич 241, 242
- П**
- Павел, апостол 163
- Павлов Николай Михайлович
93, 94
- Павлов-Сильванский Николай
Павлович 41
- Палей Владимир Павлович
148, 213
- Палей Ольга Валериановна
213, 214, 218
- Палеолог Морис 222
- Палладио Андреа 31
- Панаев Иван Иванович 292
- Панаева Авдотья Яковлевна 67
- Панина Варвара Васильевна
270
- Паперно Ирина Ароновна
63, 291
- Парчевский
Константин Константинович
365
- Пассек Татьяна Петровна 79
- Пастернак Борис Леонидович
211, 212
- Перов Василий Григорьевич 132
- Пёрселл Генри 315
- Пётр I Великий, имп. 8, 22–25,
27–30, 32, 34–36, 42, 44, 49,
78–80, 132, 209, 289
- Пётр, митрополит 130
- Петраков Николай Яковлевич 37
- Петрашевский
(БуташевичПетрашевский)
Михаил Васильевич 105
- Петров (наст. фамилия Катаев)
Евгений Петрович 223
- Пико делла Мирандола
Джованни 251
- Писарев Дмитрий Иванович
87, 135
- Писемский
Алексей Феофилактович 85
- Платон 7, 64, 65, 73, 74, 124–
126, 132, 134, 138, 139, 179,
187, 251
- Платонов Андрей Платонович
354, 363, 374
- Плеханов
Георгий Валентинович
151, 156, 157, 175
- Плещеев Алексей Николаевич
85
- Плиний Гай Цецилий Секунд
Младший 23
- Плутарх 57
- По Эдгар Аллан 174
- Победоносцев Константин
Петрович 255, 256
- Пожарский
Дмитрий Михайлович 77
- Полевой Николай Алексеевич
111
- Половцев (Половцов) Петр
Александрович 206
- Полонский Вячеслав Павлович
182
- Помяловский
Николай Герасимович 289
- Потапов Александр Львович
59, 298
- Пропп Владимир Яковлевич 131
- Пугачёв Емельян Иванович
173, 196, 289
- Пушкин Александр Сергеевич
5, 22, 25–28, 31–39, 41, 44,
47, 49, 64, 67, 68, 78, 81, 86,
92, 99, 102, 103, 105, 110, 112,
117, 126, 142, 143, 167, 173,
204, 224, 273, 293, 303, 308
- Пушкина (урожд. Гончарова)
Наталья Николаевна 36, 37,
112
- Пыпин Александр Николаевич
288
- Пятигорский
Александр Моисеевич 358
- Р**
- Рабле Франсуа 355
- Разин Степан Тимофеевич
196, 289
- Ракеев Федор Спиридонович
68, 117, 293
- Рамазанов
Николай Александрович 99
- Распутин
Валентин Григорьевич 26
- Распутин Григорий Ефимович
46, 256
- Рейнгардт
Николай Викторович 60, 91,
118
- Рейснер Лариса Михайловна
214
- Ремарк Эрих Мария 179
- Ремизов Алексей Михайлович
245
- Риккерт Генрих 8
- Ришелье Арман Жан дю Плесси
де 24
- Робеспьер Максимильен Мари
Исидор 142, 201
- Родзянко
Михаил Владимирович 201
- Розанов Василий Васильевич
56, 77, 85, 98, 103, 104, 145,
159, 160, 169, 223, 285, 288,
289
- Розенталь Дитмар Эльяшевич
45
- Романовы, дин. 186
- Ромул Августул, имп. 19
- Ронен Омри (Имре Сёренъи)
242
- Ротшильд Джеймс Майер 92
- Рузский
Николай Владимирович 201
- Рунеберг Ялмар Йоханнес
(псевд. Нино) 305, 306
- Руссо Жан Жак 44, 141, 191, 193
- С**
- Савинков Борис Викторович
(псевд. В. Ропшин) 151, 205,
216, 220, 221
- Сазиков Игнатий Павлович 99

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 85
 Сальери Антонио 315
 Санд Жорж (Аврора Дюдеван) 41, 65
 Сахаров Андрей Николаевич 179, 181
 Сведенборг Эммануил (Эмануэль) 134
 Светлов (Шейнкман) Михаил Аркадьевич 230
 Семашко Николай Александрович 173
 Сементковский Ростислав Иванович 77
 Сердюченко Валерий Леонидович 113
 Серно-Соловьевич Николай Александрович 60
 Сидоровнин Геннадий Павлович 155
 Скатов Николай Николаевич 65
 Скворцов-Степанов Иван Иванович 159
 Скиталец (наст. фамилия Петров) Степан Гаврилович 230
 Случевский Константин Константинович 5
 Смирнов Игорь Павлович 200
 Сокологорский Константин Иванович 79
 Сократ 63, 132, 300
 Солдатёнков Козьма Терентьевич 66
 Солженицын Александр Исаевич 145, 199, 279
 Соловьёв Владимир Сергеевич 40, 63, 71, 78, 79, 85, 86, 109, 133, 134, 139, 170, 241, 244, 275, 282, 285, 287, 288, 292, 297, 298, 301, 375
 Соловьёв Сергей Михайлович 288
 Сорокин Владимир Георгиевич 355
 Сорокин Питирим Александрович 150, 151, 256
 Сперанский Михаил Михайлович 57, 58, 290
 Спешнев Николай Александрович 182
 Спиридонова Мария Александровна 159
 Срезневский Измаил Иванович 58, 105, 288, 290
 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 164, 178, 212, 255, 256, 274, 281, 368, 372
 Станиславский Константин Сергеевич 276
 Станкевич Николай Владимирович 48, 79
 Стахевич Сергей Григорьевич 116, 117
 Степняк, Степняк-Кравчинский (наст. фамилия Кравчинский, псевд. Степняк) Сергей Михайлович 69
 Степун (Steun) Фёдор Августович (псевд. Н. Лугин) 8, 26, 55, 64, 121, 144, 148, 150, 153, 154, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 180, 200, 205, 207, 234, 241, 243, 247, 248, 254, 258–272, 274–277, 279–281

Стечкин Николай Яковлевич (Стародум) 228, 236
 Столыпин Пётр Аркадьевич 154, 155, 218, 223
 Столыпина Ольга Борисовна 155
 Страхов Николай Николаевич 70, 120, 121
 Стриндберг Август Юхан 193
 Струве Пётр Берндгардович 27, 64, 152, 171, 207
 Суворин Алексей Сергеевич 119, 238
 Суворов Александр Аркадьевич 61, 116, 117
 Суворов Александр Васильевич 266
 Сумароков Александр Петрович 354
 Сулова Апполинария Прокофьевна 194
 Суханов Николай Николаевич 152, 207
 Сэмюэл (Сэмьюэл, Самюэл) Морис 178
 Сю Эжен (наст. имя Мари Жозеф) 59, 294
Т
 Тан-Богораз (Богораз-Тан) Владимир Германович 202
 Терещенко Михаил Иванович 201
 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс 21
 Тиллих (Tillich) Пауль 8, 89, 160, 171, 172
 Тит Флавий Веспасиан, имп. 23
 Тихомиров Лев Александрович 108
 Тихон (Георгий Александрович Шевкунов) 224
 Ткачёв Пётр Никитич 121, 234
 Тоичкина Александра Витальевна 127, 137
 Токвиль Алексис де 142
 Толстой Алексей Константинович 78, 85
 Толстой Лев Николаевич 26, 27, 40, 41, 63, 85–87, 102, 125, 145, 164, 165, 170, 181, 204, 226–229, 232, 252, 253, 255, 274, 289, 303, 353, 362
 Траян Марк Ульпий, имп. 23
 Третьяков Павел Михайлович 86
 Троцкий (наст. фамилия Бронштейн) Лев Давидович 140, 148, 154, 211, 256, 274, 310
 Трубецкой Евгений Николаевич 143, 144, 159, 176, 177, 275
 Туниманов Владимир Артемович 132
 Тургенев Иван Сергеевич 41, 46–53, 64–66, 73, 84–88, 91, 92, 103, 113, 126, 183, 185, 244, 288, 291–293, 354
 Тучкова-Огарёва Н.А. см. Огарёва Н.А.
 Тютчев Фёдор Иванович 14, 26, 44, 85, 87, 101, 152, 167, 183, 184
У
 Ульянов Александр Ильич 200
 Ульянов В.И. см. Ленин В.И.
 Урицкий Моисей Соломонович 205

- Ф**
 Фарнгаген (Фарнхаген)
 фон Энзе Карл Август 81
 Фёдоров Николай Фёдорович
 303, 361
 Федотов Георгий Петрович
 9, 10, 31, 32, 64, 143
 Фейербах Людвиг 40, 46,
 63–65, 287, 291
 Феоктистов
 Евгений Михайлович 99
 Фет Афанасий Афанасьевич
 85, 87
 Философов
 Дмитрий Владимирович 232
 Филофей Псковский 22
 Филофей, патриарх
 Константинопольский 22
 Флоренский
 Павел Александрович 252,
 254, 263, 269, 278, 282
 Франк Семён Людвигович
 64, 152, 167, 171, 207, 253,
 254, 268, 303–316
 Фрейд Зигмунд 144
 Фуко Мишель 140
 Фурье Франсуа Мари Шарль 105
- Х**
 Хайдеггер Мартин 8, 162, 163,
 165
 Хармс Даниил Иванович 356
 Хёйзинга Йохан 248, 250, 251
 Хлебников Велимир
 (Виктор Владимирович) 153
 Ходасевич
 Владислав Фелицианович
 226
 Хоркхаймер Макс 143
 Хоружий Сергей Сергеевич 242
- Ц**
 Цветаева Марина Ивановна
 34, 203, 204, 211
- Цезарь Гай Юлий 223
 Цинциннат Луций Квинций
 24
 Цион Илья Фаддеевич 69, 297
 Цицерон Марк Туллий 57, 289
- Ч**
 Чаадаев Пётр Яковлевич 23, 24,
 36, 132, 136, 287
 Чайковский
 Николай Васильевич 150
 Чернов Виктор Михайлович
 313
 Черный Саша
 (наст. имя Александр
 Михайлович Гликберг) 231
 Чернышевская
 (урожд. Васильева)
 Ольга Сократовна 105, 293
 Чернышевский
 Гаврила Иванович 57 289
 Чернышевский
 Николай Гаврилович 14, 17,
 20, 21, 23, 24, 55–75, 86, 87,
 90, 91, 98, 104, 105, 107–123,
 136, 137, 196, 284–302
 Чехов Антон Павлович 40, 41,
 64, 153, 168, 175, 228, 232,
 238
 Чижевский
 Александр Леонидович 144
 Чичерин Борис Николаевич
 85, 86, 90, 94
 Чуковский Корней Иванович
 179
- Ш**
 Шаламов Варлам Тихонович
 237, 279
 Шаликова С.П.
см. Каткова С.П.
 Шевырев Степан Петрович 126
 Шекспир Уильям 27, 79, 125,
 249
- Шеллинг Фридрих Вильгельм
 8, 40, 46, 66, 78, 82, 96, 97,
 292
 Шенье Андре Мари 143
 Шестов Лев
 (Л.И.Шварцман) 40
 Шешковский Степан Иванович
 223
 Шиллер Фридрих 46, 65, 66, 89,
 105, 292
 Шингарёв Андрей Иванович
 201
 Шлегель Фридрих 262
 Шмелёв Иван Сергеевич 39
 Шопенгауэр Артур
 162, 165–167, 174, 179
 Шпенглер Освальд 8, 127, 243,
 253
 Штраус Давид Фридрих 40, 63
 Шуб Давид Натанович 189
 Шувалов Пётр Андреевич
 300
 Шульгин Василий Витальевич
 201
- Щ**
 Щастный Алексей Михайлович
 209
- Э**
 Эллис
 (Лев Львович Кобылинский)
 249
 Энгельс Фридрих 78, 117, 175,
 371
 Эренбург Илья Григорьевич
 223
 Эрн Владимир Францевич
 171, 269, 278
 Эсхил 249
- Ю**
 Юм Дэвид 30
- Я**
 Ягода Генрих Григорьевич 238
- Языков Николай Михайлович
 200
 Яковлев Иван Алексеевич 186
 Яковлева (Матвеева) Арина
 Родионовна 34
 Яковлевы, род 186
 Ярослав Мудрый, вел. кн. 41
 Ясперс Карл 63, 179, 180
- Kantor V.
см. Кантор В.К.
 Katz M.
см. Катц М.
 Koestler A.
см. Кёстлер А.
 Stepun F.
см. Степун Ф.А.
 Thaden Edward Carl 81
 Tillich P.
см. Тиллих П.

Содержание

Русская Атлантида	7
Августин и Чернышевский: падение Рима как культурфилософская проблема Европы	14
Становление петровско-пушкинской России: философский аспект	25
Тургенев: немецкое влияние, или Схождение мирового духа на Россию	40
Прекрасное есть жизнь, или Что такое разумный эгоизм Новая книга «Срубленное дерево жизни» о судьбе Николая Чернышевского	54
Имперский европеизм, или Правда Михаила Каткова versus русское общество	76
Христианская мысль как состав преступления: Достоевский и Чернышевский	104
Какие сны приснятся в смертном сне, или Жизнь в смерти («Бобок», рассказ Достоевского)	124
Революция, или Вступление в эпоху безумия	139
Война и безумие как катализаторы крушения Российской империи	146
Революция как сон разума	162
Миф Ставрогина. Бакунин или Герцен?	182
Керенский как фантом русских революций 1917 года (глазами русских поэтов и писателей)	198
«Челкаш» М. Горького: рождение босяка как победителя русской культуры	226
Миф и реальность Серебряного века	240
Демифологизация как философская задача. Судьба Николая Чернышевского (Диалог В.К. Кантора и Е.В. Бессчетновой)	284

От «молчания мертвых» к «говорку винтовок» (К позиции Семена Франка в русских революциях 1917 года)	303
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

Владимир Кантор. Смерть пенсионера. Маленькая повесть	323
Константин Баршт. О событии смерти. (Рассказ Владимира Кантора в контексте русской литературы)	349
Об авторе	375
Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора	376
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова	381

Серия «Российские Пропилеи»

Главный редактор и автор проекта *С.Я. Левит*

2010–2018

- Автономова Н.С.** Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – 2-е изд., испр., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 509 с.
- Автономова Н.С.** Философский язык Жака Деррида. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 510 с.
- Бахтин М.М.** Избранное. Том 1: Автор и герой в эстетическом событии / Сост. Н.К. Бонеецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 544 с.
- Бахтин М.М.** Избранное. Том 2. Поэтика Достоевского / Сост. Н.К. Бонеецкая. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 512 с.
- Бычков В.В.** 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Т. 1: Раннее христианство. Византия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 576 с. ил.
- Бычков В.В.** 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Том 2: Славянский мир. Древняя Русь. Россия. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 560 с. ил.
- Бычков В.В.** Византийская эстетика. Исторический ракурс. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 768 с.
- Бычков В.В.** Древнерусская эстетика. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 832 с., ил.
- Бычков В.В.** Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 368 с.
- Бычков В.В.** Эстетика Блаженного Августина. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 528 с.
- Бычков В.В.** Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. – М.: ООО «Изд-во МБА», 2010. – 784 с.
- Великовский С.** В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX – XX веков. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 415 с.
- Великовский С.** Грани «несчастливого сознания». Театр, проза, философская эссеистика, эстетика А. Камю. – М.; СПб., 2015. – 208 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: На пути к исторической поэтике / Сост. И.О. Шайтанов. – М.: Автокнига, 2010. – 688 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Историческая поэтика / Сост. И.О. Шайтанов. – 2-е изд., испр. – СПб.: Университетская книга, 2011. – 687 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Культура итальянского и французского Возрождения. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 512 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное. Критические статьи и заметки / Сост. и вступительная статья Т.В. Говенько. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 496 с.
- Веселовский А.Н.** Избранное: Легенда о Св. Граале / Сост. и вступительная статья Пашченко. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 512 с.
- Веселовский А.** Избранное: Эпические и обрядовые традиции. – М.: Политическая энциклопедия, 2013. – 639 с.
- Веселовский А.Н.** В.А. Жуковский. Поэзия чувства «сердечного воображения». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 528 с.
- Габричевский А.Г.** Биография и культура: Документы, письма, воспоминания: В 2 кн. / Сост. О.С. Северцева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 775 с., ил.
- Габричевский А.Г.** Избранное: Гётеана. – М.; СПб.: Петроглиф, 2013. – 704 с.
- Гальцева Р.А., Роднянская И.Б.** К портретам русских мыслителей. – М.: Петроглиф; Патриаршее подворье храма – домового мц. Татианы при МГУ, 2012. – 748 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Демоны глухонемые. Статьи, эссе, заметки разных лет / Сост. Н.Н. Смирнова – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 352 с.
- Гершензон М.** Избранное. Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит. – 3-е изд. – М.; СПб.: 2015. – 592 с.
- Гершензон М.** Избранное. Молодая Россия / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд., дополненное. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. – 592 с.
- Гершензон М.** Избранное. Тройственный образ совершенства / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 2015. – 640 с.
- Гершензон М.** Избранное. Образы прошлого / Сост. С.Я. Левит. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 2015. – 432 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Исторические записки / Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 352 с.
- Гершензон М.О.** «Узнать и полюбить». Из переписки 1893–1925 гг. / Сост. Е. Литвин. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 572 с.
- Гершензон М.О.** Избранное. Образы прошлого / Сост. С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 448 с.
- Гуревич А.** Индивид и социум на средневековом Западе. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 423 с.
- Гуревич А.Я.** Исторический синтез и Школа «Анналов». – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 432 с.
- Густав Шпет и шекспировский круг:** Письма, документы, переводы / Отв. ред.-сост., предисловие, комментарий, археографическая работа Т.Г. Щедрина. – М.; СПб.: Петроглиф, 2013. – 760 с.

- Земсков В.Б.** Образ России в современном мире и другие сюжеты / Сост. Т.Н. Красавченко. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015. – 343 с.
- Земсков В.Б.** О литературе и культуре Нового Света. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 592 с.
- Исупов К.Г.** Русская философская культура. – СПб.: Университетская книга, 2010. – 592 с.
- Кантор В.К.** Изображая, понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 832 с.
- Кантор В.К.** «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: Очерки. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 422 с.
- Кантор В.К.** «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 608 с.
- Кантор В.К.** Русская классика, или Бытие России. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 600 с. (переработанное издание).
- Кантор В.К.** «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 528 с.
- Маньковская Н.Б.** Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – 2-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 496 с.
- Медушевская О.** Теория исторического познания: Избранные произведения. – СПб.: Университетская книга, 2010. – 572 с.
- Пинский Л.Е.** Магистральный сюжет: Ф. Вийон, У. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 400 с.
- Пинский Л.Е.** Ренессанс. Барокко. Просвещение. – М.; СПб., 2014. – 358 с.
- Пинский Л.** Реализм эпохи Возрождения. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 320 с.
- Пинский Л.** Шекспир. Основные начала драматургии. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 623 с.
- Померанц Г.С.** Выход из трансa. – 3-е изд., испр. и доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 592 с.
- Померанц Г.С.** Открытость бездне: Встречи с Достоевским. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Сны земли. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 464 с.
- Померанц Г.С.** Страстная односторонность и бесстрастие духа. – 2-е изд. испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – 618 с.
- Померанц Г.С.** Открытость бездне: Встречи с Достоевским. – 3-е изд., доп. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Сны земли. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Дороги духа и зигзаги истории. – 2-е изд., доп. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 416 с.
- Померанц Г.С.** Выход из трансa. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 583 с.
- Пушкин в русской философской критике.** Конец XIX – XX века. – 3-е изд., испр. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 591 с.
- Сафонов В.И.** Избранное. «Давайте переписываться с американскою быстротою...»: Переписка 1880–1905 годов / Сост. Е.Д. Кривицкая, Л.Л. Тумаринсон. – СПб.: Петроглиф, 2011. – 760 с. – ил.
- Степун Ф.** Письма. – М.: РОССПЭН, 2013. – 683 с.
- Стравинский И.Ф.** Хроника. Поэтика / Сост. С.И. Савенко. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 368 с.
- Трубникова Н.Н.** Традиция «исконной просветленности» в японской философской мысли. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 414 с.
- Шмит Ф.И.** Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 912 с.
- Шпет Г.Г.** Философия и наука. Лекционные курсы / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 496 с.
- Шпет Г.Г.** Философская критика: Отзывы, рецензии, обзоры / Сост. Т.Г. Щедрина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 487 с.
- Шпет Г.Г.** История как проблема логики. Часть первая. Материалы. – М.; СПб.: Университетская книга, 2014. – 510 с.
- Шпет Г.Г.** История как проблема логики: Критические и методологические исследования. Часть вторая. Архивные материалы / Отв.-ред. и сост. Т.Г. Щедрина. – М.; СПб.: Университетская книга, 2016. – 728 с.
- Юдина М.В.** Дух дышит, где хочет: Переписка 1961–1963 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 855 с.: ил.
- Юдина М.В.** Нереальность зла: Переписка 1964–1966 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 677 с.; ил.
- Юдина М.В.** Пред лицом вечности: Переписка 1966–1970 гг. / Сост. А.М. Кузнецов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 656 с.

В.К. Кантор

**Демифологизация русской культуры
Философические эссе**

Серийное оформление: П.П. Ефремов
Корректор М.П. Крыжановская



По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ
ООО «Университетская книга-СПб».
«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям,
библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему
спектру гуманитарных наук – философии, филологии, лингвистики,
истории, социологии и политологии. Продукцию ведущих гуманитарных
научных издательств Санкт-Петербурга и России вы можете
приобрести у нас по издательским ценам.

Контакты:
в Санкт-Петербурге

Тел. (812) 640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net
в Москве ООО «Университетская книга-СПб»
Тел. (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru

Рассылка по России:
Интернет-магазин Лабиринт.ру – <http://www.labyrinth.ru/>

Подписано к печати 09.04.2019. Формат 60x90 1/16. Заказ № .
Усл. печ. л. .
Тираж 500 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в Публичном акционерном обществе «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
Тел.: 8 (495) 221-89-80